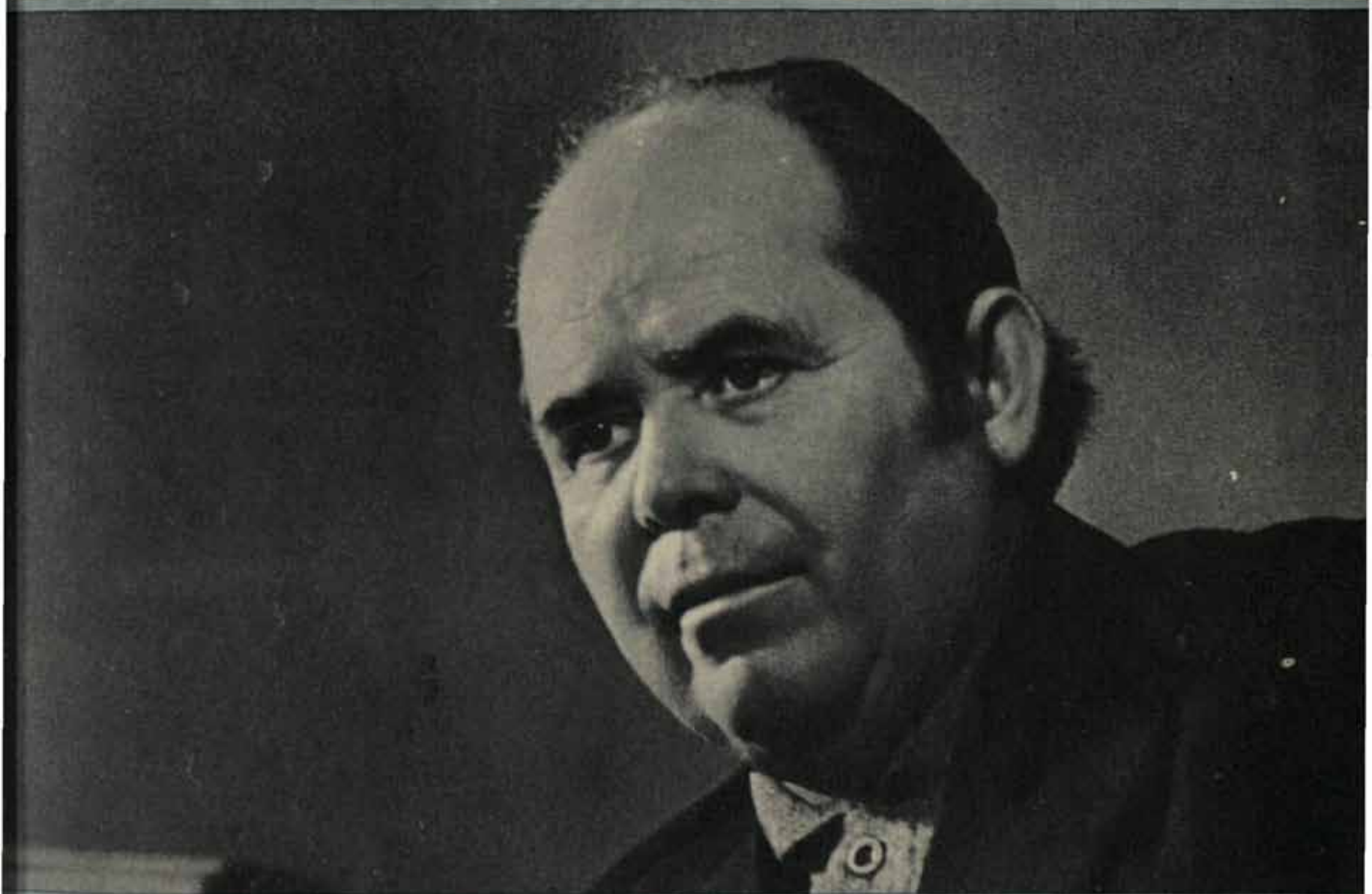


№12 (874) · 1979

ISSN 0131-604

# ДОМАШНЯ ГАЗЕТА



ИОН ЧОБАНУ  
КУКОАРА

**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

**В первом полугодии 1979 года  
в «Роман-газете» изданы:**

- № 1 БЫКОВ В.** Пойти и не вернуться. Повесть. Перевод с белорусского.
- №№ 2—3 АСТАФЬЕВ В.** Последний поклон. Повесть. Книга вторая.
- № 4 МУСТАЙ КАРИМ.** Долгое-долгое детство. Повесть. Перевод с башкирского.
- № 5 КЕШОКОВ А.** Восход луны. Роман.
- № 6 ГОНЧАРОВ Ю.** Последняя жатва. Повесть.
- №№ 7—8 ПОПОВ В.** И это называется будни. Роман.
- № 9 СЕМЕНОВ Г.** Вольная натаска. Роман.
- № 10 ГРАНИН Д.** Повести.
- №№ 11—12 ЧОБАНУ И.** Кукоара. Роман. Перевод с молдавского.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА

## ИОН ЧОБАНУ КУКОАРА

РОМАН

*Авторизованный перевод с молдавского*

МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВА

*(Окончание)*

3

После войны прошло уже немало времени, но многие жители Кукоары и других селений продолжали донашивать армейские доспехи: щеголяли в защитного цвета кителях, галифе и кирзовых сапогах. От военных, видно, перешла мода и к сугубо штатским людям, если они занимали хоть какие-то руководящие посты, — мода облачаться в армейскую форму, правда, у тех, кто носил ее, на кителях, гимнастерках и шинелях не было знаков различия. Впрочем, отличия были: те, что занимали более высокие посты, были в офицерских кителях, сшитых из тонкого сукна цвета хаки. Прочие «чины» довольствовались гимнастерками и брюками из синей хлопчатобумажной ткани, неудобной тем, что уже через неделю после пошива она начинала лосниться и блестеть на локтях, на коленях и на других очень неподходящих местах.

Но и такая справа была роскошью, доступной далеко не каждому. Еще более недоступной для простого смертного была хромовая кожа. Промкомбинат получал в году ее всего на несколько пар. То было время, когда все заполонила парусина: из нее шили щегольские сапожки, ботинки, туфли, босоножки. Были, правда, счастливы, которым удавалось где-то подхватить голенища от старых хромовых сапог: в мастерской ему в два-три дня изготовляли ботинки на зависть всему району.

Все материалы, как правило, распределялись среди активистов по талонам и карточкам, а те, у кого не было талонов, могли приобрести парусину, хлопчатобумажную ткань и прочее в обмен на сданные государству яйца, шерсть, пепельно-дымчатые бараны, шкурки, сданные, разумеется, сверх плана.

До отмены карточной системы Тоадер Фрунзе еще не числился в активистах, которые могли заказать себе кителя и брюки из диагонали и других дефицитных тканей. Он купил себе на толкучке шинель, первоначальным хозяином который был, вероятно, Илья Муромец или До-



брыня Никитич: так была она велика! Комсомольцы из промкомбината быстро соорудили из нее для Тоадера и китель, и брюки, прищипав торцы к последним кроваво-красные лампасы. Будь у Фрунзе ордена и медали да соответствующая осанка, он походил бы на маршала. В летнюю пору он страшно потел под этим грубым сукном, но терпел, поскольку другой одежды не было. Зато зимой в ней — благодать, можно сколько угодно просидеть в нетопленной комнате!

Наконец пришел долгожданный день, когда были ликвидированы карточки на хлеб. Руководители района, видно, знали, когда это произойдет, и потому не были захвачены врасплох: в нужный момент у них было закончено строительство новой хлебопекарни. Плохо только то, что она выпекала хлеб дорогой, который продавался по коммерческим ценам. Но что поделаешь? Поневоле вспомнишь лукавую поговорку: из-за бедности приходится есть белый хлеб.

Не имея иного выхода, Тоадер Фрунзе, например, купил полбуханки пышного хлеба и, пока дошел до промтоварного магазина (а он был почти что рядом), съел ее до крошки. В промтоварном его ожидало то же самое, когда приходилось покупать вещи, которые были явно не по его карману. Он знал, что там есть голубое сукно, очень подходящее для костюма. К его приходу, однако, оно было уже распродано или припрятано продавщицей. Эта последняя предложила:

— А вы купите вот это сукно. Оно все же лучше диагонали.

— Может, оно и лучше, да слишком тонкое.

— Понятно, что тонкое. Ведь из него шьют женские костюмы.

— Вот видите!..

— Ну, как хотите, — спокойно заключила продавщица.

На всякий случай Тоадер Фрунзе спросил:

— Если я не куплю, то талон на мануфактуру пропадет?

— Конечно! — живо и, кажется, даже с радостью подтвердила бойкая баба и тут же посоветовала: — А вы берите! В крайнем случае можете продать материал или поменяться с кем-нибудь!..

— Ну, что делать? Такой уж, видно, я счастливый. Покупаю!

— В добрый час! Покупайте, шейте себе костюм и носите на здоровье!

Фрунзе отдал ей талоны, уплатил деньги, поблагодарил продавщицу и, сунув сверток под мышку, вышел. Он был все-таки доволен тем, что приобретенное им сукно оказалось намного дешевле того, голубого, и если в пошивочной мастерской найдут, что оно совершенно не годится для мужской пары, он, Тоадер, может

спустить его кому-нибудь по рыночной цене, как и советовали ему в магазине.

Тоадер уже обдумывал, кому бы поручить такую операцию: продать этот материал, а вместо него купить на том же базаре, на толкучке, какой-нибудь другой, потолще. Но в последнюю минуту вспомнил, как его надули там однажды. Купил у какого-то типа белоснежную сорочку («американская» — заверил тип), красивую, спящую белизной. А на третий день увидел в ужасе: иностранка на глазах всего честного народа начала быстро расплываться на куски; распад этот проходил без треска и как-то даже тихо, неслышно, будто сшили рубаху из промокательной бумаги. Вспомнив не такой уж давний тот свой конфуз, Тоадер решил, что уж лучше он сошьет для себя какую-либо штучку из только что купленного материала. Может быть, даже костюм. К тому времени служивый люд, партийные, комсомольские и советские работники, начали постепенно менять свое внешнее обличье: в командировки по-прежнему выезжали в своих полувоенных одеяниях, а по городу щеголяли в шерстяных костюмах, сшитых по последней моде: пиджак куцеватый, прикрывавший зад лишь наполовину, зато брюки длинные и ширины необыкновенной, не уступающие брюкам клеш, какие, по традиции, носят матросы... Впереди и позади у таких брюк полагались две стрелки, которые отглаживались тяжеленным утюгом.

На работу в свои учреждения руководящие товарищи приходили в такой вот справе и обязательно при галстуках, к которым Тоадер Фрунзе, как известно, питал далеко не самые лучшие чувства. Проклятая мода! Откуда ее только черт принес сюда?! Понавязали себе петель на шею и ходят, как надутые индюки. Тьфу!

Добравшись до райкома комсомола и войдя в свой кабинет, он не вытерпел — развернул пакет и начал примерять на себе материал, прикладывая его и туда, и сюда, и так, и этак. После чего решил уж окончательно: закажет костюм именно из этого сукна! Пускай дамское, пускай светлое, что ж тут такого!

— Сошью, и все! — объявил он во всеуслышанье. И сейчас же до его слуха донеслось:

— Верно, Тоадер, верно!.. И в темноте не затеряешься, далеко будешь виден!..

Прежде чем разворачивать свою покупку, Тоадеру нужно было бы прикрыть окно хотя бы деревянными ставнями (занавесок и штор на райкомовских окнах отродясь не было). Но он этого не сделал и теперь вертелся у гардероба перед зеркалом так, что его мог бы увидеть любой, кто только захотел. К счастью, сейчас это был Никэ, а мог быть и Шеремет, и еще кто-либо из райкомовских деятелей. Впрочем, и появление брата было для Тоадера полней-



шей неожиданностью: ведь с момента его исчезновения прошло очень немного времени.

— Ты что же, провалился на экзаменах? — спросил он Никэ сразу же, без всякой, что называется, подготовки.

— Нет, не провалился. Там сказали, чтоб я сперва закончил десятилетку.

— Ну, а я что тебе говорил?!

— Да это все Ленька. Он уверял, что там примут и с восьмилеткой. Даже объявление показывал...

— Должно быть, старое объявление. Сейчас, брат, другие времена!

— Я, конечно, поступил глупо. Виноват. Но ты, Тоадер, должен мне помочь... выпутаться как-то из всей этой истории...

— Чем же я тебе помогу? Может, посоветуешь? У меня ведь не было времени для того, чтобы хорошенько подумать о твоих фокусах...

— Ты же мой брат и должен помочь... Я потратил половину денег...

— Каких денег?

— Не валяй дурака, Тоадер!.. Говорю тебе, на дорогу и еду потратил шестьсот рублей... Я отдам тебе свои часы! Насовсем! А тыполни мне эту сумму, чтоб я мог положить деньги на прежнее место... Чтoб дома не было разговоров... Понимаешь?!

— Вижу, ты давно спланировал этот свой побег в Одессу!

— А ты как думал!.. Если б меня приняли в мореходку, ты б не получил этих часиков!..

— Может быть, ты лучше расскажешь, как тебе удалось украсть эти деньги?

— Они не краденые. У родителей не крадут, а берут. Это, во-первых...

— Ну хорошо. А что — во-вторых?..

— Во-вторых, я вернул бы старикам эту сумму..

— Вернул?.. Каким же образом? И когда?

— Я хотел закончить мореходное училище и приехать в Кукоару в офицерском морском кителе. Сделать им сюрприз. Приятный сюрприз.

— Вот как!.. Отлично! Ну а теперь как же ты?.. План-то твой лопнул, как мыльный пузырь.

— Да, не повезло мне...

— Леньку приняли?

— Приняли. Он ведь сын погибшего на войне...

— Постой, чего ты мелешь?! Ленькин же отец жив!

— Это ты, Тоадер, о военкоме?

— Ну да!

— Так это ж его дедушка, а не отец!

— Вот как! Не знал, не знал...

— Ты многого еще не знаешь, Тоадер...

— Скажи на милость! Чего же это я не знаю еще?.. Может, скажешь?..

— Не будем ссориться, Тоадер! Вот тебе мои часы, а ты позолоти мне ручку. Отнесу денежки домой, суну их незаметно в тот заветный мамин горшочек — и все будет шитокрыто. Скажу матери, что она плохо искала. Ловко?

— Куда ловчее!

— Лежали, мол, под шерстяными мотками, а ты, мам, не увидела!

— Ну и плут же ты, Никэ! Выпороть бы тебя как следует!.. Ну вот что, братец... Ты не ври ей, а скажи все как есть, как было. Всю правду, слышишь?!

— Слышу, не глухой. Но лучше объяви мне строгий выговор по комсомольской линии и займи шестьсот рублей!

— Комсомольскими взысканиями не торгую.

— Ну, тогда поступай как знаешь.

— Снимай часы!

— Да ты что, Тоадер, разбойник на большой дороге?.. Чего ты так орешь на меня? И вообще... чего ты от меня хочешь?

— Чтобы ты немедленно отправился домой и рассказал и матери и отцу всю правду. Только этого!

— Но завтра мне в школу. Я ведь пропустил столько уроков!..

— Пропустишь еще денек. Ничего с тобой не случится!

— Я пришел к тебе, как к брату...

— Вот и слушай, что тебе говорит брат. Старший брат, понятно?

Выйдя из райкома, шли по улице молча. Никэ приотстал, брел за Тоадером, низко опустив голову. Понять его можно: все его планы, подготовленные, как ему казалось, очень хорошо, продуманные до мельчайших деталей, рухнули. Молчали всю дорогу по пути в Кукоару. Лишь при входе в село Никэ догнал старшего брата, ухватив его за рукав пиджака. Горячо заговорил:

— Прости меня, Тоадер!.. Я больше не буду!.. Ничего плохого больше обо мне не услышишь!..

— Сначала ты попросишь прощения у родителей.

— Хорошо. Я попрошу. Но сперва...

— Что — сперва?

— Пойдем на ветряную мельницу!

— Это еще зачем?!

— А чтоб ты отколотил меня там. Не хочешь на мельницу, давай тут!.. Вот... я дам тебе свой ремень!.. Возьми и отдери меня, как сидорову козу. Я и не пикну!

Никэ расстегнул свой ремень с тяжелой медной пряжкой и готов был передать его брату, чтобы тот проучил его как следует, и притом глядел на своего судью так умоляюще, что сердце Тоадера дрогнуло. Кровь людская — не водица. Кровь же родного человека обжи-

гающе горяча. Сердце Тоадера сделалось вдруг мягким, как воск.

— Не следовало бы тебя прощать, Никэ, — заговорил он дрожащим от волнения голосом, сам чуть не плача от умиления, растроганный этим порывом братниного раскаяния. — С педагогической точки зрения я даже не имею на это права... Ведь ты из любой воды выходишь сухим, и это воодушевляет тебя на новые «подвиги», от которых всем тошно!.. Твое счастье, Никэ, что у тебя такой добренький, всепрощающий брат!..

Никэ шмыгал носом, идя чуть позади Тоадера, и думая про себя, что старший брат прав: пора бы ему, Никэ, остепениться.

Кончилось же тем, что проповедь, которую прочел своему младшему брату Тоадер, обошлась последнему во столько же, во сколько обошлось Никэ его путешествие в Одессу. Сумма была пополнена, часики остались на руке Никэ, а ремешок так и не прошелся по его спине. Все шло так, как хотелось этому юному шалопаю. Деньги были водворены на свое место. Укротив гордыню, Никэ попросил у родителей прощения и получил в конце концов его.

Таким образом, пострадавшим во всей этой истории оказался один лишь Тоадер Фрунзе. Оставшись без копейки в кармане, он и думать не мог о портном, который мог бы сшить ему новый костюм. Похоже, что и в эти майские праздники ему придется шествовать по центральной площади городка в заношенном до дыр, с измочаленными рукавами кителе,

Пошла весна 1949 года, вторая после засушливого года. Но и она не принесла пирогов на своем хвосте, как сказали бы кукоаровские старики. Скот вышел из зимы истощавшим, люди исхудавшими и ослабевшими. В прежние времена была бы уж пущена в ход поговорка: зеленеют холмы — подымается цена на дураков, то есть на батраков и малоземельных. Трудно сказать, кто сочинил эту присказку: богатенькие ли, сами ли бедолаги, нередко скрашивавшие свою долю такою вот горьковатой усмешкой над собой, когда шли наниматься к боярскому приказчику. Но теперь те же зеленые холмы сулили крестьянам нечто другое: курящиеся сизой дымкой, они обещали иную жизнь, пробуждали надежды.

В засушливый год дикий лук-порей с успехом заменял лук огородный, культурный то есть. Он же, если его употребляли свежим, шел за милую душу и вместо чеснока. Приправленные одной или двумя ложками жира, в пищу шли крапива, черемша и многие другие неприхотливые, не боящиеся никакой засухи травы — чернобыл, конский щавель, лебеда и им подобные. Люди ели и кисловатые побеги, оста-

вавшиеся после весенней подрезки виноградников. Все это было добавкой к четырем килограммам зерна, получаемым от государства на каждую душу в течение недели. Первое время это вспомоществование выдавалось сразу на весь месяц вперед. Вскоре, однако, выяснилось, что такая выдача устраивала лишь очень бережливых и рачительных людей, а их оказывалось не так уж много. Остальные приканчивали свою месячную норму за одну-две недели, затем начинали бедствовать; бедствуя, они вновь обращались за помощью к тому же государству. Сколько бы им ни говорили врачи, сколько бы ни втолковывали, что из крупы нужно варить жидкую кашу, а из муки — болтушку, сдобривая то и другое крупницей комбижира, — ничто не помогало! Крупы либо шли на кашу, либо на мамалыгу, ну а мука, известное дело, — на пресные лепешки, испеченные на раскаленной плите.

Как бы там, однако, ни было, но к той поре, когда начинались полевые работы, народ стал набираться силенок. Не слышно, чтобы кто-нибудь пробавлялся желудями, подмешивал бы в кукурузную муку молотые виноградные зерна и варил из этой смеси мамалыгу. Сугробная и морозная зима была позади, люди повеселели от того, что не только они сами, но и их скотина перезимовала и может теперь выйти на те зеленые холмы и вкушать от весенних даров природы. Кукоаровцы вновь почувствовали в себе жгучую, нетерпеливую потребность к работе. Перво-наперво они старались подкормить хорошенько тягловый скот — лошадей и волов. Свезли в одно место прошлогоднюю солому, установили там соломорезку; соломенную сечку перемешивали со свежей молодой люцерной, в эту смесь добавляли еще немного мякоти и отрубей. На глазах у людей лошади и быки начали быстро линять, молодая шерстка лоснилась, светилась. Светились при виде всего этого и лица крестьян: на такую скотинку можно положиться! Она и вправду их не подвела в весенне-посевную кампанию.

Особенно споро шли дела у тех, у кого имелись однолемешные или двухлемешные плуги. Вытертые, надраенные землею до ослепительного сияния, лемеха как бы не вспахивали поле, а бесшумно плыли по нему, оставляя после себя сверкающие волны перевернутой земли. Плуги эти были двух назначений и двух родов: легкие, при одном колесе, без предплужника, — это для виноградников, и тяжелые, с передком, — ими вспахивались поля под посевы зерновых. В первые, как правило, впрягались лошади, во вторые — медлительные, но более выносливые волы. Бороны волочились молодняком либо отощавшими лошадьми и быками, понукаемыми подростками.

Каждый день на вершинах холмов Тоадер Фрунзе видел маячивших людей. Они поднима-



лись туда, к ветряным мельницам, чтобы поглядеть, как идет пахота. Одни радовались, другие грустили. По большей части приходили те, кто до сих пор не решил: войти ли в колхоз или еще подождать. Приходили еще и затем, чтобы удостовериться: правду ли говорят люди, что земельные наделы единоличников влились в колхозный массив или их, не вошедших в колхоз, хотят этим только припугнуть и таким образом сломить упрямство. Не зря же, мол, их многократно предупреждали относительно того, что при распаивании своего поля колхоз не будет влиять туда-сюда, чтобы обойти твою делянку, такое ему, колхозу, не с руки, колхозные плуги пойдут напрямую, запахивая все межи так, что ты даже и не найдешь, где находился твой участок. Хотите оставаться единоличниками, внушали упрямам, пожалуйста, оставайтесь, но только отойдите в сторонку, мы отведем вам делянки где-нибудь подальше от колхозных массивов. Ковыряйтесь, мол, сколько угодно на этих кусочках. В nepостижимо малый срок для слова «единоличник» отыскался и подходящий синоним — «кусочник». Автор обидного этого прозвища предпочел остаться неизвестным, но изобретенная им кличка по своей назойливой прилипчивости могла бы сравниться разве что с репейником. Отвязаться от нее можно было лишь одним способом — войти в колхоз. Однако далеко не всякий «кусочник» готов был сразу пойти на это. Костяк упрямцев составляли в основном зажиточные крестьяне, к ним примыкала лишь небольшая кучка богобоязненных стариков и старух. Богатенькие, понимая, очевидно, что против «линии Советской власти» не попрешь, и в то же время не желая вступать в ненавистный им колхоз, поспешно устранились работать на кирпичном заводе, в леспромхозе, в совхоз «Сэсены», ездовыми и конюхами в различных организациях райцентра. Некоторые, наиболее изворотливые, заделались мастерами по изготовлению черепицы. Сами доставали где-то цемент и все, что требовалось для производства этого ценнейшего материала. «Черепичники» мстили Советской власти по-своему. Их продукция была намного лучше той, что выпускал промкомбинат, и не разваливалась, не расплывалась при первом же дожде. Поэтому вполне естественно предположить, что многие учреждения и организации отдавали свой цемент и другой полуфабрикат в частные, ухватистые и, как видим, умелые руки «черепичников».

Хлебнул же горюшка Фрунзе с этими мастерами! Он готов был примириться с тем, что они не вошли в колхоз и, кажется, совершенно оторвались от земли, утратили с ней всякую связь, готов был примириться, лишь бы только они вошли в состав строительных бригад. В ответ он слышал одно и то же: «Подождем, поглядим, что у вас получится... В Кукоаре нет

такой земли, чтобы организовать колхоз!.. Так что поглядим!..»

Лишь после того как составили топографическую карту, после того как все увидели, что бывшие помещичьи земли отходили в колхозный массив, некоторые «черепичники» оставили свой промысел и вступили в колхоз. Но другие держались прежней линии. Этих не тронул даже приезд в Кукоару ученых землеустроителей, власть и усилием которых полевые межи были передвинуты так, что Кукоара в один час получила дополнительно шестьсот гектаров земли — и какой земли! Лучше этой, пожалуй, не сыщешь во всей Молдавии!

Вручение селу топографических карт, которые тут же были прикреплены к дому, определенному для правления колхоза, а затем обмер бывшей боярской земли вылились в большой праздник в Кукоаре. На следующий день колхозники выехали на поля с тяжелыми бурдюками вина, и по одному этому Тоадер Фрунзе понял, что в душах его односельчан произошел долгожданный переворот, иначе бы они не выходили на работу как на праздник. Даже мош Тоадер Лефтер приковылял на поле со своей личной саженью и со своим бурдючком. Это только он мог кричать так на землемеров:

— Эй вы, городские!.. Булочки!.. Коровьи образины!.. Вот вам моя сажень!.. Принес из дому!.. Берите!.. Это вам!..

До прибытия землеустроителей старик пользовался своей саженью совершенно для другой цели: измерял ею глубину воды в колодцах. Измерив, удивлялся: что за чертовщина, откуда столько водицы?! Это и радовало его и пугало одновременно. Потому-то он и останавливал людей на дороге, спрашивал:

— К добру ли это?

— О чем вы, мош Тоадер?

— О воде говорю!..

— О какой воде, дедушка?

— О какой?.. Вода она и есть вода. Об уровне говорю, бестолковый ты человек!.. В Казачьем колодце вода поднялась до самого верху. Вот я и думаю: к чему бы это?..

— А-а, вон ты об чем!.. Вода, значит... Много воды... Но нет, дедушка, того, после чего пить хочется... Понял?

Мош Лефтер свирепел:

— Катись кубарем!.. Нашелся мне умник!.. Идет по улице, задравши нос, и думает, что умнее овцы!.. С ним говоришь серьезно, а он мелет чепуху!..

Отделанный таким образом не сердился на старого ворчуна. Не обижались на него и другие, которых он задирали: люди хорошо знали его, к тому же спешили на поле, время было горячее, так что не до препирательств со старым чудачком.

Похоже, однако, что именно от них мош Тоа-



дер узнал о прирезке помещичьих земель и теперь что было духу прибежал со своей саженью в степь. Хоть он и уверял всех подряд, что не любит совать свой нос в чужие дела, но большей неправды, кажется, нельзя было придумать. Старый Лефтер совал свой толстый картофелевидный нос во все чужие кувшины и горшки, вмешивался во все, что касалось его и не касалось ни в малейшей степени, и своим вмешательством нередко переворачивал все вверх дном. Вот и сейчас не удержался, чтобы не поспешить к землемерам со своими советами, заставившими их чуть ли не умереть со смеху.

— Вот-вот!.. Так и знал!.. Эти будочники меряют землю по бумажке!..

Вертясь возле городских ребят со своей нелепой саженью, тычась ею то туда то сюда, суетясь, старик угодил в какую-то яму, прикрывшую пожухлым бурьяном. Тоадер Фрунзе поспешил, было, на помощь деду, но тот уже успел прийти в себя от испуга, а заодно и сделал великое открытие: на дне ямы им был обнаружен снег.

— Несите сюда бурдюки с вином! Я нашел погребок, какой вам и во сне не снился! — кричал мош Тоадер из ямы.

На его зов сбежались односельчане, и, как водится, сейчас же начались комментарии:

— Эй, Василе, набери себе снега за пазуху — все лето будешь жить в прохладе!..

— Го-го-го!..

— Ха-ха-ха!..

— Вы вот смеетесь, а промкомбинат купил бы его с великой радостью!..

— Для мороженого и лимонада!..

Было, конечно, странно видеть снег в такую пору года, когда люди изнывали от жары. Очевидно, многие из них проходили рядом, но снег был прикрыт козырьком из бурьяна, находился в густой тени и потому не таял и не был видимым никому. Сейчас, обнаруженный и обнаженный, он казался неестественным, каким-то инопланетным по соседству с зеленым кустиком и поражал всех своей неправдоподобной, идеальной белизной. Особенно дивились ему горожане. Да и как не удивляться? Вверху густо-зеленая травка, пение жаворонков, трепещущих где-то под голубым куполом небес, призывные крики перепелов, кваканье лягушек в каком-то недалеко пруду или в озере, скрип телег, гомон по-летнему одетых людей, а тут, в небольшой рывине, снег, тонкая прозрачная струйка воды, выбегающая из-под него. Не чудо ли!

— Должно быть, так вот начинаются реки у своих истоков!

— Вы не очень-то ликуйте! Надо присыпать эту ямку, покуда она не превратилась в настоящий овраг, — сказал рассудительно Костяке Фрунзе.

— Может, сперва вытащим старика, а потом уж засыпем, — заметил кто-то не менее рассудительно и разумно.

А мош Лефтер не переставал подавать голос из своей западни:

— Знаю я вас!.. Опорожнили все бурдюки!.. Теперь вам не нужен мой погребок!..

Над овражком простерлась тень верхового, странной статуей прорисовалась на белом полотно снега, и мош Тоадер сердито закричал:

— Кой черт там прискакал? А ну, скажи дальше! Моя старая спина не выдержит тебя вместе с твоей клячей!..

— А что вы там потеряли? Что ищете?

— Черта лысого!.. Чтоб потешить глупцов вроде тебя!..

— В самом деле... снег! — удивился и всадник, прискакавший из правления, и тут же сообщил о цели своего приезда: — Товарищ уполномоченный, вас вызывают к телефону. Из района!

— А не знаешь — кто именно?

— Товарищ Шеремет. Кто ж еще!

— Иди, иди. Вылезу и без твоей подмоги! — прикрикнул на внука старик.

— Вылезайте поскорее, мош Тоадер. Я и вас посажу верхом!..

— А куда мне торопиться, коровья твоя башка!.. В моем доме нет сосунков!..

— Тогда киньте мне кусочек снега, если не жалко!..

— Прошлогодного снега жаль лишь скупердям, а я!.. — огневился было мош Тоадер, но тут же повернул все на шутку: — Ты что ж, высушить его на печке хочешь?..

— Нет, дедушка, у меня другой план.

— Тогда полезай сюда сам и набирай сколько хочешь. А я не могу бросать его тебе отсюда — ключицы покалечены... Стар я, аль не видишь, коровья башка! Нашел, с кем шутить!..

Но всадник не шутил. Он спрыгнул с коня прямо в овражек, захватил пригоршню снега, стиснул его в твердый ком и засмеялся, счастливый.

— Эй, ты... Ты чего это придумал?.. Не хочешь ли накормить своих байстрючат этим леденцом? — встревожился старик. — Они в один момент слопают!

— Нет. Никому не дам. Я хочу засунуть этот комочек девочкам за пазуху. Сидят, бедняжки, в правлении, стучат костяшками счетов, потом засыпают от жары и скуки. Вот я и!..

— Так, так, — перебил его дед. — Отец твой — дуб дубом, но и ты недалеко упал от этого дерева. Ишь чего придумал, подлец, коровья твоя образина!.. От непутевого батьки научился таким-то вот шуточкам?!

Прискакавший вестовой оказался сыном Иосуба Вырлана, определенным в сторожа при правлении колхоза.

Дни заметно удлинялись.

Тоадер Фрунзе успел забежать домой, поест и, не особенно поспешая, апостольски размеренным шагом направился в райцентр. Зачем бы ему торопиться! Совещание партактива назначено на восемь вечера. С Шереметом Фрунзе говорил по телефону в полдень. А от полудня до того часа, когда солнце окунется в дымную наволочь сумерек, остается бездна времени. Если б он находился сейчас не в Кукоаре, а в Вадулеках, где годом раньше организовывал колхоз, то не стал бы так прохлаждаться, а отправился в путь тотчас же после звонка: от Вадулек до районного местечка было без малого двадцать пять километров, не ближний свет. Пришлось бы топать и топать! Сколько раз на своих двоих, то есть пешим способом, пришлось совершать этот путь Тоадеру Фрунзе, вышагивать по дороге, скучнее которой, пожалуй, не отыщется на всем земном шаре.

Положим, от Чокотен до Клишова дорога была еще длиннее, но она шла по-над равнинным берегом Реута, где твой глаз мог отдохнуть то на одном, то на другом, зацепиться то за речную волну, то за всплеснувшуюся игривую рыбку, то за куст ракиты, то проследить за стремительным полетом дикой утки. Глядишь на все это, любишься всем этим и не заметишь, как двадцать восемь километров уже позади. Тебя могли отвлечь еще воинские грузовики, повозки, всадники и просто прохожие, бесконечной нарядной лентой тянулись они по центральному шоссе, которое проходило неподалеку от этой полевой дороги и соединяло Бельцы, Черновицы, Оргеев и Кишинев. Правда, и там, на той побочной дороге, ты не мог рассчитывать, что кто-то тебя подберет на машину или повозку и подбросит к месту назначения, но идти по ней было легко, весело: посади по обе стороны проселка давали прохладу — это летом, а зимой они же были неплохим ориентиром, служили путнику вроде вех, не позволяли ему заблудиться в снежном море, среди сугробов.

Совсем другое дело — дорога в Вадулеки. От одного воспоминания о ней во рту пересыхало, делалось кисло и горько, язык прилипал к нёбу. На всем пути встречалось лишь два села: Старые Банешты и Новые Банешты. В остальном — степь и степь, обожженная суховеями и истощенная голодным скотом. Ни деревца, ни единого колодца. Летом еще куда ни шло. Ты можешь увидеть отару овец или одинокого бедолагу-земледельца, без особых надежд на победу сражавшегося с лютыми сорняками; увидев, можешь подойти, перекинуться словом-другим с пастухом или с тем же пахарем, иной раз даже глотнуть водицы или винца из их кувшинчика. Но зимой — беда. Вместе с холодом под твою одежду вползает

смертная скука, которую решительно нечем отогнать: от горизонта до горизонта — одни белые снега, кое-где покрапленные лишь следами зверя. Следы эти, если они принадлежали не зайцу и не лисице, а волку, могли вселить в твою душу еще и страх. Внезапно вспотев от него, торопливо вбежишь на курган и с его вершины вполне можешь увидеть, как от дороги неторопко убегает в глубь снежного этого царства большая серая собака по имени волк. Тоадеру Фрунзе выпало «счастье» не раз встречаться на малой, большой ли зимней дороге с этим четвероногим разбойником. Чаще — ночью, совсем редко — днем. Ближе к сумеркам он видел их почти всегда вблизи овечьих отар или неподалеку от изгородей, куда пастухи загоняли овец или телят. Когда ты на дороге один и шествуешь по ней пешком, вооруженный в лучшем случае одной палкой, то созерцание серого едва ли сможет развлечь или развеселить тебя. Скорее напротив: ты заскукаешь еще больше...

Выпадали — впрочем, очень редко — случаи, когда Фрунзе ездил и на повозке, это тогда, когда на районное совещание вызывали и председателя Вадулесского сельсовета Мокряка или его заместителя Апостола, инвалида войны. Лишенный одной ноги, этот последний, понятно, не мог идти пешком до райцентра. Если же вместо них в район отправлялся Биркэ, секретарь сельского Совета, комсомолец, то он вместе с Фрунзе делил поровну не особенно веселую участь пешехода. И все-таки вдвоем идти было легче; волки и те не были так уж страшны.

Тут надо заметить, что Тоадер Фрунзе сравнительно недавно узнал, что волки есть волки. Раньше он принимал их за больших серых собак, вроде овчарок. Кем в действительности являются эти «собаки», он узнал от Апостола, когда однажды, почуяв зверя, их лошади начали храпеть, подыматься вдыбки, шарахаться из стороны в сторону, пытаясь повернуть назад...

Охотнее всего ходил Тоадер Фрунзе в Гиров, где создавался колхоз имени Ленина. Дорога в это селение вела через родную Кукоару, так что по пути можно было забежать домой, поест там, даже немножечко поспать и, каким бы коротким ни был день, засветло добраться до Гирова. Иногда он делал кратковременную остановку и в Гиршенях: если б он не делал этого, на него очень рассердилась бы Люба Вайншток, жена председателя сельсовета. Любе не терпелось узнать какие-либо новости из Теленешт, хотя Фрунзе и сам был редким гостем в райцентре и мало что мог сообщить своему бывшему товарищу по комсомольской работе.

Но все, о чем рассказывалось выше, было в прошлом. Недалеком, в общем-то, но все-та-



ки прошлым. Теперь же, получив задание помочь в организации колхоза в родном селе, он мог пускаться в дорогу в любое время суток — до районного поселка от Кукоары всего около пяти километров. Половина пути лежала через виноградники и по полю, образовавшемуся после выкорчевки леса. Затем, почти до самого городка, был спуск. Сперва через Питарский лес, потом через акациевые заросли, после которых весь поселок лежал перед тобой как на ладони. Обычно в этом месте Фрунзе останавливался (чаще всего ночью) и долго любовался городком.

Там, внизу, в долине, перемигивались электрические лампочки. Их было меньше, чем до войны: городок был сожжен фашистами почти дотла. Не слышались, как прежде, зазывные крики пирожников, они когда-то шли по улицам с большими подносами и громко возглашали: «Горячие пирожки! Горячие пирожки!» Не слышно было и водоносов, тархтения их повозок по мостовой, стука деревянных ведер, гулко-го клёкота водяных струй, вытекающих из больших бочек, не слышно степенных речей хозяев этих бочек, ведущих какие-то непонятные беседы со своими клячами: «По воле, по волечке!...»

Не было всего этого, и все же в ночную пору городок напоминал настоящий город. После деревенской темени здешние лампочки производили впечатление. Отсюда, с вершины акациевого холма, они напоминали покачивающиеся золотые колокола какого-то сказочного царства. А может, то были вовсе не колокола, а какие-то райские плоды райского дерева?.. И не такую еще картину может нарисовать встревоженное воображение!

Ни один из этих магических светильников не подмигивал сейчас приветливо именно ему, Тоадеру Фрунзе. У него не было тут своего дома, не было своего стола, не было даже зеркала, в которое он мог бы поглядеться, чтобы увидеть, как загорело лицо, как почернело оно от весенних ветров, как шелушится нос. Кто-то сказал, что на весеннем ветру загорают только блондины. Как бы не так! Вот он, Фрунзе, брюнет, черен, как доньшко от чугуна, а как только подставит свою физиономию весенним ветрам, так сразу же кожа и поползет с носа картофельной шелухой. С тех пор как он стал бриться, щеки и подбородок перестали шелушиться. Однако нос по-прежнему лупился, будто его владелицей была модница-девчонка, которая, чтобы согнать загар и стать белолицей красавицей, смазывает свою мордашку собачьим молоком...

Возможно, Фрунзе и не задумывался бы о таких пустяках. Но в последние годы ему раза три приходилось фотографироваться для документов, и глядеть с карточки с облупленным носом кому ж охота! Черт бы побрал

такие порядки: никто тебя не спросит, где ты живешь, где спишь, ешь, а насчет паспорта напоминают, кажется, уже в сотый раз. Напоминал и Асауляк, и Гончарук — пора, мол, обзавестись этим главным для гражданина документом. Гончарук при этом добавлял:

— Не нынче-завтра вздумаете жениться. По нынешним временам за беспаспортного не выйдет ни одна порядочная девушка. Если ты даже захочешь оформить свой брак по старинке, в церкви, то и в этом случае ни один поп тебя не обвенчает. Понял?

От шуток Гончарука и серьезных назиданий Асауляка у Фрунзе кривилось обветренное лицо. Но кривись не кривись, а паспорт нужно было получать. Без этого документа Фрунзе не раз сталкивался со многими неприятностями и неудобствами. В кишиневской гостинице требовали паспорт, на почте — тоже. По удостоверению секретаря райкома комсомола иногда разрешали переспать одну ночь в гостинице (не более того!), предупредив при этом, что делают такую уступку в последний раз. Словом, паспорт был нужен. Ведь теперь Фрунзе не сельский житель, где люди обходились без паспорта, а горожанин, где без такого документа никак уж не обойтись. Тут ты без него вроде бы уж и не человек.

Сейчас, шагая по проселку, Тоадер Фрунзе чувствовал, как в него, точно в пробудившееся молодое деревце, вливаются могучие весенние соки. Мускулы бугрились под одеждой, грудь пружинисто втягивала напоенный весенними ароматами воздух, и было такое ощущение, что сейчас ему все под силу, чего бы он ни замыслил. А замысел Тоадера был на ту минуту грандиозен: отдать наконец недавно купленный материал портному для пошива костюма и получить в милиции паспорт.

Вряд ли он успеет сделать то и другое сегодня, до начала совещания. Но что-то же успеет! Хотя бы закажет костюм и сфотографируется, а это немало. Материальчик, правда, того... из него вышла бы чудесная юбка или там жакетик. Но другого у Фрунзе не было, не будет его и в магазине.

Придя к такому, в общем-то, оптимистическому выводу, Фрунзе мог бы перейти к обдумыванию и каких-то других своих проблем, но не успел этого сделать. На вершине холма, у акаций, его догнала повозка и знакомый голос окликнул:

— Эй, Фрунзе, выходи на дорогу!

Из-за кустов Тоадер видел лишь спины лошадей. Голос же принадлежал финну из органов госбезопасности.

— Садись. Чего топаешь по обочинам?

— Я постоянно тут хожу.

— Ты постоянно строишь из себя героя.

Фрунзе смутился. Что случилось с капитаном? Он всегда был спокоен, вежлив, рассуди-



телен, а тут сразу начал с упреков... Это не понравилось молодому человеку, и он даже не хотел воспользоваться приглашением финна. Но тот сказал еще строже и настойчивее:

— Ну, садись же!.. Герой!..

— При чем тут «герой»?! — огрызнулся Тоадер.

— Получаешь анонимные письма и молчишь, строишь из себя храбреца...

— Ах, вон вы о чем, товарищ капитан!.. Это ж чепуха!

— Хорошенькая чепуха!

— Иногда подкинут во двор. Ночью, наверное. Или в щель ворот засунут бумажку. В письмах тех больше грамматических ошибок, чем смысла, словно написаны они первоклассником!..

— По-твоему, это детские забавы?.. Так, между прочим, думал когда-то и Буруанэ, председатель Гиришенского сельсовета. Теперь уже не думает...

При последних словах капитана закутанная в платок женщина, сидевшая в передке телеги, разразилась страшными рыданиями.

«Люба Вайншток? — Фрунзе узнавал и не узнавал в этой вдруг состарившейся женщине фельдшерицу из Гиришен, жену Буруанэ. — Не может быть?!»

Из ее причитаний нельзя было понять, что же произошло в этом селе, которое находилось всего лишь в четырех километрах от Кукоары.

— Они зарубили его топором.

— Кто зарубил?

— Кулаки. А ты как думал — по головке нас будут гладить?

— Этого не может быть!.. Это невозможно!.. Нет, нет!..

— Оказалось вот возможным. Буруанэ, как и ты, не придавал никакого значения анонимным угрозам. Он тоже принимал их за детские забавы. Ну и поплатился за свою беспечность и доверчивость!

Фрунзе был потрясен. Лучшего председателя сельсовета, чем Буруанэ, пожалуй, не отыщется во всем районе. Тихий, скромный и мудрый, он ни при каких обстоятельствах не повышал голоса, никому не угрожал, больше полагался на свой разум, а не на голосовые связки. Ко всему был еще на редкость застенчив, краснел, как девушка. У Тоадера Фрунзе складывалось убеждение, что этот человек боится собственной власти и вытекающей из нее силы, стыдится даже физической мощи, которой наградила его природа от всех своих щедрот. Фрунзе не помнил, чтобы этот человек когда-нибудь застегивал ворот рубахи: зимою и летом шея и грудь его были открыты всем ветрам, и даже малая простуда не могла прильнуть к могучему организму.

У себя дома стеснялся повышенной заботы о нем со стороны жены. Ее ласковое, голуби-

ное воркование над столом, куда она ставила для него еду, старался перевести на шутку, грубовато приглушал ее чутко наигранные ухаживания. Ел медленно. Говорил тихо. Чувствовал себя в своем доме словно бы немного виноватым и потому опускал очи долгу.

Другие председатели держали в сельсовете при своей особе дюжину сторожей и рассыльных. Сыпали распоряжения: «Пойди и позови такого-то! Вызови в совет такого-то!» Буруанэ обходился без подобного сонмища. Приходил за нужным ему человеком сам. Каждый день его видели то в одном, то в другом конце села. Шел он по улице, чуть сутулясь, как все высокие мужики. Голова надежно покоилась на толстой мощной шее. Шел так же медленно, как и говорил. Ходил по селу при любой погоде, встречался чуть ли не с каждым мужиком, объясняя, что тот должен делать, куда поехать на своей телеге по государственной нужде.

Буруанэ не устраивал попок. Не принимал участия в пьяных гулянках даже с самыми близкими ему людьми и потому был независим.

И вот его не стало. Может быть, только теперь жители Гиришен по-настоящему поймут, какого человека они потеряли и какое тяжкое преступление было совершено в их селении.

Капитан рассказал, как был убит председатель, и подробности этого злодеяния вызывали у Тоадера физическую боль. Оказывается, кулаки находились в сговоре с бандой Гице Мо-гылды и заманили добродушного Буруанэ в лес. Действовали они не таким уж хитрым образом. Сразу же после дождя, чтобы потом был виден копытный след, угнали у одного крестьянина несколько штук овец, заранее зная, что в поиск отправится не кто другой, как сам председатель. Расчет был простой и верный: Буруанэ сам пришел в логово зверя...

— Ну что, Фрунзе, скажешь — детские игрушки?! Они раздели его догола, поделили меж собой одежду, а самого разрубили на куски... Я нашел одежду и обувь председателя на чердаках кулаков — участников убийства.

Тоадер слушал, и перед его глазами проходили один за другим лица жителей Кукоары. Какими непохожими стали некоторые из них! Эти даже не смотрели на него при встрече, не отвечали на его приветствия. Люди, которые вчера еще спешили подставить свое плечо, чтобы вытащить его повозку из трясины... Люди, с сыновьями которых он когда-то дружил, выезжал в ночное на лошадях... Что с ними сотворилось? Откуда взялась эта лютая злоба, поселившаяся в их глазах и затаившаяся под отяжелевшими, опущенными веками?.. И можно ли назвать людьми тех, кто мог изрубить ближнего своего и присвоить себе одежду уби-

енного?! В своей глухой, угрюмой, звериной ненависти они забывали не только о божьей заповеди «не убий», но даже о собственной безопасности...

— А ты, Фрунзе, храбришься тут, вышагиваешь один по дорогам, устраиваешь себе лесные прогулки, за цветочками ходишь с Ниной Андреевной... Не сердись, парень, но я вынужден сообщить обо всем этом Алексею Иосифовичу... И эти анонимки... Сколько ты их получил?

— Три, — виновато уронил Фрунзе.

— Где эти письма?

— Я порвал их и выбросил!

— Вчера ночью твоего отца вызывали какие-то неизвестные на улицу?

— Вызывали. Но его не было дома.

— Где же он был?

— В сельсовете.

— А чего нужно было от него тем неизвестным, знаешь?

— Они говорили, что его вызывают к телефону, туда же, в сельсовет... Они, мол, дежурные и вот пришли сказать, что звонят из района... Видать, ребята что-то перепутали. И никто ему не звонил из района...

— А после полуночи они опять приходили?

— Приходили. Мама выругала их через малое окошко прямо с печки. Сказала, что если уж они нализались винища, то шли бы спать. Отец к тому времени только что вернулся домой, а эти уверяли, что его снова вызывают к телефону...

— И ты думаешь, что это в самом деле была пьяная компания?

— Откуда мне знать! Второго их приход я не слышал — спал. С ними «объяснялась», как я уже говорил, моя мать.

— А что случилось ночью? О чем узнали вы на следующий день?

— В ту ночь был застрелен наш сосед Фырнаке.

— Да, Фырнаке. Но знаешь ли ты, друг мой Фрунзе, что вашего соседа застрелили по ошибке?

— Почему же? Он ведь был старшим осодмиловцем в Куксаре, первейший, стало быть, враг бандитов!.. Вот они и...

— Святая наивность!.. Бандитов мы изловили, и они признались, что Фырнаке был убит ими по ошибке. Целились они в твоего отца! Для того и выманивали его из дому. Его счастье, что не вышел!.. Если б вышел ты, и тебе бы крышка!.. Вот они какие дела-то, собиратель ландышей-цветочков!..

Продолжающиеся рыдания Любы Вайншток, разговор этот с финном-капитаном, воспоминания о гибели Фырнаке — все, как в горячем сне, смешалось в голове комсомольского вожак. Добравшись наконец до райцентра, он, разумеется, забыл о прежних своих замыслах от-

носительно нового костюма и паспорта. Голова шла кругом. Обычно в таких случаях он приводил ее в норму либо коротким сном, либо горячим, крепким чаем, который водился лишь в частном ресторане Аврума Бендера. Остановился было на чае, но оказалось, что бендеровского заведения уже не было. На его месте Фрунзе нашел груды закопченных кирпичей и несколько охапок камыша — тут строился новый дом. Возможно, расширился промкомбинат, забор которого еще раньше прихватывал и место, где притулился ресторан Аврума. Про Бендера узнал в парикмахерской: этот позднейший нэпман вынужден был свернуть свое предприятие и убраться подальше — в Черновцы, не то в Бельцы. В парикмахерских маленьких городков знают всё. Мастер бритья и стрижки в две-три минуты сообщит своему клиенту все новости — веселые и печальные. Кончину частного рестораника, пожалуй, следует отнести к разряду последних. Жаль все-таки, что Аврум прикрыл свой уголок. Правда, Фрунзе заглядывал в него редко: нэпмановские блюда были ему не по карману. Но все же заглядывал — это когда промерзал до самых костей и мог согреть себя изнутри либо чаем, либо жареной свининой с теплым белым хлебом; для этого отдавал Авруму последний рубль.

Теперь же Тоадер Фрунзе грустно глядел на место, где еще недавно бойко действовало бендеровское заведение, и памятью обоняния воскрешал туманные разумы запахи поджаренного поросенка и картофельного пюре. Ему не помешало бы вкусить от этого меню и сейчас, когда и в желудке и на душе было пусто и бесприютно. Бесприютно и холодно...

Откуда эта зябкость?..

Он вынужден был зайти в столовую рядом со зданием райкома комсомола и заказать в буфете сто граммов водки. Буфетчица, юное создание с комсомольским значком, посмотрела на него с крайним удивлением, но, помедлив немного, все-таки выполнила просьбу. Он выпил водку залпом, уселся за свободный столик и стал лениво жевать гуляш из какого-то жилистого мяса. Впрочем, после водки и это блюдо показалось ему достаточно вкусным.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### 1

Партактив района собрался в просторной комнате первого этажа. Люди заходили по одному и сейчас же принимались осматривать друг друга, как редкую диковинку. Особым вниманием удостаивались те, кто появлялся в новой обуви или одежде. Знакомые домами справля-



лись о здоровье жен, об успеваемости детей, обменивались кулинарными рецептами. Многие задерживались в коридоре, чтобы успеть выкурить последнюю перед заседанием папиросу, перекинуться шутками, услышать свеженький анекдот от человека, который, казалось, прямо-таки нашпигован анекдотами. Такою странной копилкой был заведующий райздравотделом, лысоватый, но красивый мужчина, знающий немало смешных историй, особенно, конечно, из медицинской практики.

Тут были люди разных характеров, профессий, должностей и специальностей. Столь же разнообразны были и их интересы. Фронтовики больше всего предавались воспоминаниям о своих боевых, ратных делах, рассказывали об операциях, в которых участвовали сами, и о таких, в которых не участвовали вовсе, но были совершенно убеждены, что участвовали и даже проявили там личное героизм.

Тоадер Фрунзе знал всех активистов. Во всех учреждениях и организациях, которыми руководили эти коммунисты, были комсомольцы. Тоадеру приходилось присутствовать на их собраниях, особенно — на отчетно-выборных. В этих случаях он всегда советовался со своими старшими товарищами, коммунистами, возглавлявшими то или иное учреждение или предприятие. Но из-за возрастной несовместимости, что ли, из-за врожденной ли застенчивости или из-за того, что он не был женат и не обременен житейским опытом, — Тоадер Фрунзе был как-то далек от всех этих повивавших виды людей, чувствовал себя среди них немного потерянным, слушать их слушал, но сам в беседу с ними не вступал.

Однако он и не скучал. Ему было интересно и видеть этих партийных активистов, и слышать, что они говорят. Время, в которое жил Тоадер Фрунзе и его современники, было хоть и нелегким, но оно не стояло на месте и делало свое дело. Промкомбинат, например, вчера еще бывший для всех притчей во языцех, «мальчиком для битья» для всех присяжных и добровольных критиков, промкомбинат, по которому проходились едким словом все ораторы на всех совещаниях, пленумах и активах, — этот самый промкомбинат теперь стал получать хром двух цветов, черный и коричневый, и многие вчерашние обличители явились на этот актив в щегольских сапожках, сшитых в мастерских промкомбината. И не только в хромовых сапогах явились эти модники, но и в голубых кителях и брюках. Правда, пока что далеко не все могли похвастать такой обновой, комбинат не располагал еще достаточным запасом дефицитных материалов, чтобы обути и одеть по-новому всех. Тоадер Фрунзе, скажем, продолжал донашивать немецкие сапоги с широченными бастрюбами, сшитые, верно, из кожи бизона,

твердые и негнувшиеся, как прокаленное железо, железной крепости и тяжести. Только молодые мускулистые ноги их нынешнего владельца могли вынести эти благоприобретенные кандалы. Китель и галифе ему перешила сельская портниха из поношенной офицерской шинели светло-зеленого английского сукна. Фасон кукоаровская мастерица придумала свой: он был и не военный и не гражданский, а что-то среднее между ними. Не утруждала портниха себя и лишними примерками: прикинула все на глазок при первой встрече с заказчиком. Потом, вручая готовую справу, молвила: «Вышло как вышло, милый. Ты уж не прогневайся!» Вышло, в общем, ужасно, но что поделаешь?! Тоадеру ничего не оставалось, как утешиться известной поговоркой: «Не одежда красит человека, а человек одежду». Утешение же это было весьма слабым, в особенности тогда, когда он видел заведующего райсельхозотделом, единственного агронома в районе, в одежде, словно вылитой по его фигуре. Среди активистов лишь они двое были холостяками. Преимущество же было явно на стороне агронома. Он высок, строен, одет, как уже сказано, с иголочки. К тому же от его одежды веяли эфирные волны дорогих духов, что заставляло многих активистов и в особенности активисток оборачиваться и с завистливым уважением рассматривать районного щеголя. Девчата или молодые солдатские вдовы старались сесть рядышком с ним и всячески силились обратить на себя его благосклонное внимание. При виде всего этого попробуй-ка утешь себя какой-то там глупой присказкой!..

Как на всяком собрании, опоздавший притулялся где-нибудь с краешку и озабоченно спрашивал:

— Еще не началось?

— А что тут должно начаться? — смеясь, в свою очередь, спрашивал тот, к кому только что обратился опоздавший. Этот хоть и пришел раньше, но пока что не знал и он, для чего их собрали.

— Зачем же все-таки нас вызвали?

— Говорят, лектор из Кишинева приехал.

— Поморцев?

— Кто его знает! Никто же не видел.

— Поморцев читает хорошо...

— Он прекрасный международник. И читает без бумажки...

— Неужели ради какой-то лекции я должен был месить грязь черт знает откуда!..

— Телефонограмма райкома...

— Ну, ты это оставь!.. Правильно делают, что время от времени собирают тут нас всех. Узнаем хоть, что творится на белом свете. А то одичаем в своих селах...

В другое время Тоадер Фрунзе побежал бы к Шеремету спросить, почему задерживается собрание, но сейчас не решался: в кабинете



секретаря райкома партии могли находиться столичные товарищи и появление постороннего человека в такую минуту было бы вроде неуместным. Тоадер знал, что подобные задержки бывают редко, все собрания и заседания, как правило, начинаются минута в минуту. Для опоздавших Шеремет придумал одно наказание — поднимал товарища с места и требовал публичного объяснения, почему тот опоздал. Сейчас задержка могла произойти из-за представителя центра: разговаривался важный гость, забыл о времени, а в бок ему не ткнешь булавкой, не вернешь к действительности!

Однако иное обстоятельство занимало и Фрунзе и других активистов более всего. Они успели заметить, что рядом с конференц-залом, в двух больших, соединенных открытой дверью кабинетах, расставлены столы, на которых уже успели уютно разместиться разные яства, как-то: копченое сало, окорока, колбасы, вареные яйца, брынза, белый хлеб. Через весь стол ровной шеренгой выстроились бутылочки с лимонадом... Гм... Что-то никто не помнил, чтобы на лекцию о международном положении народ заманивался празднично накрытым столом. Зачем это? Зачем этот буфет, полки которого так и ломились от лакомств? Активисты, все без малого, успели пообедать дома, ужинать опять собирались за своим собственным столом. Не будет же столичный товарищ читать свою лекцию всю ночь!.. Гм-гм... Может, у Шеремета накопилось так много вопросов, что он собирается заседать до утра?.. Или все эти угощения приготовлены для «высокого гостя»?

Тоадер Фрунзе увидел в коридоре сына бывшей помещицы и поспешил распрощаться с мыслями о праздничном столе, о лекторе и обо всем прочем. Он скорехонько юркнул в парткабинет и притаился там в каком-то уголке, иначе «паныч» прижал бы его к стенке и, лебезя, стал бы вновь просить о принятии его в комсомол. Его мать, боярыня Вера Сергеевна, убежала через Прут вместе с дочкой, а ее единственный сын, придурок с заячьей губой, остался на месте и женился на прислуге с их двора. Устроившись инспектором при райфо, он почел себя законченным пролетарием и требовал, чтобы его непременно приняли в комсомол. Впрочем, придурком его, по-видимому, окрестила мать, за что-то невзлюбившая сына. А вообще-то этот боярский отпрыск был толковым и достаточно образованным парнем, к тому же хорошим семьянином. Во время голодовки сам чуть не отдал богу душу, поскольку все, что бы ни зарабатывал, приносил домой жене и ребенку, а сам, будучи финансовым инспектором, сделался дистрофиком, и его пришлось поместить в больницу. Другие жены ставили его в пример своим мужьям, говорили, что неплохо бы им, красавцам, кое-чему поучиться у этой «заячьей губы».

Так-то оно так, но что делать Тоадеру Фрунзе? Не может же он принять в комсомол боярского сына! Это было бы уж слишком!..

Наследное имение «заячьей губы» находилось неподалеку от Кукоары. В пастушескую свою пору Тоадер не раз бросал своих овец на произвол судьбы и бежал посмотреть, как молодой боярин выезжает из своей усадьбы на собственном автомобиле и направляется, вздымая облака пыли, к церкви. Однажды Фрунзе, выждав, когда барчук удалился в церковь, вместе со своими друзьями нашипиговал дорогу ржавыми гвоздями и осколками толстого стекла, а затем забрался на ореховое дерево, чтобы понаблюдать оттуда, что содеется с помещицкой машиной. Но автомобиль пролетел по гвоздям и стеклу как ни в чем не бывало. Последующие такие же проделки тоже ни к чему не привели. А ребятам всего-навсего хотелось таким-то вот образом задержать эту дикувину и хорошенько рассмотреть ее вблизи.

Какжется, только десятая попытка увенчалась успехом. Машина, со свистом выпустив воздух из одной камеры, остановилась, но разглядеть ее ребяташки так и не смогли: за ними погнался шофер. Хорошо, что он был пожилым человеком и состязаться с резвыми ногами сельских сорванцов ему было не по силам. Те все-таки успели заметить, что на руках водителя были белоснежные перчатки, а на плечах — кожаная куртка.

Кожаная куртка и белые перчатки у шофера, у слуги, в общем-то. А ты теперь принимай в комсомол его молодого барина. Как бы не так! Комсомол не для боярских сынков и дочек! Культурный же человек, говорит по-русски и по-французски, в Париже, вишь, побывал, оперировал там свою губу, а понять простых вещей не может: не нужен он комсомолу! И зачем он только рвется в него? Или думает, что комсомол прибавит ему зарплату или будет выдавать бесплатно молоко для ребенка?..

Разве для него мало, что ему оказано доверие, что сделали его инспектором райфо, избавили даже от физического труда, в то время когда ему не мешало бы поворочать лопатками, походить за плугом, поорудовать мотыгой, как делали когда-то его слуги и как делают нынешние крестьяне во всех селах и деревнях. Батраки из четырех селений обрабатывали землю его матери... Можно ли забыть такое!

Тоадер говорил все это бывшему барчуку, но его слова пролетали как бы мимо, не задевали ни единой струны в барчуковой душе: тот выслушивал, а потом с утроенной энергией просил, умолял секретаря, чтобы приняли его в комсомол. Фрунзе ничего не оставалось, как спасаться бегством. К этому способу прибегнул было он и сейчас, да не тут-то было! Барчук нырнул в парткабинет следом за ним и с мягким учтивым поклоном, с угодливой улыбкой,

с чуть приподнятой над головой шляпой предстал перед комсомольским вожакom. Черт бы его побрал, откуда только усвоил он эти аристократические, светские манеры, почти безвыездно живя в этой глухомани?! Если ему нужно было поприветствовать несколько человек, то он отдавал поочередно честь каждому в отдельности, приподымая слегка шляпу и кивая головой, подобно клоуну в цирке: «Честь имею, честь имею!»

По его хоть и барской, но изрядно поношенной одежде было видно, что жилось этому человеку несладко. Жена нигде не работала, так как не имела никакой специальности и профессии. Она могла бы быть уборщицей, сторожкой, дворничихой, курьершей, только муж не разрешал ей. Но жить в городе, где не покупают разве что воздух, — жить в городе с семьей, пусть и небольшой, на одну скромную зарплату — дело, прямо скажем, не простое. Лучшее бы всех рассказал об этом вечно пустой и потому вечно ропщущий желудок бывшего аристократа. Он-то, этот голодный желудок, и спас Фрунзе от очередной психологической пытки, поскольку барчук, уловив чутким носом запахи съестного, тотчас же устремился к буфету, забыв обо всех приличиях и о своих утонченных манерах. Заячья его губа, которую так и не смогли поправить французские хирурги, при виде яств затрепетала, готовая пройти по всем этим копченостям и соленьям.

— Пардон!.. Пардон!.. Пардон!..

После каждого «пардона» он совал то в карман, то за пазуху, то еще куда-нибудь какой-то пакетик. Его горящие глаза метались из стороны в сторону и, только столкнувшись с чьим-либо укоряющим взглядом, мгновенно прятались, а их хозяин торопился извиниться: «Пардон!» Пардона в этом случае было явно маловато, и он добавлял:

— Знаете, у меня дочь... ангел, а не девочка!..

Возможно, оттого, что сам он явился на этот свет с большим физическим дефектом, он и обожал так свою жену и своего ребенка, этих обыкновеннейших существ с чисто крестьянским обликом.

Сперва отдаленный, затем все приближающийся гул голосов и скрип лестничных ступенек предвещали скорое начало совещания, и приглашенные на него начали поспешно покидать буфет. Каждый старался подобрать себе стул сообразно со своим характером: одни поближе к трибуне, чтобы быть на виду у начальства, другие, напротив, подальше, чтобы, во-первых, не попадаться на глаза руководителям и, во-вторых, иметь возможность продолжить товарищеское собеседование, начатое в коридоре или в буфете. Задлые курильщики, которым всегда не хватает времени, чтобы прикончить последнюю папиросу, вбегали как уго-

релые в зал заседаний позже всех и садились где бог приведет: выбора у них не было.

В парткабинете сначала держался холод, как в пустом леднике. Холодом веяло даже от стен, и женщины кутались в шерстяные платки. Алексей Иосифович Шерemet вошел в кожанке, небрежно накинутой на плечи. Всегда худущий, он, пожалуй, больше других страдал от холода, сейчас даже бакенбарды на его щеках зябко топорщились. Печи в этом помещении топились только зимой и держали тепло, лишь когда топились. Они были сделаны из железных бочек, покрашенных под цвет стен, и были похожи на знаменитые буржуйки, неизменные спутницы лихолетий, только размером побольше.

Шерemet улыбался. Улыбался и укоризненно покачивал головой, по чему Тоадер Фрунзе безошибочно узнавал, что его наставник не в духе, что он чем-то недоволен. Поводы для недовольства у него были: райком снова остался без первого секретаря, так что тяжкий крест бесчисленных райкомовских дел опять должен нести он, Алексей Шерemet. К Новому году первого секретаря наградили орденом Отечественной войны второй степени, выдали ему дополнительно, в виде премии, хромовое пальто, и, как новенький пятиалтынный, «первый» был переведен в Кишинев, на более высокую должность. В этом районе он проработал так мало, что для Фрунзе лицо его виделось, как в тумане. Запомнилось лишь то, как он распоряжался своим табаком. Малые заседания первый секретарь обычно проводил в своем кабинете, курил, не дожидаясь перерыва. Делал это так: выдвинет ящик письменного стола, извлечет из пачки «Казбека» одну папиросу и тут же задвинет ящик, повернув в нем маленький ключик, каковой сейчас же упрятает в карман.

За столом президиума кроме Шеремета и столичного лектора сидели и члены бюро райкома. Это было тоже непонятно: обычно во время лекций, кроме самого лектора, никто не подымался на сцену. За столом, в центре, вставал лишь Шерemet, представлял столичного гостя, который, изготoвившись, сидел поближе к трибуне, и лекция начиналась. Пока она шла, Шерemet сидел на своем месте и молча смотрел в зал. Заметив разговаривающих, не стучал по стакану карандашом, а вперял свой взгляд в нарушителей порядка и покачивал головой. Этого было достаточно, чтобы разговаривающие мгновенно примолкали и, пристыженные, сидели до конца лекции настоящими паниками.

Но теперь вот за столом президиума расположились все члены бюро. Открывая совещание, Алексей Иосифович не согласовывал повестку ни с ними, ни с теми, кто сидел в зале, а сразу же предоставил слово гостю из Кишинева, оказавшемуся действительно из лектор-



ской группы Центрального Комитета. Но то был не Поморцев, как предполагали партийные активисты, однако в искусстве приковывать к себе внимание слушающих едва ли уступал тому. Правду сказать, оперировал он информацией в пределах той, которую каждый мог почерпнуть из газет. Но делал это столь ловко, преподносил каждый факт столь эффектно, с такими многозначительными паузами и с такою игрою голоса, с такими модуляциями, что партийные активисты поначалу слушали как зачарованные.

Актерский дар лектора до того увлек Фрунзе, что он только перед перерывом заметил, что сидит рядом с боярским сыном, который все еще прятал свои пакеты с покупками.

— А вы что тут делаете? Почему не ушли домой? — удивился Фрунзе.

— Попробуй уйди! Там солдаты. Никого не выпускают...

2

В антракте Тоадер решил посмотреть, о каких это солдатах поведала ему «заячья губа». Все знали, какой порядочный трус был финансовый инспектор, так что любой милиционер или служащий райвоенкомата мог быть принят им за бойца, которого поставили у входа для охраны.

Но «бывший» не лгал. У дверей, что вели на улицу, Тоадеру преградили путь два настоящих солдата. Бравые парни, одетые в новенькую военную форму. По цвету их погон и фуражек можно было предположить, что служили они в пограничных подразделениях. Часовые ни с кем в разговор не вступали, лишь скрепчивали свои винтовки перед человеком, который намеревался выйти из райкома на улицу. Вытащившись по стойке «смирно», солдаты чуть заметным движением приподнятого подбородка указывали, что выйти можно только во двор, но не далее: во дворе, у ворот, тоже были часовые, солдаты-пограничники.

«Вот теперь-то уж мы его накроем! — мысленно торжествовал Тоадер, имея в виду Гицэ Могылдя. — Теперь, когда к нам на помощь пришла армия, он не ускользнет от нас!»

Сейчас, когда окончится лекция, Шеремет скажет что-то, затем на трибуну поднимется командир этих пограничников, проинструктирует актив, и операция по поимке бандита начнется. Эх, какой все-таки хитрец этот Шеремет! Должно быть, операция эта задумана давно, а он до сих пор держит ее в секрете, не сказал о ней даже ему, Тоадеру Фрунзе. Может, так-то лучше. Ведь и среди активистов немало болтунов. Молодец Шеремет!..

Фрунзе ликовал. Пробыл наконец час!

Барчук между тем продолжал томиться, коротая время тем, что без конца пересчитывал свои пакетики. Он их пересчитывал и бормотал что-то себе под нос. Тоадеру все же удалось кое-что разобрать из его бормотания. «Бывший» сокрушался по поводу того, что жена не знает, куда он запропастился, вот уже полночь, а его все нет и нет. Может быть, вовсе не нужно было заходить в буфет? Он истратил там все деньги до единой копейки и теперь сидит как дурак с полными карманами свертков, кульков и пакетов. Изредка он взглядывал на соседа, и вообще, будь на то его воля, Фрунзе с удовольствием вытолкал бы нахала из зала. И был бы, конечно, прав: сколько серьезных дел творится на белом свете, а этот сидит и потеет, дрожа за свою жалкую покупку. Он вот тут дрожит, а жена его, поди, дрыхнет как ни в чем не бывало, спит и видит какие-нибудь свои недавние девичьи сны, рада-радешенька, что рядом нету сейчас ее суженого, прозванного «заячьей губой». Сам-то он, может, вовсе не спит, когда ложится в кровать, или спит, но с открытыми глазами, как спят зайцы.

Однажды Тоадер Фрунзе на себе испытал такое соседство и чуть было не умер от страха. Как-то на их бахчу припожаловал пьяненький Иосуб Вырлан и, втиснувшись в шалаш, расположился рядом с подремывавшим там Тоадером. Иосуб тут же захрапел, хотя глаза его были широко и страшно распахнуты. Мальчишка Тоадер так испугался (тогда он еще не знал, что на свете есть люди, которые могут спать с открытыми глазами), что с криком выскочил из шалаша и со всех ног пустился домой. Он решил, что Иосуб умер на их бахче. По дороге домой встретил дедушку мош Тоадера Лефтера. С ходу кинулся к нему на шею и, трясая и плача, сообщил:

— Деда... мош... мош Иосуб умер... У нас в шалаше!..

— Успокойся, дурачок. Я сейчас его воскрешу!.. Я его подыму на ноги!.. Приходит, чертова скотина, на чужой огород и пугает чужих детей!.. А ты не очень-то жмись ко мне! Штанишки-то, поди, мокрые?.. Налопаясь арбузов, раздуешься, как самовар, и поливаешь целый день из своего краника все кяду... Вон уж рубаху мою обмочил, байстрючонок!.. А того я сейчас проучу! Будет знать, как ходить на чужую бахчу и спать с открытыми глазами!.. Коровья башка!.. Ух, как я его отделаю!..

Тогда маленький Фрунзе укрылся за виноградными кустами и слушал, как дедушка воскрешает Иосу́ба Вырлана. Подойти поближе боялся, но все видел очень хорошо. Иосуб бегал вокруг шалаша и испуганно орал:

— Ты что, мош Тоадер, белены объелся?.. За что ты меня лупишь? Что я сделал такого?! Старый Лефтер преследовал ничего не понимающего Вырлана по пятам, охаживая его



спину длинным кизилевым прутом, подпирая действия эти еще и гневными словами:

— Я т-т-тебе посплю!.. Ты хочешь, чтобы мой внучек заболел черной болезнью, разбойник!.. Катись отсюда, пока я тебя не превратил в мочалку!..

— Какая, к черту, болезнь?.. Ты что, старый, с ума спятил?..

Кончилось тем, что они помирились. В заключение этой короткой драмы мош Лефтер угостил Иосубу арбузом; удовлетворенный, тот покинул бахчу, а старый ворчун сам выбрал еще пару арбузов и приказал внуку отнести их не кому-нибудь еще, а тому же Иосубу Вырлану прямо на дом. Такие перемены с дедушкой случались часто.

Тоадер Фрунзе улыбнулся, представив себе, какие номера выкинул бы его прародитель, если б увидел этих часовых у дверей и ворот райкома. Своим криком и отборнейшей руганью он поднимал бы весь город!

Лекция же продолжалась. Два часа; потом после перерыва возобновилась, лектор снова принялся говорить, и конца этому что-то не видно было. И все о международном положении. Мать моя родная! Чего только не происходит на свете!.. Но разве можно рассказать обо всем за один вечер или даже за всю ночь?! Хорошо, что перерыв сделали большим: можно было уплести целого барана и запить его бочкой вина. Ничего подобного раньше не случилось. На тех двух отчетно-выборных партийных конференциях, в которых принимал участие Тоадер Фрунзе, доклады продолжались тоже несколько часов, но паузы были короткими. Один только перерыв был сравнительно долгим — это когда печатались бюллетени для тайного голосования. Правда, на тех конференциях было поживее, поскольку многие из делегатов получали порядочную головомойку. Критические страсти бушевали всюду, угасая лишь к концу прений, когда к критикуемым возвращался постепенно нормальный цвет лица, когда сами ораторы, памятуя о приближающемся голосовании, делались мягче, подбирали слова поделкатнее, менее обидные.

Сейчас в лекции клеймили позором лишь врагов социализма. О недостатках, нехватках, ошибках, разного рода промахах, которые «имели место» в самом районе, не было сказано ни слова. Это могло бы устроить многих, если б не часовые у дверей. Во время перерыва старые коммунисты слонялись по коридору мрачные, угнетенные. Там, за этими охраняемыми дверьми и воротами, их ждали семьи, жены и дети и множество других забот, связанных со службой в собственных организациях и учреждениях, за которые они несли личную ответственность. Надо было найти время, чтобы сделать там нужные распоряжения, дать необходимые указания. Во главе важнейших

учреждений, организаций и предприятий были поставлены фронтовики, люди закаленные, с большим житейским и иным опытом, коммунисты с довоенным стажем или те, кто был принят в партию на фронте. За все, что делалось их подчиненными, отвечали перед высшими инстанциями они, а не кто-нибудь другой.

Мыкает, скажем, горе в непролазной грязице, добираясь от села к селу, директор лесного хозяйства, посланный партией для организации колхозов, а леспромхоз должен выполнять свои планы. Сидят ли в своих служебных кабинетах заведующие райфинотделом, райнабразом, райздравотделом и других «раев» или, подобно директору лесхоза, тоже ораторствуют по селам, в соответствующих министерствах никому до этого дела нет. Для них важно, чтобы зарплата рабочим и служащим выдавалась вовремя, чтобы школы работали нормально, чтобы люди могли когда нужно получить медицинскую помощь, чтобы... ну, и так далее и так далее. То, что ты несешь еще огромную общественно-партийную нагрузку, — неси на здоровье, за это тебя, может быть, похвалят на собрании, всерьез же спросят и взыщут лишь за то, как обстоят дела во вверенном тебе учреждении или предприятии.

Легче было юристам. Прокурор и его следователи получали специальные дни и даже недели для выезда на места: там они могли лучше разобратся даже в самых запутанных делах. Кабинеты их на этот случай закрывались, поскольку ни прокурора, ни следователя заменить никто не может. Не очень-то страдал от частых выездов в села и Тоадер Фрунзе. Ни семьи, ни квартиры в городе у него не было. Жил, как вольная птица. Под стать ему были и его помощники — инструктора райкома комсомола и заведующие отделами. Все они молодые, «семье по лавкам» их не беспокоили. Голод, холод, бытовые неудобства — всё это побеждалось молодостью, ее неукротимой энергией. Как уже сказано выше, они могли вывесить на дверях овеянное революционной романтикой объявление: «Райком закрыт. Все ушли на фронт» и как бы подвести черту под всеми городскими заботами. Правда, это не избавляло секретаря комсомольского райкома от нареканий и даже угроз, которые время от времени сыпались на его голову откуда-нибудь «сверху». Он постоянно встречал их, мужественно переносил, поскольку знал, что делал все, что было в его силах, на своем посту. А там — «пусть вызывают и пусть снимают стружку!»

Сейчас, на этой бесконечной лекции, он чувствовал себя в положении отдыхающего. Под боком был буфет, где можно насытиться, с трибуны тебя никто не критикует, никто не требует, чтобы ты выступил с объяснениями. Премиленькое дело: сиди себе и слушай, узнавай, что делается в этом беспокойном мире. Ко-

нечно, утомительно сидеть так-то вот много часов подряд, множество фактов, обрушившихся на твою голову с трибуны, давят на виски, опрокидывают тебя в сон. Но ты должен терпеть и знать, что сказал по такому-то случаю в далекие еще времена Гегель и что сказал совсем недавно Трумэн. Хорошо еще, что, занятый своими пакетами, сосед оставил тебя в покое и не терзает просьбами о приеме в комсомол.

Фрунзе злился, а сам потихонечку косился в сторону соседа, удивляясь, какие у него красивые глаза. Какие-то бархатные, чистые, словно спелые маслины, окунутые в стакан с подсолнечным маслом. Наградив парня заячьей губой, природа как бы спохватилась, сжалась над ним, компенсировав физический его недостаток прекрасными глазами.

Оставив «бывшего», Тоадер мысленно переключался на кого-нибудь другого из сидящих в зале и таким образом отгонял от себя сонливость. О каждом он знал почти все, как хорошее, так и плохое. Все эти люди были разные, со своими странностями и слабостями, привычками и наклонностями. К примеру, взять хотя бы заведующего райздравотделом, этого бритоголового благообразного мужчину. Сидит — сама кротость, воплощение невинности и добродетели, отец трех взрослых детей: двух дочерей на выданье и одного парня. Однако именно о нем упорно ходит слухок, и, кажется, не без основания, что он отчаянный бабник. Странная все-таки штука жизнь! Одних она балует, а над другими только посмеивается. Вот эти женщины, назойливыми мотыльками порхающие вокруг лысого старика... Им бы обратить свой взор совсем в другую сторону, скажем, на того же Остапчука, над которым они постоянно злобуют. А над ним не смеяться нужно, а обожествлять его. Судите сами: Остапчук один растит свою дочь; когда она была совсем крошечкой, стирал пеленки и распашонки, по несколько раз просыпался ночью, чтобы поправить на ней одеяльце или сменить мокрую пеленку на сухую. С фронта человек этот вернулся в гимнастерке, унизанной боевыми орденами и медалями, на погонах были майорские знаки различия. Но к хорошим людям судьба чаще всего поворачивается спиной. Так поступила она и относительно этого замечательного офицера. Женится он на смазливой, но ветреной девчонке. В положенный срок она родила ему дочь и тут же, подобно кукушке, выпорхнула из гнезда и улетела бог знает куда. Теперь появлялась изредка на короткий миг, чтобы только взглянуть на покинутое ею дитя. Остапчук был настолько добр и деликатен, что даже не расспрашивал, где она пропадает месяцами, что делает. Он был бесконечно рад уже одному тому, что его ребенок хоть вот так увидит свою мать. Поскольку Остапчук был для девочки отцом и матерью одновременно, райком не посылал его

в дальние командировки, но закрепил за ним село, находившееся в трех километрах от городка. Там он безропотно и в высшей степени добросовестно исполнял нелегкую роль уполномоченного по организации колхоза. И над таким-то человеком женщины подсмеивались, хихикали, перешептывались, когда он попадался им на глаза. И не только они, но и их лысый кумир, который, ухмыляясь, подводил для своего оправдания некую философскую базу. Он говорил: «Одни мужчины являются на свет, чтобы быть прекрасными мужьями, другие — любовниками». Завздрав не пояснял, к какому разряду следовало бы отнести его самого, но это и без того было ясно. Да, конечно же, он рожден для любовных походов и этим гордится!..

Тоадер Фрунзе внутренне усмехнулся: что за чертовщина лезет в его голову, когда идет лекция? Он мог бы упрекнуть себя, если б не знал, что и головы других заняты сейчас чем-то подобным, ибо слова, сыпавшиеся с трибуны из уст неугомонного лектора, уже не могли поместиться в черепной коробке и пролетали мимо ушей. На собрании можно удержать внимание слушателей на два, от силы на три часа, но не более того. Затем человек начинает нудиться, вертеть головой, как лошадь на солнце-пеке в летнюю пору, искать развлечения в чем-нибудь другом. На его глаза попадает чья-то симпатичная или, наоборот, несимпатичная рожица, и он занимается ею, обсуждая в мыслях ее со всех сторон, оценивая и так и этак; или вступит в тихую беседу с соседями справа и слева. И это еще не самое предосудительное из того, что может с тобой случиться на затянувшихся лекции или докладе. Хуже то, что, например, он, Тоадер Фрунзе, в таких случаях обычно засыпал. Как ни старался подкараулить, упредить мгновение, за которым закрывались его очи, не мог этого сделать: вздрагивал либо от того, что сам спохватывался, что спит, либо от резкого толчка в бок, каким его приводил в чувство сосед. Хорошо еще, что Тоадер не имел ужасной привычки храпеть во сне, а некоторые делали и это: в самую патетическую для лектора минуту где-нибудь неподалеку от трибуны или в отдалении вдруг раздастся богатырский храп, который сейчас же будет заглушен ядреным всеобщим хохотом...

Сегодня же Тоадер Фрунзе мог быть доволен собой: ни разу не задремал. Отчетливо слышал бой настенных часов: бом... бом... бом... Насчитал двенадцать ударов и видел, что и другие товарищи были заняты тем же самым. При бое часов даже лектор улыбнулся, поправил листочки тезисов, дожидаясь, когда смолкнут удары.

За столом президиума поднялся Шеремет, поблагодарил лектора, пожал ему руку. Несмотря на поздний час, спросил — так, для порядка: есть ли вопросы? Разумеется, таковых не оказалось. Люди шумно вставали, гремели



стульями, торопились уйти домой. Но поднятая рука председательствующего остановила их — народ так и застыл среди разбросанных стульев.

Шеремет медленно и четко прочитал распоряжение о ликвидации последних остатков эксплуататоров на территории Молдавской республики. В зале стояла такая тишина, что можно было услышать тиканье не только стенных, но и наручных часов.

— Машины ждут вас. Поезжайте в села, откуда приехали! Выезжайте немедленно, прямо отсюда. А мы постараемся сообщить вашим семьям, где вы и что. Так что не беспокойтесь!

Тоадер Фрунзе поспешил к Шеремету:

— Алексей Иосифович...

— Что, Фрунзе? Не хочешь испортить отношения со своими коdryнями? — спросил тот необычно строго.

— Не о том я...

— Что-нибудь случилось?

— Случилось... В партакбинете есть посторонние...

— Не понимаю. О ком ты?

— Помещичий сынок пробрался сюда. Вы что, не видите?

Не видеть «заячьей губы» было просто невозможно: он со своими пакетами привлекал к себе всеобщее внимание. Вот и сейчас предстал прямо перед глазами Шеремета. Тот спросил строго:

— Как вы сюда попали? Кто вас привел?

— Я в буфет... у меня дочь... жеңа...

Алексей Иосифович принялся разглаживать волосы на своей голове — по-видимому, искал выход из создавшейся ситуации. Может быть, хотел просто успокоить себя.

— Я хотел уйти, но солдаты не выпустили меня, — продолжал барчук.

— Возьмешь его с собой в Кукоару! — резко повернувшись к Фрунзе, выпалил Шеремет.

Это было так неожиданно, что Тоадер не нашелся, что сказать. Так и стоял перед секретарем райкома партии с раскрытым от изумления ртом.

### 3

После боевых операций на фронте эта для военных людей, должно быть, представлялась совсем пустышной. По команде, понятной опять лишь только военным, грузовики выстроились в колонну. За рулем каждой машины сидели опытные солдаты-водители, хорошо знавшие местные дороги. Они вели машины с потушенными фарами. В кабине, кроме шофера, сидел офицер, а в кузове помимо партактивистов было несколько солдат. Трехосным грузовикам-вездеходам грязь была не страшна, они пройдут всюду, как проходили по фронтовым дорогам, на-

груженные ящиками со снарядами и минами для «катюш». В пору войны, когда немецкая линия обороны была прорвана у Кули, Тоадер Фрунзе впервые увидел в руках советского офицера карту и страшно удивился, что на ней четко отмечены все дороги, все проселки, все селения и даже малые хутора, лесные сторожки, в том числе увидел он возле одной точки и название своего родного села. «Кукоара» — было написано печатными русскими буквами. И все, что окружало Кукоару, тоже было помечено на той удивительной карте. Вверху, на холме, обозначенном какими-то хитрыми штрихами, была нарисована маленькая церковь, рядом с нею — кладбище, их кладбище. Дороги, словно артерии, вложили между кубиками, которые должны были обозначать избы, затем они убегали в поля и виноградники. Не были забыты картой и все семь ветряных мельниц, и роща по ту сторону Ходжинештской равнины, и долина Бахура, лес Оштянка, долина Плешны — все, решительно все было тут нарисовано и раскрашено в разные цвета. Эх, как хотелось тогда Тоадеру заполучить хотя бы одну такую карту, чтобы сохранить ее на память. Ну что она стоила для того офицера, в особенности после того, как немцы были изгнаны из этих мест. Кишинев был освобожден и карта с пометкой «Кукоара» ему, офицеру, уже без надобности?! Так думал юный Тоадер Фрунзе и не понимал, когда ему говорили, что эта карта должна быть сдана в военный архив, что она уже принадлежит истории, по ней ученые люди будут прослеживать боевой путь Красной Армии-победительницы; потому-то ее и нельзя дарить. К тому же она была еще и военным имуществом, за сохранность которого офицер несет личную ответственность, как за каждого своего солдата. Та же карта может лучше, чем кто бы то ни было, рассказать, понапрасну погибли там-то и там-то солдаты или их смерть нужна была для победы над врагом. Как же ее подарить?!

Фрунзе не знал, правду ли ему говорили офицеры, которых он угощал вином в своем доме, или им просто было жаль расставаться с этой вещью. Поди теперь узнай!..

Пока он предавался воспоминаниям, машины подъехали к опушке Питарского леса и остановились там. Офицеры собрались у грузовика, который шел впереди колонны. В ночной темноте вдруг раздалось звонкое и сочное кукареканье. Запелое тотчас же откликнулись другие петухи. И концерт начался. Первыми включились в него кочеты из долины Чулука. Затем покатались петушиные рулады откуда-то справа и слева и из селений, которые остались где-то позади. На отброшенное лесом эхо резко и пронзительно отозвались петухи из Кукоары — этих-то Тоадер Фрунзе узнал сразу по их голосам, тут каждый пернатый солист был

хорошо знаком ему. Жаль, что не первыми начали, опоздали, чертовы драчуны!..

Тоадер знал, что, к примеру, черешня в селах, находящихся поближе к городу, поспевает на целую неделю раньше, чем в его Кукоаре. Но ведь то черешня, она может сослаться на климатические условия. А петухи-то какого дьявола опаздывают!..

Самые отдаленные от Кукоары селения находились в пятнадцати — двадцати километрах от Питарского леса. Стало быть, машине, на которой ехал Тоадер в сопровождении нескольких солдат и одного офицера, нужно будет задержаться тут до тех пор, пока остальные грузовики доберутся до места назначения, то есть до тех отдаленных сел и деревень. Только уж после этого (во времени это хорошо рассчитано командиром) и их машина лесной дорогой выйдет на околицу села, а затем и в самое Кукоару.

Под светом, прикрытым плащ-палатками и накидками, офицеры расстегивали планшеты и что-то там колдовали над картами.

В Кукоаре, которую с трех сторон обступали леса, которая заселена резешами, в Кукоаре, бедной на хорошие земли, после того, как убралась восвояси помещица, священник и дьячок, мало было зажиточных крестьян. Да и самое село было малым в сравнении с приднестровскими селениями. Вот, например, две семьи, которые можно было бы назвать кулацкими. Но они находились в самых что ни на есть дружеских отношениях с Советской властью. У одного такого мужика два сына погибли на фронте в борьбе с фашизмом. Как бы он там ни эксплуатировал селян своей корчмой и лавчонкой, не занесешь же его в список для раскулачиваемых: сыны-то погибли не за лавочку, не за корчму, а за Советскую власть! Со вторым и того сложнее: этот во время войны спасал у себя советских парашютистов, а позже пожертвовал для нужд нашей армии два вагона картошки. Но если б и не числилось за ним этих деяний, то все равно нельзя было бы занести его в список подлежащих высылке опять же из-за сына. Не спросясь отца, будучи гимназистом, парень присоединился к наступающим советским войскам тотчас же, как они достигли городка, где он учился. Из последнего класса гимназии он попал сразу же к танкистам, принимал участие в тяжелейших боях, был награжден орденами и медалями, а после войны не вернулся домой: остался где-то работать на военном заводе. Что он там делал, в семье никто не знал. Только все стены в их доме были увешаны благодарностями, полученными сыном во время его службы. Теперь стало известно, что парень этот окончательно выбрал для себя военную профессию. Попро- буй-ка тронуть его отца!

Но все-таки нашлись и такие, которым нечем отгородиться от надвигающейся кары. Например, Андронаке Харцук. Этот хитрющий мужичок в течение многих лет увеличивал свое богатство тем, что набирал себе в приемыши либо беспризорных, либо детей бедных крестьян, набирал для того, чтобы выжать из них все соки до того момента, когда ребята достигнут совершеннолетия. Если какой-нибудь из них собирался жениться, обзавестись собственной семьей, Андронаке выгонял такого из дому с тем, чтобы не делиться с ним ни землей, ни скотом, ни имуществом. Родители этих парней проклинали на чем свет стоит этого Харцука, но поделаться с ним ничего не могли: у кого деньги — у того и власть, это уже известно. Пока мать несчастного изгнанника кастерилла Андронаке, тот уже пил магарыч и стучал по рукам в другом доме, переполненном оборванными и голодными ребятишками.

Правду сказать, Харцук и себя не жалел в работе. Трудился на своем подворье, в поле и на виноградниках, как каторжник. Гнул спину и жаловался всем подряд, что бог обошел его счастьем, дав ему в жены бесплодную бабу, в то время когда он, Андронаке, явился на этот свет таким чадолюбивым, что и дня прожить не может без детского лепета. Только Советскую власть не мог убедить он таким доводом. Без лишних рассуждений она отобрала у Андронаке большую часть его богатства и поделила среди батраков. Огорченный, Андронаке чуть бы не ушел из села, бросив все на произвол судьбы, он даже намеревался удалиться в монастырь. Но потом передумал, попытался из всего, что с ним произошло, получить для себя кое-какие выгоды.

— Я сделал их настоящими хозяевами! — говорил он о своих бывших батраках. — Я приобщил их к делу, научил трудиться, а потом отдал им землю: нате, берите, говорю, и вспоминайте меня добрым словом! Ведите дело так, чтобы мне за вас не было стыдно!..

Он долго еще перечислял «добрые» свои дела, да вот только позабыл сказать о соли, украденной им в советском кооперативе. Но люди помнили, как в один летний день сорок первого года, когда Красная Армия вынуждена была отступить, этот Андронаке примчался в село на артиллерийских передках, в которые была впряжена четверка сытых лошадей, и сейчас же принялся за дело. Перво-наперво он вышиб дверь кооперации и вынес оттуда всю соль и все спички. Открывши свою лавочку при большой дороге, он очень горевал по поводу того, что не успел перетащить из кооперативного магазина папиросы, конфеты и все прочее. Немцы опередили его. Как только вошли в село, они наложили свою лапу и на кооперацию, и на все, что оказалось в ней, — одежду, обувь, папиросы, махорку, конфеты. Бе-



зумствуя, эти скоты выбрасывали махорку за забор и хохотали, видя, как ребятишки набрасываются на нее.

«Посмотрим, что запоет этот Андронаке теперь!» — думал Тоадер Фрунзе.

Все это происходило в то время, когда весна, закрепляя свои позиции, готовилась к следующему рывку, чтобы перейти в лето. Листья отяжелели, и из леса тянуло ночной прохладой, сыростью, отдающей малость гнильцой и пряностями цветущей дикой моркови. Когда поднялись на вершину холма, ветер опанул их лица теплою волной, которая шла от равнинных полей, с вершины Кравца, со стороны Черного моря.

Уполномоченный и его спутники въехали в Кукоару со стороны ветряных мельниц. Перед сельсоветом грузовики остановились, и от передней машины отделились только два человека: Тоадер Фрунзе и военный в звании капитана. «Заячья губа» тоже двинулся было вслед за ними, но строгий взгляд военного вернул его на прежнее место.

Сельские активисты были собраны сюда, очевидно, еще с вечера. Об этом говорил целый ворох подсолнечной шелухи на полу: люди должны же были чем-то занять себя! Шелуха перемешалась с окурками и являла зрелище неприглядное. А что поделаешь? Тут не было столичного лектора, который закатил бы им проповедь на целую ночь.

— Начнем немедленно! И надо — от леса, чтоб никто не смог убежать...

Это распоряжался Гончарук.

Председателя сельсовета, Костак Фрунзе (весной сорок девятого года он вновь был избран на эту должность), его сына Тоадера, самого Гончарука, мош Маноле, который как черт лапана боялся телефона, но уже много лет работал заместителем председателя, директора школы и финагента, парня из другого села, добродушного великана, не курящего и не пьющего, не умеющего поухаживать за девушкой, — всех распределили по дворам, указанным в роковом списке.

Уже во дворе, улучив минуту, Костак Фрунзе тихо спросил сына:

— Послушай, Тоадер... Кто занес в список Негарэ?

— А я сам хотел спросить об этом.

— Чего меня спрашивать? Раньше его не было в этом списке. Кто же теперь внес его туда?.. Негарэ сейчас и дома-то нету...

— Где же он?

— Уехал в Калараш на станцию. Я послал его туда за семенной кукурузой...

— Что?.. Неужели и он вошел в колхоз?

— То-то и дело, что вошел.

— Тут какая-то ошибка...

— Хорошенькая ошибка!.. Говорили же,

чтоб не беспокоить, не трогать тех, у кого сыновья погибли на фронте!

— Тут ошибка. Ее надо исправить!

— Легко сказать — исправить. А кто это сделает? — сокрушался Костак. — Мне как раз и достался двор Негарэ...

— Это — дело рук того пьяницы, секретаря! Негарэ не давал ему вина в долг и заступался за его жену. Вот тот и решил отомстить Георгию таким образом!..

Всего ожидал Тоадер Фрунзе, ко всему был готов, но только не к этому. Раскулачить Негарэ, сын которого, Митря, партизанил еще во время немецкой оккупации, о чем знает все село, весь район, знает заместитель председателя райисполкома, потому что был с Митрей Негарэ в одном партизанском отряде?! Что за чепуха!

Ну конечно же, это ошибка либо чей-то злой умысел. Днем разберутся и поправят дело. Сейчас не до этого. Надо было действовать!

— Ты идешь к зятю мош Андрея. Гляди в оба. Профир немного того... тронутый... с дурцой. Может свернуть тебе шею, как куренку, — напутствовал отец Тоадера.

Младший Фрунзе больше боялся не Профира, а его сына. Тот был глухой, как стена, и любой твой жест мог принять за угрозу себе и запустить в тебя чем угодно, что попадетс ему под руку. Глухоты и немоты этого дикого животного боялись все парни Кукоары пуще, чем кого бы то ни было.

Профира его односельчане-активисты занесли в список раскулачиваемых с великим удовольствием. Чудовищное его скопидомство было известно всем. Кукоаровцы знали, что, женившись, Профир стал еще скупее. Осенью, когда перебродившее в чанах вино перекочевывало в бочки, мужик этот отпиливал по самое основание пробки, замазывал сверху воском или глиной, чтобы никто не смог выцедить из этих бочек ни единого глотка. Даже его тесть, мош Андрей, который в скупости уступал своему зятю лишь самую малость, но и тот жаловался, что Профир держит ключи от погреба в кармане своих толстых домотканых штанов, которые не снимал ни зимой, ни летом, ни ночью, ни днем.

Профир открывал погреб с вином только в субботу, под пасху. Поэтому летом лишь у него да еще у нескольких прижимистых мужичков водилось вино, другие же приканчивали его еще к рождеству либо к зимнему мясоеду, а то употребляли в качестве дрожжей для мамалыги в великий пост. Те же, кто сумел сохранить два-три ведра к пасхе, считались самыми разумными хозяевами. Профир старался переплюнуть и этих: в его погребе вино держалось до того момента, когда нужно было уже вытаскивать бочки на просушку и готовить их под новый урожай винограда. что от атчнот вх-вуд

К пасхе отверзались двери погребца и у Профира. В течение всей недели, пока продолжались празднества, он охотно ссужал вином своих односельчан, и вскоре пол-Кукоары оказывались у него в долгу. Один отрабатывали подрезыванием и подвязыванием его виноградников, другие пропалывали его делянки на поле, третьи жали, убрали, обмолачивали хлеб. А те, кто просиживал с графинчиком вина на Профировой завалинке с утра до ночи, кончали тем, что садились на телегу владельца винного погреба и ехали с ним к нотариусу, чтобы вернуться в родимое селение уже безземельными: огород, сад, участок пахотной земли переписывались на имя щедрого виночерпия, то есть Профира. «Ну и окрестил же нас этот лиходей!» — сокрушались неудачливые выпивохи, почесывая в затылках.

А крестить Профир любил и в прямом — не только в переносном — смысле. За каких-нибудь десяток лет вся окраина под названием Фынтал именовала его не иначе, как «крестный Профир». Он участвовал в крещении едва ли не всех детей этой околицы и был посаженным отцом чуть ли не на всех свадьбах, потому что всяк старался как-то задобрить этого скопидома, чтобы он был не столь лют в испрашивании долга. Даже старики говорили ему: кум Профир. В рабочее время весь обширный двор его был полон крестников, крестниц, кумовьев, кумушек, свояков и своячениц. Свое участие в крестинах или в свадебном обряде Профир ценил очень высоко. За это все те, кто удостоивался такой чести, должны были трудиться на его подворье с утра до ночи в течение нескольких дней. Не мудрено, что хозяйство Профира процветало, в то время как участки благодетельствованных им должников соответственно сокращались, подобно шагреновой коже. И все же богатств Профира было недостаточно для того, чтобы он смог стоять в церкви в первом ряду, прямо перед алтарем, потому что это место принадлежало людям, которые были куда состоятельнее его.

Может быть, именно поэтому осенью 1940 года, когда в Кукоаре в первый раз был организован колхоз, Профир не захотел отставать от Георге Негарэ и других с лоснящимися от масла бородами мужичков. Вступил и он в колхоз. Вступить-то вступил, но целыми ночами беспокойно ворочался от мысли, что так и не достиг того, чтобы упереться носом в алтарь в кукоаровской церкви. На ту пору нос его был цел и невредим, тот самый нос, который в более поздние времена был наполовину откушен в ночной схватке с бандитами в лесу.

Но как ни странно, именно Советская власть, развеявшая было все его мечты о богатстве, способствовала в конечном счете тому, что Профир все-таки разбогател.

Случилось это так,

Председатель сельсовета, мош Штефэнаке, единственный родственник Профира, был расстрелян фашистами, а его сыновья, доведившиеся Профиру двоюродными братьями, отступили вместе с Красной Армией; в глубь страны успела эвакуироваться и жена Штефэнаке, так что за один час Профир сделался единственным хозяином не только своего добра, но и дядино. В его собственность перешли дом, двор, сад, огород, вся пахотная земля, вчера еще принадлежавшие дяде Штефэнаке, и перешло все это без всяких с его стороны усилий, для этого Профиру не пришлось ударить палец о палец. Особенно рад он был тому, что вместе со всем этим богатством в руки его попали давно вожаемые паровик и молотилка, тоже некогда бывшие собственностью дяди.

В сороковом году в райисполкоме Штефэнаке сказали без всяких обиняков:

— Ты будешь председателем сельсовета в Кукоаре. Но прежде ты, дорогой товарищ, паровик и молотилку либо сдашь государству, либо выбросишь в овраг. Иначе собственную ручку внесешь свое имя в список раскулачиваемых. Понял?

Как тут было не понять! Мош Штефэнаке недолго казнил себя горькими размышлениями — на следующий же день и молотилка, и вращавший ее паровичок покатались в овраг. Потом в райисполкоме дали понять, что их советами мош Штефэнаке воспользовался очень уж неосторожно, понял их слишком уж буквально, так что ценный сельхозинвентарь ему пришлось вытащить из оврага, отремонтировать на своем же дворе, с тем чтобы машина могла обмолачивать первую советскую пшеницу от первого советского урожая. Вторая хлебная страда застала мош Штефэнаке у того же паровичка. Он готовил его к запуску и весь был перепачкан мазутом, сажей, разной машинной копотью. Там же и захватили его ворвавшиеся в село гитлеровцы, которые расстреляли и закопали Штефэнаке в испачканной мазутом одежде на школьном дворе. Расстреляли на виду у односельчан.

Первое время Профир не делал большой ставки на паровичок и молотилку. Он знал, что его дядя получал от этих машин очень мизерный доход. Но все-таки время от времени косился на них, отпугивал на всякий случай га-лок, которые облюбовали эти ржавые железки для своих гнездовий. Помнил Профир, что его дядя два дня из трех тратил на то, чтобы эти железки смогли один день работать, — какой же от них прок, о каком доходе может идти речь! Когда ты проходил поблизости от этих полукалек, то на тебя накатывался запах дегтя и смазочных масел, пахло от них еще канифолью, необходимой для трансмиссии, для длинного широченного ремня, который блестел на солнце. Словом, горе, а не молотилка! Ря-



дом с паровиком у дяди всегда находилась намешанная вместе с соломой глина. Его он замазывал щели в лопнувших трубах. Находиться рядом с этим одышливым паровичком было небезопасно: скольких лошадей ошпарил он кипятком, вырывавшимся из его пузатенького котла. Да что там лошадей — доставалось и сыновьям мош Штефанеке, особенно младшему, которому поручалось подбрасывать в топку дрова либо солому, чтобы поддерживать достаточно высокое давление пара в котле. Появившиеся перед самой войной моторы совсем было оттеснили паровичок Штефанеке, но затем фронт поглотил решительно все «двигатели внутреннего сгорания» и крестьяне вновь вспомнили и про паровик, и про молотилку, которыми теперь завладел Профир. Жители Кукоары приходили к нему и слезно просили: «Налаживай свои машины, Профир!.. Плохо с плохим, но без плохого еще хуже!.. Старенькие они у тебя, дряхлые, но все-таки поскорее обмолотят нашу пшеничку, чем цепами!.. Давай, Профир, воскрешай... все же техника!»

Легко им говорить: «воскрешай». Но кто это сделает? Мог бы только дядя Штефанеке, но не выкопает же его из земли, не воскресит! И сыновей его нету — война раскидала их по всем фронтам. А что касается Профира, он не может даже натянуть обода на колесо своей телеги — вот он какой мастер!

И все-таки он крутился возле паровичка, заглядывал в него и с той, и с этой стороны, но результат был один, то есть никакого результата. Видя, как он мается, односельчане советовали:

«Давай, Профир, пригласим машиниста из другого села. Мы будем платить ему, кормить его одними цыплятами! Ведь пропадает же пшеница!..»

В одно из воскресений у ворот Профира остановились восемнадцать пар волов, одновременно с ними объявился и машинист с покаленной рукой. Во дворе толпились мужики и подбадривали, воодушевляли Профира, чтобы он поскорее приступил к делу. Волы и мужики были, конечно, силой реальной и никаких сомнений у владельца старенькой молотилки вызвать не могли. Но механик... Профир искоса поглядывал на культияного Федорыча, которого мужики обнаружили где-то в городе. Сухонький, без единой кровинки в лице, однорукий, мог ли он что-то обещать расчетливому Профиру? Ни ресниц, ни бровей — лицо будто вылеплено из куска дешевого мыла. Этот механик, рассказав про себя Профир, заведет паровичок не прежде, чем его бабка станет девицей. В этой мысли хозяин укрепился окончательно после того, как узнал, что Федорыч не пытался торговаться, не назначал себе цену, не уточ-

нял, как будет работать — подневно, помесечно или весь сезон. Завидя графинчик с вином и стаканы на завалинке Профира, Федорыч с неожиданным для всех проворством устремился туда, облизываясь, как кот.

«Этого еще не хватало! — ахнул Профир. — Ко всему он еще и пьянчужка!»

Но деваться было некуда: Профир удалился в погреб и через одну-две минуты принес оттуда для машиниста еще один кувшинчик вина. В таких кувшинах он обычно и продавал свое вино. Не в пример другим не доливал его водою прямо в бочки. У него был свой метод. Профир считал, что будет лучше, если он перед тем, как нацедить вина, оставит на дне кувшина немного водицы при полоскании. В понятие «немного» у него укладывалось полстакана чистой воды. Перед тем как вынуть из погреба кувшинчик механику, Профир отчеркнул на специальной доске углем толстую, жирную линию, означающую, что и на этого бедолагу у него открыт счет: Профир был неграмотен и иной бухгалтерии вести не мог.

Пока мастер приканчивал грешный свой сосудец, высасывал из графинчика задаток, мужики впрягли волов в паровик и молотилку и поволокли, шагая рядом со своей парой и погоняя ее. Необычайное оживление охватило Кукоару, словно бы в нее ворвался железнодорожный состав. Стайки крикливой ребятни, словно воробушки после дождя, высыпали на улицу и порхали впереди и позади паровика и мельницы, медленно влекомых неторопливыми быками. Федуча, глухонемой сын Профира, шел следом и что-то мычал, жестикулируя, стуча себя в грудь и чуть ли не подпрыгивая от радости. Ни взрослые, ни дети не понимали его ликования и, на всякий случай, старались не замечать его, не задевать, не мешать ему угощать себя щедрою порцией пыли, вылетающей из-под колес. Его мычанье, гортанные вскрики были понятны разве что родителям, произведшим на свет это звероподобное существо. Для остальных же они были лишены всякого смысла. К тому же, если иметь в виду мужиков, они были заняты тем, что правили каждый свою парой волов, следили, чтобы тяжесть распределялась на все пары равномерно. Странная колесница уже двигалась в гору, к ветряным мельницам, и груз ее с каждым шагом возрастал так, что животные вытягивались в струнку, морды их уже пенились, а выпученные глаза страдальчески слезились, косясь на своих хозяев, которые то гладили их меж рожками, то охаживали кнутом. Ко всему этому присовокупляли и слова:

— Ого-го-го!.. А ну, деточка!.. Ну, милый!.. Еще немного!.. Еще!.. Ну, поднажми, родимый!.. Левей, Гилак!.. Жюян, правей!.. Давай, давай!.. Еще немножечко!..

Вол — умная скотинка. Слушать все это он слушает, а в скорости не прибавит ни на вот столечко, твердо придерживаясь своей железной внутренней установки: вол на вола мычит, а дурак на дурака кричит. Так было и так будет всегда!

Мог ли в ту минуту Профир или кто-нибудь другой подумать о том, что он поднимался сейчас и к своему богатству и почти что к гибели в недалеком будущем. Мог ли он подумать, что скоро его наполовину откушенный нос будет со свистом втягивать в себя дурманящие запахи недавно скошенного овса, снопов пшеницы, а немного позже и запахи горячей муки, высыпавшейся из-под жерновов, которые будут крутить вот этот же ледащенький паровик! Кто бы мог подумать, что бессловесное, угрюмое, как глухая стена избы, создание, именуемое Федучей, сойдется на короткую ногу с паровиком и с молотилкой, в непостижимо малый срок освоится с ними и будет разбираться в них лучше самого механика, которому ничего не останется делать, как подремывать в тени обмолоченной соломы, уткнувшись в нее своим сизым носом! Федуча сам заменил на паровике лопнувшие звенья труб теми, что остались от паровика Хайма, который выбросил отслужившую свой век машину в старое глинище.

За полтора месяца были обмолочены все скирды с двух гумен. Однорукий механик между тем прохладился, а глухонемой всю ночь возился с фонарем у молотилки. Ему помогал отец, который был тоже черен, как старый ворон, от пыли и мазута. Вместе они заменяли сита, очищали барабан от колосьев, смазывали шестерни, через специальные воронки вливали в разные отверстия рыбий жир, и с рассветом колеса запевали вновь одну и ту же свою бесконечную песню. Им осипшими голосами подпевали решета, сита, вся трансмиссия.

В те времена орехи продавались кучками, по одной тысяче штук в каждой; арбузы по одному или целыми возами; ну, а пшеница, понятное дело, пудами. Так вот: три тысячи пудов заработал Профир на тех двух гумнах и продал их по хорошей цене (в пору войны все ценится втридорога, это понятно). После того как покончили с молотьбой, паровик с молотилкой вновь привезли во двор Профира и установили в сарае. Паровик быстро был подключен к двум мельничным жерновам, и начался размол пшеницы и кукурузы на муку.

Для того чтобы паровик смог работать на древесном угле, нужна была соответствующая печь. Соорудить ее должен был мастер-печник, привезенный из города. Как все мастеровые люди, он, конечно, был великий поклонник вина. Но рачительный и расчетливый Профир не ставил перед ним заветного кувшинчика до тех пор, пока тот не утравился с заданием, то есть

пока не сложил печь и сам же не испробовал ее в действии.

В ту суровую снежную зиму, в памятные дни, когда гитлеровцы хвастались, что видят в бинокль Москву, ветряные мельницы Кукоары не махали своими крыльями. Оцепенело стояли они на белом холме, обдуваемые лютыми ветрами, словно забытые игрушки великана. Может, застыли в ярости, как и все люди, которые, затаив дыхание, ожидали вестей от далекой столицы. А на дворе Профира попыхивал и постукивал паровичок, выбрасывая над селением причудливые колечки дыма. Казалось, дымок этот и это живое постукивание и попыхивание паровичка должны были согреть душу Профира, но он, напротив, ходил злой и угрюмый. Может быть, оттого, что воду для машины нужно было таскать от колодцев, а пьяница-механик твердил одно и то же, настаивая на том, чтобы мельницу перенести в долину, на равнину Бахура, где день и ночь журчит ручей, который мог бы бесплатно поить и паровик, и людей, которые приедут на мельницу. Все учел культяпый мошенник, но не учел одного: земля у того ручья тоже стоит денег, и притом немалых, а Профир не дурак, чтобы выворачивать свой карман ради какой-то воды. Оплата водовозов обойдется куда дешевле. Возможно, дешевле... И все-таки Профир часто выходил на то место, где струился ручей. Измерял его ногами и даже локтями, все прикидывал, подсчитывал. Иной раз просыпался ночью, сидел на кровати, решая: рискнуть или нет? Хорошо было на молотьбе. Там к нему шла чистая прибыль. Мужики сами привозили воду для паровика, сами подвозили и снопы, сами же были задавалами, то есть запускали пшеницу в мельничный барабан, сами относили мешки от рукавов. Все делалось, не требуя никаких затрат со стороны Профира. Вся его работа состояла в том, чтобы стоять у молотилки и получать плату деньгами или зерном. Даже топливо для паровика давали сами крестьяне... А тут этот однорукий бездельник толкает его на неслыханные расходы!.. Вконец раздосадованный, Профир прогнал беднягу-механика со двора и долго еще не мог успокоиться: лишь чего надумал, негодяй! За такие-то деньги можно прикупить десятину-другую хорошей земли, а не какой-то там брошенный клин, где, кроме татарника да полыни, ничего не растет. И все это из-за какого-то ручейка, через который котенок перешагнет без разбега...

Не знал тогда Профир или забыл, что деньги, вложенные в хорошее дело, возвращаются к их хозяину с великолепными процентами. Он был не просто скуп, но скуп и жаден как-то по-мужичьи нерасчетливо. Деньги, однажды попавшие в его руки, никогда уже не выпускались из этих рук. Заполучив, он сейчас же прятал



их в кубышку, завязывал в узелки, рассовывал по другим тайным углам. Потому купюры или монеты, оказывавшиеся в его владении, были всегда с налетом ржавчины либо со следами потеков. Профир еще не привык к деньгам, которые утром уходили от него в одном количестве, а вечером возвращались в другом, значительно большем. Еще более страшным для его крестьянского ума было застраховать мельницу и затем через какое-то время поджечь ее, чтобы получить страховые, которые оказались бы по сумме значительно больше, чем стоила сама мельница. От одной такой мысли он вздрагивал, отмахивался от человека, который подсказывал ему эту операцию. Отмахивался даже тогда, когда собственными глазами видел, как из пламени и дыма его одноэтажной убогой мельничонки прорисовывается силуэт четырехэтажной вальцово-машинной...

Но как бы там ни было, его старая мельница все-таки перекочевала к ручью. В 1944 году советские солдаты перепрыгивали через него как раз возле этой мельницы. На ней тогда было полно мешков. Территория, на которой она размещалась, окружена колючей проволокой, на многочисленных грядках виднелись корни от прошлогодней капусты. За мельницей, где проходили немецкие траншеи, шпалерами раскинулся виноградник. Виноградник этот был главной гордостью Профира, светом его души. Что может быть лучше того, как выйти усталому и запыленному из мельницы и сразу же оказаться в окружении виноградных кустов, унизанных золотистыми или темно-бордовыми гроздьями!.. Подумать только: вся эта земная благодать пришла к нему вслед за стареньким паровичком!.. Теперь-то у него было их два: один — на мельнице, второй — на лесопилке. Того, с лесопилки, в летнюю страдную пору он перекатывал на гумны и подрабатывал там. Если уж человеку в чем-то здорово повезет — ему повезет и в другом. Советские солдаты, проходившие здесь, оставили мельницу Профира в целости и сохранности. Они забегали в нее, когда немецкая мука там была еще горячее. Но мука — она и есть мука: разберись поди, чья она. Да когда было разбираться! Профир словно бы ждал этих солдат, как самых дорогих гостей. Сейчас же принялся угощать их со всей возможной щедростью, не жадил ни еды, ни вина...

И вот теперь, после того как прошло пять лет, ему, Профиру, показалось, что на его подворье въехали на грузовике все те же безусые и безбородые красноармейцы.

— Эй, дяденька, вставай! — крикнул кто-то из них.

Сонный Профир вышел во двор в подштанниках и в исподней рубашке.

— Ах, это ты, Тоадер?..

Жена Профира, как всякая женщина, первой понявшая надвинувшуюся на их дом беду, сейчас же принялась причитать и голосить. Ее рев слышался то в кладовке, то в парадной комнате, то где-то на чердаке. Голоса и причитая, она все-таки не теряла рассудка. С необычайным проворством отбирала самые нужные вещи и аккуратно укладывала их. Проходя мимо молодого Фрунзе, метнула на него взгляд, полный жгучей ненависти. Ее муж в сотый раз спрашивал:

— Так ты, Тоадер, говоришь, что мы можем забрать с собой все до последней нитки?

— Бери, бери, отец. Видишь, какую машину тебе подали?

— Вижу... как не видать!

Почесавшись, он снова вопрошал:

— А ты не обманываешь, Фрунзе-сын? Неужели весь грузовик в моем распоряжении?..

— Да, дядя Профир. Для вашей семьи машина.

Тем временем глухонемой с помощью солдат успел заколоть двух кабанов и обработать туши. А его отец, вчера еще славившийся редкостью своей практичностью, сейчас растерялся до того, что так и стоял в одних подштанниках, маячил в них, как привидение. Приставал то к одному, то к другому с глупейшими вопросами и мешал работать.

— Стало быть, Фрунзе-сын, мне с моей семьей еще повезло?..

— Повезло, очень даже повезло! — Тоадеру хотелось треснуть чем-нибудь по башке Профира и вернуть его к действительности. Уже светало, а он ходит по двору в нижнем белье и хвастается, что ему сильно повезло.

— Ты не сердись на меня, сынок! Я знаю, что говорю. Тех, кого раскулачили выслали в сороковом году, разлучили даже с семьями...

— Идите, баде, и оденьтесь.

— Иду, иду!.. Но ты сперва послушай меня, Фрунзе-сын!.. Тех подняли вот так же ночью перед самой зимой. Мужей отделили от жен, детей от их родителей. В Тирасполе с нами такое сотворили... А с нами, слава богу, так не поступают. Высылают меня вот вместе с моей семьей. До зимы мы где-нибудь успеем вырыть себе землянку, жилье то есть... Так что не пропадем, как те, которых зимой... Вот я и говорю: повезло тебе, Профир!..

Засуха и два неурожайных, голодных года подряд начисто подмели все дворы в Кукоаре. Нигде не видно было ни коровы, ни овцы, ни поросенка, ни курицы. Во многих дворах не слышно было даже собачьего бреха и кошачьего мяуканья. Но Профира не коснулся этот погребельный пожар. Его дом и все пристроенные к нему напоминали огромный склад, набитый добром. К погрузке были привлечены солдаты,

к ним с рассветом подключились многочисленные крестники и кумовья, а также соседи. Они относили в машину мешки с мукой, бочки со свежей солониной из только что разделанных свиных туш, кадушечки с брынзой, связки лука и чеснока. Женщины, поснимав все со стен, укладывали ценности в сундуки и чемоданы, туда же упрятывали одежду, ковры, ковровые дорожки. Люди трудились, что называется, в поте лица, и Профир даже не смотрел, не приглядывал, не прячет ли кто-нибудь себе за пазуху его добро. Полнейшее равнодушие ко всем и ко всему парализовало его волю. Крестники и кумовья чуть ли не силой втолкнули его в избу и одели. Но и одетый он не вернул себе здравого рассудка. Вертелся среди людей, как чумная овца в стаде. Когда сообщили, что ему не разрешено пойти и проститься со своей мельницей и виноградником, Профир очень удивился, потерянно побрел к крыльцу и бессильно опустился на одну из ступенек. В противоположность отцу Федуца действовал энергично и, казалось, даже весело, будто дружка на свадьбе. После того как повытаскивали из погреба все бочки и бочонки, глухонемой схватил ведро и стал угощать вином всех подряд.

— М... мы... мы...

Солдаты от угощения отказывались, а все остальные пили вино с великим удовольствием, словно находились на свадьбе или на проводах в армию новобранцев. Отовсюду слышались здравицы в честь Профира:

— Будь здоров, кум!..

— Будь здоров, крестный!

— Не поминай лихом!

Жена Профира повязала голову черным платком. Она уверяла, что страдает головной болью, и потому не снимала платка ни зимой, ни летом.

— А скотину нельзя, значит, грузить? — спрашивал между тем Профир.

— Ох, далась ему эта скотина!.. Лучше посмотри бы на себя, какой стал!.. Форменное привидение, прости господи!..

— Замолчи, глупая! — прикрикнул на жену Профир. — Хочешь, чтобы песню запел для тебя?!

— Не нужна мне твоя песня. Отпелись!

— И вино нельзя взять?

— Обойдешься и без вина. Подымайся-ка, человек, и полезай в кузов. Ты что, прирос к этому крыльцу?..

Профир с трудом оторвал свое отяжелевшее вдруг тело от ступеньки, подошел к лестнице, ведущей в подвал, и спутился в него. Через минуту вылез оттуда с охапкой виноградных саженцев, завернутых в жилетку, какая до того была на нем самом. Сыну скомаандовал:

— Угощай, угощай добрых людей, Федуца!

Сам Профир не захотел даже попробовать вина. Несколько раз тыльной стороной ладони отстранял от себя кружку, которую ему подносили. У колодца с журавлем, что стоял посреди двора, он положил в желобок связку саженцев, искупал их вместе с жилетом и только уж после этого забрался со своею ношей на машину. Профир крепко, точно запеленутого ребенка, прижал к своей груди саженцы и постучал по крыше кабины:

— Ну, трогайте. Солнце уже поднялось!..

Торопился Профир Коркодуш. Но куда и зачем? Может быть, ему уже надоели женнины причитания, вопли родственниц, набежавших отовсюду на его подворье, как на похороны? У Профира не было ни своих женатых сыновей, ни замужних дочерей, которые могли бы проводить его таким плачем. Но крестников и кумовьев было предостаточно. Они ревущей толпой двинулись сейчас вслед за поехавшей машиной.

— Везде живут люди. И мы не пропадем! — кричал им Профир, чтобы пресечь их плач и причитания.

На площади машина остановилась. Здесь уже были другие грузовики и толпа людей погуце. Покрывал все голоса один, особенно громкий и гневный:

— Я искал его всюду: на чердаке, в сарае, в коровнике. А он, черткая, забрался под стелли подсолнуха... И когда мимо проходил тот, с заячьей губой, товарищ из финотдела, он поддал ему вилами в ягодицы, а сам махнул за плетень... Так его мать!.. Я бежал за ним вместе с солдатами аж до самого леса, но разве его догонишь?!

— О ком ты, Унгурияну? Что случилось? — спросил Тоадер Фрунзе.

— Андронаке Харцук сбежал!

Илие Унгурияну где-то поранил себе руку, солдаты наложили на нее марлевую повязку. Теперь Илие держал ее на весу так, чтобы все могли видеть и знать, что и он, Унгурияну, участвовал в схватке с кулаком, не жалел себя в борьбе с классовым врагом. Ведь тот же Андронаке мог и его, Унгурияну, ткнуть, пропороть насквозь своими вражескими вилами.

— Как же это вы его упустили, Илие?

— А вы, товарищ секретарь райкома, кого дали мне в помощники? Мош Маноле?..

Фрунзе безнадежно махнул рукой. С Унгурияну не сварить каши. Он ведь никогда не виноват. Свою правоту он будет доказывать до скончания века. В горячке спора способен на что угодно. Может прийти прямо в райком, бросить на твой стол связку ключей от клуба и заявить, что больше не желает быть ни заведующим, ни секретарем комсомольской организации. Здоровенный верзила, но ведет себя, как малое дитя.



Да, операция оказалась не совсем удачной. В чем-то, пожалуй, прав и Унгуриану. Мош Маноле был слишком робок и мягок, чтобы быть надежным помощником в операции такого рода. Чего можно ожидать от человека, который до сих пор боится подойти к телефону и взять трубку? Ясно, что все дело во дворе Андронаке Харцука взял в свои руки Илие Унгуриану и, поскольку был горяч и суматошен, то и упустил из рук кулака. Если бы тот боярский отпрыск не бродил возле подсолнухов, Андронаке спокойно просидел бы в них до следующей ночи, а потом потихоньку перебрался в лес. Однако он и сейчас сделал то же самое. Теперь ищи-свищи его! Возможно, он сидит сейчас в окружении шайки Гицэ Могылдя и рассказывает, что происходит в его селе. А может быть, и в самом деле подастся в какой-нибудь монастырь: от его фарисейской душонки всякое можно ожидать! Да он уже однажды побывал в монастырях, пересидел на мельнице Гербовецкого монастыря весь голодный год, а потом, когда закончилась голодовка, вернулся домой и принялся вновь хозяйничать с какою-то удесатеренной, свирепой силой. Всю свою жизнь Андронаке проходит по двум дорожкам. Одну из них он проложил поближе к царству господню, другую — к земному царству, то есть к богатству. Знающие его люди говорили, что Андронаке не может долго находиться в монастырской обители, поскольку он великий обжора. В монастыре, как известно, кормят не от пуза, а с расчетцем, с экономией. А Андронаке у себя дома за один присест съедал горшок голубцов и целую краюху хлеба. Уезжая в поле на работу, в одну торбу он насыпал овса для лошадей, а вторую до краев наполнял едой для себя. Даже родственники боялись приглашать его за свой стол: в один миг подметет, упрячет в свою ненасытную утробу все, чего бы ни было на том столе, да еще попросит добавки. Односельчане боялись его появления на своей бахче, винограднике ли — и там этот чревоугодник мог произвести полное опустошение, так что нечего будет потом везти на базар. А вдруг этот обжора в самом деле присоединился сейчас к банде Могылдя — держись тогда продовольственные лавки и магазины.

Сколько готовились к операции, в какой великой тайне ее держали — ничто не помогло: убежал хитрющий мужик. Не было в селе и Георге Негарэ — уехал, вишь, в Калараш на станцию. Но на этом список потерь не кончается. Вместо Георге Негарэ на предназначенный для него грузовик полез мош Пэтраке. Его имени не было в списках, но он сам решил сопровождать Ирину Негарэ, прогуляться с нею хоть на край света. Возле этой машины образовалось настоящее столпотворение. Вика, дочь Ирины, выбежала на площадь с ребенком на руках. Сейчас она бежит вокруг машины и во-

ет по-волчьи. Плачет и ребенок в задранный до пупка рубашонке. Дитя может простудиться, но Вика не думает об этом — мечется, кричит, простирает свободную руку в сторону матери.

Дедушка Тоадер Лефтер прыгает на одной ноге и орет на все село:

— Ты, Костаке, почему разрешил этому ослу Пэтраке влезть в ероплан?..

— Да кто ему разрешал, отец?! Мы уж в десятый раз силой стаскиваем его с машины!.. Вы что, не знаете своего братца?

— Знаю, даже очень хорошо этого подкованного осла!.. Коровья башка!.. Забрался в ероплан!.. У меня аж сердце шипит, как на сковородке... Вот и подпрыгиваю... скачу... Вот! Вот!

Мош Тоадер Лефтер вновь по-мальчишечьи начал скакать на одной ноге, подпрыгивая до тех пор, пока не наткнулся на своего внука.

— А-а!.. Тодерика!.. И ты здесь, городской начальник и пакостник!.. И ты приехал сюда пугать честной народ!.. Тебе власть доверили комсомол, а ты уже задрал хвост вместе с носом!.. Коровья башка!.. Убежал от мотыги и плуга, да еще булгачишь нас по ночам, не даешь спать!.. Всех поднял на ноги, чертов сын!.. Небось вообразил, что наводишь тут порядок!.. Куда ты увозишь этого олуха царя небесного, братца моего Пэтраке?! Не туда ли, где галушки на огне замерзают?.. Где Макар телят своих не пас?!

— Да не нужен он нам вовсе, дедушка! И никуда мы его не увозим!

— Ежли не увозишь, сымай его с ероплана!.. Он же круглый болван!.. У него вместо головы задница!.. Вот, вот!.. Всю жизнь гнул спину у этих Негарэ... Как был дураком, так им и остался!..

Мош Тоадер рванулся вперед, ухватился руками за борт машины, как бы желая подняться в кузов и стащить оттуда брата. Разгоряченным сердцем и пылающими во гневе глазами он был уже там, рядом с Пэтраке, наверху, однако ноги не могли расстаться с землей, оторваться от нее хотя бы на полвершка. Это еще больше бесило старика. Он горланил на все село:

— Оторву тебе твои длинные уши, осел!.. Не бил тебя, пока ты под столом пешком ходил, жалел... Был для тебя и братом и отцом, коровья ты башка!.. Так-то ты отблагодарил меня!.. К черту на кулички собрался!.. Знаю, за кем ты увязался!.. Толстые ягодицы Ирины тебя поманили... Слезай, говорю, с ероплана, не то все переверну вверх тормашками!.. Заварю такую кашу, в век не расхлебаете!..

Похоже, старик потянул жилу на руке, которая и без того у него все время прибаливала, отцепился от борта грузовика, сморщился и

от боли, и от досады, начал шастать туда-сюда среди толпы, грозно вопрошая:

— У кого тут есть палка?.. Дайте мне ее поскорее!... Я научу его уму-разуму!.. Эй, Ирина, чертова баба, скажи этому барану, чтоб оторвался от твоей юбки и вылез из машины!..

Эта, а вслед за нею и другие машины тронулись с места, и бедного старика вмиг запеленало облако поднявшейся из-под их колес пыли. Дедушка Тоадер, который всякий день умолял смерть, чтобы она поскорее пришла и отвела его к Домнике, старый и мудрый мош Лефтер, готовый к любому и в любую минуту прийти на помощь, неустрашимый старец, боявшийся разве что ночной темени, — теперь с вытаращенными в ужасе глазами, жалкий и беспомощный, мельтешил среди людей, задыхался в пыли и, нутужно кашляя, не в силах был даже выругаться как следует. При всем при этом он норовил угодить под колеса следующих одна за другой машин. В конце концов его изловили Костак Фрунзе и Гончарук и выдернули из толпы. Дед обессилел. Грязный пот стекал по морщинистому его лицу.

— Задыхаюсь... вот... вот!.. До чего довели, сукины дети!.. Почему вовремя не прибрала меня смертушка!.. Зачем мне еще такое наказание — видеть все это?.. Где же ты, смерть, моя избавительница?!

Он продолжал ворчать и трепыхался в руках зятя, не давая тому унести себя. Однако силы совсем покинули его. Чувствуя это, старик заплакал тихими, бессильными слезами.

— Оставь меня, Костак, сам доплетусь как-нибудь, — покорно вымолвил мош Тоадер.

По пути к дому ему встретился Иосуб Вырлан с кувшинчиком вина. При любых событиях, печальных или радостных, этот человек не мог обойтись без какой-нибудь выдумки. Сегодняшняя кутерьма — для него опять праздник. Потому он и бежал к площади с кувшином вина, угощая по дороге всех, кто бы ему ни попался навстречу. У людей, разбуженных предрассветным, поначалу непонятым переполохом, не было даже времени, чтобы хорошенько подумать, правильно ли поступает Вырлан, потчует их вином, к месту ли это или нет. Никому и в голову не могло прийти также то, что вино, которое Иосуб так щедро разливает, взято им не где-нибудь, а в погребах его угощавших, забывших в сутолоке запереть их на замок. Из своей-то бочки Иосуб не возьмет и капли даже тогда, когда бы вы стали припенать его продубленную кожу огарком горящей свечки.

Но старый Лефтер был не из тех, кто теряет разум при разных передрыгах. Завидя Иосуба, он вмиг оценил обстановку и сейчас же набросился на этого лиходея:

— Нашел время для своих фокусов, собачий сын!..

— Эй! — взревел испуганный Иосуб. — Ты разольешь мне все вино, бешеный старик!..

— Ты у меня повеселишься, свинья морда!..

— Замолчи, старик!.. Не я распахивал землю и сеял хлеб этим, которые разбогатели и попали в мироеды!.. Это ты просеивал им семенное зерно и откапывал для них колодцы!.. Значит, был с ними заодно!..

— Цыц, поганец!.. Я вот сейчас тебе такое решето закручу, будешь знать!..

Иосуб был намного моложе и мог бы легко убежать от сварливого старика, но, во-первых, он боялся разлить вино, и, во-вторых, что было, конечно, самым существенным, он и дня не мог бы прожить без каких-либо скандалов, сам доискивался их повсюду. С великим удовольствием задирали он сейчас мош Тоадера:

— Это ты, дед, распивал чай с этими богатеями!.. Просеивал пшеничку врагам Советской власти, а теперь вот воюешь — все тебе не по нутру!..

— Замолчи, Иосуб!.. Коровья башка!.. погоди! Вот сейчас я покажу тебе, что мне по нутру!.. Уж если не утопили тебя, как слепого котенка, твои родители, когда ты был маленьким, то сделаю это сейчас я!.. Стой, чертов выродок!..

Но Иосуб не такой дурак, чтобы стоять на месте и ждать, когда этот вздорный старик пустит в дело здоровенную палку, которую где-то успел-таки перехватить. Вырлан счел за лучшее поскорее улетнеть.

Удовлетворенный, похоже, этой ретирадой своего противника, мош Тоадер ушел домой. Там он снял с гвоздя бурдючок и спустился с ним в погреб, чтобы немножко охладиться и прийти в себя. Выбравшись оттуда, он приставил лестницу к стене дома и что-то долго искал под стрехой. Нашел, наконец, толстую кукурузную кочерыжку, окрашенную вином; вероятно, он хранил ее как затычку бурдюка и теперь вспомнил, где находилось это самое хранилище.

— Ты куда собрался? — спросила его дочь.

— Тссс, Катинка! Не собираешься же ты отвести меня в школу?! Яйца курицу не учат, где ей нести!.. Так-то!

— Но все-таки, куда ты надумал?

— Потрепать немного лапти.

— Это-то я знаю. Но где и с кем?

— Ты что хочешь, чтобы я отчитывался перед тобой? А?

— Но я прошу, отец!

— И не проси. Ты наплодила полон двор грамотных сыновей-булочников и теперь хочешь вместе с ними взять власть и надо мной? Хочешь, чтобы я к твоему старшенькому или к мужу твоему пошел на поклон?! Дудки! И без них найду защиту!..



— Какую защиту? И кого ты собрался защищать?..

— Кого?.. Пустая твоя башка!.. Родная кровь — не водица. Аль ты не знаешь про то?!

— Ах вон оно что!.. Ты, значит, хочешь пойти в район и похлопотать о дядюшке Пэтраке?

— Он хоть и глуп, как баран, но один у меня брат, коровья ты башка!.. Кто же о нем еще похлопочет!..

5

Не прошло и нескольких часов, как двери и окна домов только что высланных кулаков были наглухо заколочены, легли перекрестья и на дверях сараев, амбаров, кладовых и погребов. Успели оставить там и надежных сторожей. К полудню накатился проливной дождь, словно для того лишь, чтобы смыть следы недавней драмы. Этого дождя никто не ждал, потому что с утра небо было синим и ясным, как глаза хорошо выпавшего ребенка. Впрочем, и гостей на грузовниках вряд ли кто ждал в прошедшую ночь: они нагрянули так же неожиданно, как и этот странный, почти что слепой дождь. Его-то, однако, и заждались люди, растения и животные. Но беспредельная голубизна неба людям не обещала ничего, кроме полуденного зноя. Возможно, о надвигающемся дожде догадывались растения или животные. Коровы, например, чувствуя приближение грозы, перестают пастись, поворачивают морды встреч ветру и начинают обнюхивать воздух. Овцы мечутся из стороны в сторону и становятся неуправляемыми для пастуха. Лошади ржут и подымаются на дыбки. Даже дым и тот, чувствуя приближение дождя, стелется по земле. Воробьи в это время прячутся в кустарник и торопливо охорашиваются там, чистят свои перышки, взъерошивают их, становясь серыми пушистыми шариками, а то ни с того ни с сего, казалось бы, начинают драться, шумно чиркать. О нежданном дожде человек узнает последним, когда по улице как очумелый пронесется вихрь, закручивая в высоченные жгуты дорожную пыль и срывая с крыш солому, когда кажется, что пролетели сам сатана или баба-яга на своей метле. Но смерч этот был все же предвестником скорого дождя. А бываю-т дожди, которые подкрадываются как бы исподтишка, без всякого предупреждения, — это о таких обычно говорят в народе: «Гром с ясного неба». Такой-то дождь и спустился на Кукоару в тот беспокойный для нее и тревожный день. Солнце, едва вылупившись из-за горизонта, стало быстро теснить ночную прохладу, нагнетая откуда-то горячий воздух, а затем и духоту. Посреди дня, перемежаясь с солнечными лучами, вдруг стали падать на землю крупные,

как картечины, капли дождя. Они были тоже теплыми. Сперва падали редко и гвоздями, по самую вроде бы шляпку вбивались в дорожную пыль, покрывая ее темными оспинками. Потом они зачастили, сделались более прохладными, а через минуту-другую объединились в одном стремительном потоке, и люди принуждены были искать убежища на завалинке, под навесистою крышей дома Георге Негарэ.

Специально назначенная комиссия успела все опечатать на его дворе. Баде Василе Суфлецу дочери Негарэ при этом сказал:

— Теперь, дочка, успокойся. Никто ничего не возьмет в доме твоего отца.

— А где сам он будет спать? — спросила Вика с удивлением.

— Хотя бы у меня. А тут нельзя. Этот дом уже не его, а государственный. Его сейчас отдали под мою ответственность.

У Суфлецу с годами одно плечо, то, что не имело своим продолжением руки, все более подымалось, а другое, правое, с рукой, соответственно опускалось, как чаша весов, на которой лежал груз. Один и тот же груз этот с течением времени как бы увеличивался в своем весе в единственной руке и тянул еще сильнее ее книзу.

Теперь баде Василе сидел вместе с другими на завалинке, ловил рукою дождевые капли и старался разяснить Вике положения и законы, касающиеся национализированных хозяйств и того имущества, что передано в ведение сельсовета. Вика стояла босиком на дожде. Ее одежда вымокла и прилипла к телу. Такою вот жалкой, потерянной, в этом мокром ситцевом платишке, облепившем ее фигуру, Тоадер Фрунзэ видел ее впервые и удивлялся, как сильно она изменилась. Сквозь тонкий, прозрачный ситец виделись худенькие, костлявые руки, ноги, даже бедра. «Не человек повелевает временем, а время повелевает человеком», — вспомнил он грустное изречение какого-то книжного мудреца. Теперь оно больно кольнуло в самое сердце. Тоадер стоял перед в общем-то еще очень юным существом и чувствовал, что оно безвозвратно отдаляется от него. «Безвозвратно?..» Нет, он делает все, чтобы исправить жестокую несправедливость, допущенную относительно отца Вики. Не позволит увеличиться злу, которое совершил тот безумный ревнивец — бывший секретарь сельсовета, сбежавший из села и посеявший тут несчастье для многих хороших людей. Никто не должен был и пальцем тронуть подворье Негарэ. Разве Митря сложил свою голову в борьбе с фашизмом для того, чтобы его родного отца репрессировали?! Перед тем как вторично быть сброшенным на парашюте к партизанам, Митря оставил за образами все свои боевые награды, медали и ордена, там же хранились и его благодарности. Среди бумаг

найденных Тоадером Фрунзе в доме Негарэ, были и такие, которые касались непосредственно самого хозяина. То были благодарности за ссуженный для Красной Армии хлеб, за большое количество картофеля, сданного Георге Негарэ государству. Нашлась даже бумага, в которой какой-то генерал ходатайствовал перед командующим фронтом о награждении Георге Негарэ воинским орденом за то, что в одну ненастную ночь он провел советских разведчиков в тыл врага по одному ему известной лесной тропе. Теперь Тоадер Фрунзе заберет все эти документы и увезет в райком партии. Если б не этот неожиданный ливень, он давно был бы уже в кабинете Алексея Иосифовича. Ну, а с Пэтраке и того проще. Того снимут с машины, дадут коленкой под зад — и катись, старый, домой! То, что он выдает себя за мужа Ирины, — это ж одна блажь выжившего из ума человека! Вот только поскорее бы закончить сдачу кулацкого имущества сельскому совету, и он, Фрунзе, не будет даже ждать повозки Гончарука, пешком пойдет в район. Не такая уж он большая шишка, чтобы ждать подводы! Георге Негарэ не успеет вернуться из своей поездки на станцию, как он, Тоадер Фрунзе, все исправит, все поставит на свое место! Иначе он провалится сквозь землю от стыда. В другом селе ему, может быть, и простили бы такую роковую ошибку, но только не в родном!.. Надо же было поселиться в доме Негарэ тому негодяю, бывшему секретарю!.. Правду говорят люди: дураков не сеют — они сами родятся. Один дурак бросит камень в болото, а десять умных не могут вытащить его оттуда!

Вечером в доме Фрунзе ужинали молча. По рассеянности Катинка положила в тарелку каждого по целому стручку красного перца. Сама тоже растирала в своем борще такой стручок, а мысли ее были далеко от этой еды.

Молча сидел за столом даже Никэ-болтун, не умевший вести себя тихо и за чужим столом. Лишь хлебнув наперченного борща, он подскочил как ужаленный и заорал:

— Зачем ты мне положила перца?

— Лопай. Не околеешь!

— Ты теперь стала, как дедушка... Лучше бы мне остаться в интернате!..

— Ну и оставался бы! — сказала сердито мать, но все-таки налила младшему сыну другого борща.

— Послушай, Никэ, ты лучше с нами не ссорься. Тебе же хуже будет, — посоветовал Костакэ.

— У меня во рту горит, как в печке!

— Вот и хорошо. Катара не будет и ангиной никогда не заболеешь.

— Кат-а-ара! — прорычал Никэ, уплетая борщ без перца.

Потом он выпил большую кружку воды из

ведра и стал уверять, что и вода наперченная.

— Это тебе так кажется.

— Ну, не ерепенься! — сказал Костакэ построже.

Он не баловал своего сына, тот и без него достаточно избалован, и поэтому стал держать малого под уздцы. К тому же Костакэ знал, что его младший сын великолепный артист, умел притворяться. То надует без всякого повода, то без видимой причины его охватит буйная радость. Лучше всего не обращать внимания на эти его номера. Он сам очень скоро войдет в норму. Сейчас он вдруг объявил:

— Я в городе видел дедушку.

— Где ты там его видел? — встрепелась Катинка, сейчас же принимаясь гладить голову младшего, как гладят котенка.

— На лестнице у Мардароса, — совершенно спокойно ответил Никэ.

— Что он там делал?

— Да ничего. Сидел на мешке и попивал вино из своего бурдючка.

— При входе в райком?! — удивленно воскликнули одновременно Фрунзе-отец и его старший сын Тоадер.

— Именно так. Дедушка сидел и ругал кого-то себе под нос.

— Ругал?

— Я подошел к нему и позвал домой, — продолжал Никэ. — А он и за меня принялся. Отматерив как следует, стал выкрикивать не поймешь что: «Просияжу, — орет, — тут до петрова дня, пока не подпустят овец под барана. И до спасова дня, когда отнимут овец от барана!.. Коровьи башки!.. Пока не придут ко мне эти городские умники, эти булочники, не строюсь с места!.. Я хочу, — говорит, — повидать товарища Шоричела... Самого старшего в этой лавке!..»

Обычно большой выдумщик и фантазер, на этот раз Никэ ничего не прибавлял от себя. Мош Тоадер по-прежнему называл здание райкома большой лавкой, хотя и в досоветские времена в нем помещалась не лавка, а двухэтажная аптека некоего Мардароса. Лефтер когда-то покупал в ней лекарства. Шоричелом, то есть мышонком, старик прозвал Шеремета не потому, что хотел унижить, оскорбить чуть ли не самого главного районного начальника (хотя от старика можно было ожидать и этого!), а потому, что не мог запомнить его настоящую фамилию. Обидная кличка пришла к ничего не ведающему Алексею Иосифовичу, видно, только по созвучию: Шеремет — Шоричел.

Годы все стремительнее уносили мош Тоадера под уклон, а характер его не менялся. Взгляд был, как всегда, острым и пронзительным, он вперял его в человека, медлил, вспоминая имя повстречавшегося и, когда не мог вспомнить, старался сейчас же придумать ему



прозвище. Потом, обращаясь к этому человеку по кличке, мош Тоадер забывал, что сам когда-то дал ему ее.

— Господи, не учинил бы там какого-нибудь скандала! — сокрушалась Катинна.

— Надо поскорее пойти в город и попытаться увести его домой, — сказал Фрунзе-сын.

— Что поделаешь, надо идти! — согласился Костак. — Нужно во что бы то ни стало утащить его оттуда!

— А знаете, чего он еще кричал там? — вспомнил вдруг Никэ. — Кричал, что пойдет на дом к секретарю райкома партии...

Услышав еще и это, Костак уже не присел на скамейку, чтобы докурить, по обыкновению своему, папиросу. Как известно, он много раз пытался бросить курить и бросал, но года через два снова начинал. И теперь вот не мог обойтись без того, чтобы не выкурить хоть бы одной папироски после обеда.

— Я пойду один, — сказал старший сын.

— Тебя он не послушает.

— Послушает. К тому же мне и самому надо поговорить с Шереметом насчет Негарэ.

— Может быть, возьмешь в сельсовете повозку?

— А кто ездовой?

— Сын Вырлана...

— Хорошо. Бегу!

Однако бежать не нужно было. Со двора послышался колокольный звон дедушкиного голоса. Ни преклонные лета, ни житейские невзгоды не могли повредить этой могучей глотке. Когда мош Тоадер начинал кричать, дрожали окна не только в их доме, но и в соседних избах. Сейчас всю злость, какая накопилась у него в груди, он старался выгнать яростным криком:

— Наклад я на ваш город... Вот так... так!.. Попрыгались все по своим углам, как в крепости!.. Ни одного булочника не отыщешь! Коровья башки!..

Когда старик заводился, остановить его было почти невозможно. Но остановить надо. Перебравши все имена районных начальников, он перекинется и повыше, если вовремя его не укротить. Костак Фрунзе трижды снимали с должностей из-за длинного языка этого старика, по несчастью доводившегося ему тестем. Мош Тоадеру Лефтеру, например, ничего не стоило во всеуслышанье окрестить ненавистных для него коз «сталинскими коровами». С него-то самого взятки гладки — страдали родственники, и прежде всего зять, которому доставалось за то, что не мог перевоспитать своего сумасбродного тестя.

Попробуй перевоспитаешь! Он вот сейчас матерится на чем свет стоит, поносит последними словами всех и вся, а начнешь увещивать, стыдить его, убежит в свою хатенку, хлебнет вина

и вновь выскочит оттуда чернее самой черной тучи. Тут же начнет орать:

«Опять учить меня захотели?! Хотите заткнуть мне рот?.. Заткните-ка лучше мою задницу, разубийте пополам, но все одно из меня не сделаете ни двух хороших, ни двух плохих!.. Тьфу!.. Плевать мне на вас на всех. У меня только одна нога тут, а другой-то я уж в земле. Мне ли бояться кого?! Я и попу говорил: коровья башка... Когда у меня кипит все внутри, я и черта назову по его имени!..»

Костак Фрунзе и его сын могли бы, конечно, взять старика и отнести на руках в дом, но он не простил бы им этого до самой своей смерти, ибо ничем он так не дорожил, как личной свободой. Он и не женился до сорока лет лишь потому, что не хотел рано лишиться свободы. В жены себе он взял потом Домнику, вдову с двумя взрослыми дочерьми, заранее рассчитав, что, преисполненная благодарности, она будет послушна, покладиста, не скажет ни единого слова поперек. Вскоре к тем двум Домника прибавила еще четырех дочерей, уже от него, Лефтера. Вылила их в отца и по внешности и по характеру. Из-за боязни утратить независимость, овдовев, старик не пошел на жительство ни к одному из зятьев, не позволял дочерям стирать его белье, сам вязал себе варежки и носки. Для него не было большего удовольствия, чем самому хозяйничать в своем доме и на своем дворе. Задумал выпить стаканчик вина — выпей, никто тебе и слова не скажет, никто не попрекнет. Работу по душе мош Тоадер Лефтер всегда находил в достаточном количестве. Как уже сказано выше, он любил сооружать колодцы, очищать чужую пшеницу в своем знаменитом кроильном решете. Этим двум занятиям он отдавался всей душой в течение нескольких месяцев в году. Перед теми, для кого он это делал, ставил условие: люди эти должны были пропалывать и подвязывать его виноградник, окучивать картошку и ухаживать за кукурузой. Когда в новых колодцах не испытывалось нужды, а зерно у всех было уже отсортировано, мош Тоадер, хотя и с меньшей охотой, но все-таки принимался конопатить днища бочек, готовя их для солений.

Осенью, когда собаки имели обыкновение забегать в его виноградник и подымать ногу чуть ли не у каждого куста, дед перекочевывал туда. Ночью сражался с собаками, а днем — с ребятишками, которым удобно было совершать свои нападения на виноградник мош Тоадера: он почти примыкал к селу.

И вот после такой длительной и отчаянной борьбы за свою независимость, после того как он выдержал столько житейских невзгод ради того лишь, чтобы не быть никому и ничем обязанным, — после всего этого мог ли старик Тоадер Лефтер вынести, если б зять и вынул си-

лой втащили его в избу и уложили в кровать, как малое неразумное дитя?! Да он порубил бы их топором, зарезал косой!..

Слава богу, Костаке и его старшему сыну не пришлось прибегать к этому крайнему средству. Выручил их Илие Унгурану, который с двумя осодмиловцами приволок во двор Фрунзе связанного высоченного бородача, одетого в боярский тулуп, волочившийся сейчас по земле. При виде всего этого мош Тоадер онемел. Он перестал ораторствовать и сорвался с места, чтобы поскорее увидеть, какого еще там злодея приволок Унгурану со своими товарищами. Любопытство, как известно, было второй натурой старого скандалиста.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что мош Тоадер отлично знал этого бородача, в свое время десятки раз просеивал ему пшеницу. Когда-то этот человек владел огромным имуществом. Будучи депутатом Государственной думы, он получил большое имение в Валя Чулукулуй. Во время первой румынской оккупации никто не носил бороды, кроме этого депутата, который очень гордился своей бородой и разговаривал на базаре только по-русски, а со знатными горожанами — на других языках, которых мош Тоадер, естественно, не понимал и возвращался от этого думского деятеля всегда злой, как черт. И вот теперь его самого приволокли откуда-то прямо под нос мош Тоадера.

— Шпиона поймали, мош Тоадер! — возгласил Унгурану.

— Какой еще шпион? Ты с ума сошел?! — закричал старик.

— Мы поймали его в лесу! — пояснил Илие, надуваясь от важности, как индюк.

— Развяжите его и отпустите!.. Вы что, ослепли?! Не видите, что это сумасшедший помещик-бородач?.. Тьфу, коровьи башки! Нашли шпиона! Даже в таком простом деле не смыслите ни черта!..

— А зачем же он убежал и прятался в лесу?

— Потому... Потому что у него, как и у вас, вместо головы на плечах котелок из-под дегтя!..

Вышедший во двор Тоадер Фрунзе приблизился к Офандовскому и развязал его. Этот старик доставлял немало хлопот и ему и многим другим секретарям райкома комсомола. Его постоянно арестовывали комсомольцы из Кипкан, из Клишова и других районов Молдавии. Офандовский переходил из села в село, заливал оловом прохудившиеся днища кастрюль, чинил ведра, серьги, кольца. Своей необычной для этих мест бородой и донашиваемым депутатским одеянием он неизменно вызывал подозрение у комсомольцев, которые задерживали его и приводили в райком. Борода его была столь белоснежна, что никто не верил, что она настоящая, а не приклеенная. Чтобы убедиться,

что она естественным образом выросла на его подбородке, некоторые особенно бдительные парни дергали за нее.

— Старый человек, зачем вы ходите в лес? — отчитывал Тоадер Лефтер Офандовского. — Не боитесь потерять свою бороду? У вас ведь, кроме нее, ничего не осталось. Все прокутили, все промотали, бабий угодник!.. Теперь за вашу бороду ни одна шлюха не подымет для вас своей юбки!.. Так-то вот, коровья твоя башка!.. Лучше возьми у меня обломок косы да сбрей бороду — на нее теперь ни одна баба не глянет!.. Аль тебе все еще хочется выглядеть боярином?! Ну, носи, носи бороду, старый дурак! А вот эти дьяволята будут тебя таскать по разным конторам!.. Пустил ко дну все свои корабли, а теперь слоняешься по белу свету, как полоумный!.. Эх ты!.. Что ты теперь скажешь этим вот молодым бесенятам!.. — возмущался старик, не замечая, что перешел в обращении к этому «бывшему» на «ты».

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 1

Больше всего на свете теперь Костаке Фрунзе боялся встретиться с глазу на глаз с Георге Негарэ. Кто-кто, а Костаке-то должен был хорошенько проверить роковые списки, составленные до него мерзавцем секретарем. Кто теперь поверит, что нынешний председатель сельсовета, то есть Костаке Фрунзе, не знал, что Негарэ в числе немногих его односельчан тоже был определен для раскулачивания? Поверить в это просто невозможно! После всего, что случилось, Костаке мог показаться еще и двуличным человеком. Принимает Георге Негарэ в колхоз, посылает на станцию за семенным фондом, а ночью подымает и отправляет в ссылку его семью!..

— Ты поедешь в район с Негарэ? — спросил Костаке старшего сына.

— Но и вы собирались поехать туда же?

— Мне как-то неловко, Тоадер. Может и в самом деле подумать, что я веду двойную игру.

Костаке поднялся с постели до рассвета. Они встретились с Негарэ во дворе Василе Суфлецелу. Как только мог, Костаке рассказал Георге о путанице, жертвой которой стал он сам и его близкие, заодно попытался успокоить, уверяя, что все скоро разъяснится, все придет в норму, словом, все кончится хорошо.

— Если ничего уж нельзя исправить, помоги Георге Негарэ догнать семью. Пускай уж будут вместе. Может, так их побыстрее вернут



обратно. И этого чудака мош Патраке тоже! — напутствовал старшего сына Костаке.

Он говорил хриплым голосом и прятал глаза даже от родного сына.

— Георге Негарэ сам сказал мне, что поедет вслед за женой, если уж ничего нельзя поправить...

— Почему же нельзя?! — воскликнул Тоадер-младший. — Ведь есть же еще Митря! Он воевал, партизанил и погиб...

— Откуда я знаю, что может случиться!.. Не всегда бывает, как нам хочется!

— Закон есть закон! Никому не позволено нарушать его!

— Ты, Тоадер, еще молод. Не горячись, сынок!.. Бывает так, что раньше, чем ты доберешься до бога, тебя слопают его архангелы...

— Нет и нет! — решительно выпалил Тоадер. — Я этого так не оставлю!.. Пойду сейчас же к Шеремету! Если надо, поеду в Кишинев, в Москву, а своего добьюсь. Несправедливость должна быть исправлена!

Как и намеревался это сделать, Тоадер забрал все документы, все медали, все объявленные на бумаге благодарности, найденные им в доме Негарэ, собрал в одну кучу все квитанции, выданные Георге при сдаче им хлеба, шерсти, яиц, картофеля, молока, все облигации государственных займов, справки об уплате налогов, обязательного страхования. Всего набралась целая гора бумаг! Вот ее-то он, Тоадер, и выложил перед руководителями района: читайте и поскорее исправляйте ошибку!..

Георге Негарэ всю свою сознательную жизнь не выпускал из рук кнута и вожжей. И поэтому сейчас как-то странно было видеть его без них. Видеть, как он сидит, пришибленный, в телеге в качестве пассажира, а не того, кто правит лошадьми. Он ехал в район в той же одежде, в которой вернулся со станции. Ирина не догадалась оставить мужу даже чистое белье. Побриться он, конечно, мог бы, но ему, видать, было не до этого. Странное дело: ни пыль, ни грязь, покрывавшие сейчас его одежду, ни потное, давно не мытое тело, ни давно не стиранный белье — ничто не могло заглушить устойчивого запаха хлебного поля, спелых колосьев, мельничной муки, смешанной с дорожной пылью, запаха, тихо веющего сейчас от этого мужика-работяги.

Негарэ молчал всю дорогу, обводя медленным, тоскующим взором уходящие назад холмы, долины, пригорки, селения, словно прощаясь с ними, старался навсегда запомнить, захлебнуть вместе с той горько-соленой слезой, которая закипала в горле.

— Я знаю, кто мне устроил все это, — говорил наконец Негарэ. — Чтоб замолить свои грехи, он ушел теперь в монастырь. Ну ничего — будем живы, поглядим, как оно все выйдет! Попадаются, Тоадер, и такие... Ты ему де-

лаешь добро, а он тебе зло. Но зло в конце концов и для него обернется злом же!.. Пока что этот негодяй натянул на себя монашеское облачение, молится богу, а я вот скитаюсь по дорогам!..

Тоадер Фрунзе молчал. Неужели, думал он, Андронаке Харцук снова подался в Гербовецкий монастырь? А может, не в Гербовецкий, а в какой-то другой? По дороге из Калараша Негарэ мог увидеть три мужских монастыря и один женский. В женском-то, положим, Харцук не могли приютить. Тут было всего лишь двое мужчин. Один — священник, отправляющий богослужение в монастырской церквушке, поскольку на женщин никто не мог возложить поповского сана. Другой — монах, древний и глухой старикашка, прислуживавший в церкви, делавший все механически, как автомат. Он же был и звонарем, а во время службы разжигал уголь в кадильнице, которую относил священнику в алтарь. Колокола в конце концов и сделали этого тихого, бессловесного человека совершенно глухим.

— Ястреб поганый!.. Надел на голову скуфейку и сидит за расчетной книгой на монастырской мельнице!.. Я его своими глазами видел.

— Кого видели, баде? Харцук ведь совсем неграмотный!

Георге Негарэ с удивлением посмотрел на Фрунзе:

— При чем тут Харцук? Не о нем речь. Тот не мог занести меня ни в какой список. Ему бы только спасти свою шкуру!.. Я тебе говорю о другом ястребе — о бывшем сельсоветском секретаре. Помнишь, поди, как он, разыскивая свою жену, учинил разгром на моем дворе?.. Ослабил, разбойник, меня на все село. И теперь от него же страдаю!..

Остаток пути провели молча. Тоадер Фрунзе не любил выражать вслух сочувствие человеку, попавшему в беду. Далеко не всякий ведь любит, чтоб его жалели. И сейчас будет куда полезнее, если он попытается помочь Негарэ делом. С твердой внутренней установкой поступить именно так он и ввел своего спутника в райком партии и был страшно удивлен тем, что его появление было встречено оглушительным хохотом. Смеялись инструктора, дождавшиеся приема у дверей Шеремета, покачиваясь со смеху курьерша, еще кто-то смеялся.

Об источнике, породившем этот смех, Тоадер Фрунзе догадался лишь тогда, когда увидел знакомую ему полосатую суму да бурдючок с красной затычкой из кукурузной кочерыжки. Сейчас же сообразил, что его дедушка каким-то образом опередил их с Негарэ и теперь «беседовал» с Алексеем Иосифовичем. Беседа, судя по всему, подходила к концу и складывалась для старика удовлетворительно, поскольку

он не бушевал, не кричал, не ругался, голос его за обитой дерматином дверью звучал ровно, без взрывов:

— Я прошу вас, дорогой начальник большой лавки, ослобоните этого дурака Пэтракия поскорее. Ведь он влип в эту историю, как муха в горячую мамалыгу. Самовольно полез в солдатский ероплан!.. Глупый баран!.. Коровья башка!..

— Хорошо, хорошо, мош Тоадер. Договорились!

— Ну, ну!.. Вижу, ты хороший начальник!.. Хотя и городской, а встаешь рано. Не потягиваешься в гусиной перине, как иные некоторые... Эти, поди, до сих пор нежатся в своих постелях...

Сквозь басовитый голос старика изредка прорывался звонкий мальчишеский смех хозяина кабинета — только Шеремет умел с такой наивной, сочной радостью отдаваться смеху.

— У меня много работы, мош Тоадер, поэтому и встаю рано.

— И у меня ее не меньше, — отозвался тут же старик, — но пока не выпью кувшинчика, не принимаюсь за дело. Без этого оно у меня не пойдет... Может, мне занести сюда мой бурдючок?..

— Нет, что вы?! Боже вас упаси, не делайте этого! — оборонялся бедный Шеремет.

— Трусишь, значит? Боишься, как бы тебя не посчитали пьянчужкой?

— Боюсь, боюсь, мош Тоадер! До смерти боюсь! — смеялся Шеремет.

— Не бойся. Хозяйственный мужик непременно с утра пропустит стаканчик. А чтоб не опьянеть, закусывает. Только и делов! Там, в моей суме, найдется, чем закусить... Так что...

— Спасибо, отец. Но для меня это слишком рано!

— Позже пускай глупцы пьют!..

— Нет, благодарю.

— Твоя воля. Ты большой начальник, разве тебя заставишь! Да, может, ты, сынок, и прав...

«Ну и дипломат! — дивился Фрунзэ, прислушиваясь к тому, что говорил за дверью его дед. — Откуда это у него взялось? Оказывается, если захочет, умеет держать себя в руках и слова нужные подбирать!»

А ведь сколько раз слышали от него:

«Я ни у кого еще ничего не просил. Просите вы, а меня от этого увольте!»

Сейчас за дверью послышались мелкие старческие шажки, обе ее створки распахнулись, и появился старый Лефтер, вежливо провожаемый Алексеем Иосифовичем. Завидя внука и Георге Негарэ, дед заорал:

— Ах, тут еще жалобщики!.. Где это вы прохладжались?.. Поднялись, чай, только после третьих петухов?! Вот товарищ Шеремет на

что барин и первый начальник во всей округе, но и он поднялся раньше вас, коровья вы башки!

Старик вновь впал в угрюмость, с досады плюхнулся на стул и подтащил к себе и мешочек, и бурдюк. Решил малость угостить себя и дожидаться, с чем выйдут из кабинета «большого начальника» его внук и односельчанин. Помрачнел же старик оттого, что боялся, как бы вошедшие не подпортили чем его договоренности относительно Пэтраке. Своими переговорами и в особенности самим собой мош Тоадер был очень доволен: сумел-таки удержать себя в руках, не дал воли своему языку! Обделал все как нельзя лучше, и вдруг явились эти: чего доброго, могут еще порушить все, что воздвигал он с таким трудом!

Алексей Иосифович, принимая очередных посетителей, не предложил им сесть. Не сажался и сам. Видно, он куда-то торопился. Но все-таки спросил:

— А вы с чем пожаловали? Что вы хотите от меня?

— Ничего я не хочу, — выпалил Негарэ, почувствовавший сухость в голосе секретаря райкома.

— Но зачем-то вы все же пришли ко мне? Я вас слушаю.

— Мне от вас ничего не нужно. Хочу только, чтобы вы поскорее отправили меня туда, где находится сейчас моя жена!..

— Обратитесь в соответствующие органы. Сам я никого не привожу и никого не отвожу.

— Хорошо. Я напишу товарищу Сталину! — голос Негарэ зазвенел. — У меня сын погиб на фронте — вы не имели права меня раскулачивать и высылать!.. Я знаю, кто все это подстроил!..

Шеремет молчал, то и дело поглядывая на часы.

— Я ничего от вас не требую. Прошу только, чтобы вы отправили меня к жене и младшей дочери. Кажется, не так уж много я у вас прошу?!

Подбородок Шеремета как-то странно подрагивал. Так дрожит он у ребенка, который собирается заплакать или разъяренным тигренком броситься на своего обидчика. Чувствовалось, что Шеремету стоило больших усилий сдерживать себя. Он по-прежнему молчал, переводя взгляд с часов на портрет генералиссимуса и обратно.

— У меня есть документы! — продолжал Георг Негарэ. — Есть такие, которые еще никто не видел. Я их никому не показывал. Прошу вас — прочтите их!.. Вы первый человек, которому я даю их в руки! Не показывал их никогда ни румынам, ни русским — никому!.. Даже от своих детей прятал!..

Алексей Иосифович взял из рук трясушегося Негарэ помятую бумажку. У него самого



дрожили руки, и он с трудом развернул, расправил замасленный листок. Прочел несколько раз. Сначала стал читать вслух, но тут же спохватился, что ему доверена тайна и он не вправе открывать ее перед третьим человеком. Негарэ напряженно следил за лицом секретаря райкома, ему хотелось, чтобы ни одна мелочь не ускользнула от глаз и внимания читающего. Зайдя к Шеремету со спины, сам водил темным, заскорузлым пальцем по строчкам, комментируя содержание бумаги:

— Я ведь никому не сказывал, что являюсь инвалидом войны... Не хотел, чтобы об этом знали в Кукоаре... Вот видите, что тут написано... Я бы мог по этой бумаге требовать для себя пенсию, открыть какую-нибудь лавчонку и не платить налогов... Я стал инвалидом еще в первую мировую войну... Мог бы не платить поземельных налогов, но всю жизнь платил их румынам!.. И сейчас платил!.. Выплачивал все, что от меня требовалось!.. Шерсть, яйца, молоко, мясо!.. Подписывался первым на все государственные займы!..

— Садитесь и успокойтесь, — сказал Шеремет.

Он обращался к одному лишь Негарэ, потому что Тоадеру Фрунзе не удалось еще вставить ни одного слова.

Помолчав немного, Шеремет устало опустился на стул и начал звонить по телефону. После того как он поднялся с первого этажа на второй, у него уже не было необходимости подходить к стене и крутить ручку у коробки, похожей на саратовскую гармошку с колокольцами. Крутить и ждать, когда телефонистка на станции услышит его голос и соединит с требуемым селом или учреждением. Теперь телефон стоял перед ним на его рабочем столе и он в любую минуту мог поднять трубку. Голос Шеремета хорошо знали всюду и сейчас же отзывались на него. Говорил он коротко, отчетливо. Как вот сейчас:

— Зайдите ко мне. Шеремет.

Минутою позже тот, кого он вызывал, бежал уже по лестнице к его кабинету.

Тоадер Фрунзе широко раскрыл глаза: в кабинете секретаря райкома партии появился капитан из органов госбезопасности. Тоадер видел этого финна чаще в гражданской одежде, даже тогда, когда они в составе чрезвычайной комиссии извлекали из земли тела расстрелянных немцами людей в Кукоаре. И сейчас не мог забыть, какими они были, эти тела. Людей словно бы захватили в бане, где они только что вымылись, — такими они были чистыми и после того, как пролежали в земле много времени. Грунт был песчаный на школьном дворе, где были умерщвлены эти несчастные, поэтому трупы хорошо сохранились. У многих из пулевых отверстий сочилась еще сукровица. Лишь повстречавшись вновь с солнцем и ветром, те-

ла стали стремительно разрушаться, и их пришлось складывать в братскую могилу кусками. Вместе со всеми эту тяжелую работу выполнял и финн, ничем особенно не отличавшийся от других членов комиссии.

Сейчас Тоадер Фрунзе видел перед собой подтянутого офицера в тщательно выглаженной гимнастерке и отутюженных брюках. Офицер Советской Армии, облачившийся по случаю воскресенья или очередного отпуска в штатский костюм, за редким исключением, может скрыть свою военную суть: привычки, выправка, усвоенные длительною службой в строю, обязательно выдадут его. Другое дело офицер из органов госбезопасности. Этого ты чаще всего увидишь именно в гражданской одежде, которая сидит на нем так же свободно и естественно, как и на тебе, «цивильном» горожанине.

Странное дело, прежде Тоадер Фрунзе не примечал веснушек на крупном лице этого финна. Теперь на хорошо выбритой коже они выступали отчетливо, перемежаясь с редкими оспинками на щеках и лбу. Вся голова его, подпираемая белоснежным подворотничком, казалась тоже какой-то белой: белая кожа, белые волосы, светло-золотистые брови и ресницы, даже глаза белые... Седины, однако, не было. Но не внешность, к которой Тоадер Фрунзе давно мог привыкнуть, поразила сейчас его в старом знакомце, а то, что к его гимнастерке была прикреплена Золотая Звезда Героя Советского Союза.

Фрунзе знал за этим человеком немало боевых подвигов, знал, каким безграничным доверием пользовался он у самых высокопоставленных людей. Много о нем знал Тоадер, но запомнить фамилии его не мог: такой сложной, труднопроизносимой она была. А вот о том, что финн этот — Герой Советского Союза, Тоадер и не подозревал даже. Знал Фрунзе и об этом, он не дал бы капитану покоя, затаскал бы на разные встречи с комсомольцами и пионерами. Вон секретарь Оргеевского райкома комсомола своего единственного Героя прямо таки замучил, выставляет его в президиумах всех собраний и заседаний, вытаскивает на трибуну, требует от него речей перед молодежью.

Тоадер Фрунзе очень уважал капитана. Привязался душевно к нему еще тогда, когда руководил курсами по изучению молдавского языка. Иные слушатели курсов, партийные работники, часто отсутствовали, ссылаясь то на перегрузки в работе, то на командировки. По этой якобы причине они не могли выполнить и домашних заданий. Но финн, несмотря на то, что больше всех мотался по району, успевал все: и приходил на занятия вовремя, и готовить уроки, заданные на дом. За одну зиму он продвинулся так далеко, что уже умел не только сносно говорить и писать по-молдавски, но и прочитывать художественную литературу. Го-

ворил, правда, с акцентом. Но эта беда невелика. Сперва Фрунзе попытался было помочь ему, но скоро махнул рукой: если человек не научился свистеть с детства, то он уж не научится этому несложному, казалось бы, искусству никогда. Для того чтобы финн говорил помолдавски без акцента, ему нужно было бы изменить язык. Но зачем это делать?!

Сейчас в кабинете Шеремета, перед Георге Негарэ и Тоадером Фрунзе, финн говорил порусски. Оказывается, он был в курсе всех событий, которые только что произошли в Кукоаре. Знал, что Андронаке Харцуку удалось бежать, знал, что тот успел ткнуть вилами этого недотепу с заячьей губой. Знал и о том, что случилось с Негарэ, был до крайности возмущен подделкой, совершенной бывшим секретарем сельсовета, укрывшимся теперь в монастыре. Когда речь зашла об этом прохвосте, Негарэ встрепетнулся:

— Я же вчера только видел его!.. Он работает счетоводом и весовщиком на монастырской мельнице!..

— И это нам известно, — остановил его капитан. — Все известно. Пока мы не трогаем его. С его помощью, может быть, нам удастся выловить еще более хищного и хитрого зверя!

Как, однако, много перенес этот финн из-за бывшего секретаря! Кто-то распространил в городе слух, что капитан по уши влюбился в жену этого новоявленного монаха, что он своими ногами проторил тропку среди диких зарослей в огороде этой ленивой красавицы: Лелика теперь жила на окраине города. Заботилась лишь о нарядах да красках для своего холеного лица. Налилась телом, как породистая кобылица, и выступала гордо, задравши нос к небу. Ее можно было увидеть на улице с хорошо, по моде, уложенными волосами, отливавшими синевой боронова крыла. Не похоже было на то, чтобы она когда-нибудь, как другие женщины, таскала кошелку на плече и в руках, ходила по магазинам за овощами, хлебом, солью и мылом. Ее скорее можно увидеть с букетиком цветов, чем с этими «предметами первой необходимости», встретить у портних или в частном ресторанчике.

Никто не видел финна даже рядом с Леликой, но жена капитана, наслушавшись сплетен, раза три убегала из дому из-за этой Лелики. Разъярившись, оставляла на мужа четверых детей и скрывалась где-то. Через некоторое время ревнивая жена возвращалась и мирилась с капитаном. Жили они в добром согласии, тихо и мирно до тех пор, пока от мужа не повеет запахом духов.

Одно время даже Тоадер Фрунзе готов был поверить, что финн находится в связи с Леликой, ибо в организациях и учреждениях городка не было служащего, который бы не паялил глаз на эту разбитную бабенку, когда она дефи-

лирует, покачивая бедрами, по улице. Не было таких, которые не испытывали бы при этом какого-то смутного, тревожного и вместе с тем сладкого беспокойства под сердцем.

Более трезвые умы не раз задавали себе вопрос: а на какие, собственно, средства живет эта красавица? Времена были еще достаточно трудными, люди работали много, чтобы как-то сводить концы с концами, чтобы протянуть от зарплаты до зарплаты. А эта хабалка роскошествует, наряжается в дорогие платья, спрыскивает себя французскими духами. Откуда бы всему этому взяться?! И ведь не скажешь, чтобы Лелика путалась со всяким встречным и поперечным. Случалось, что иной, соблазненный ее телесными прелестями, недвусмысленно предлагал ей свои услуги, но получал такой энергичный отпор, что потом долго еще почесывался и сконфуженно вертел головой: вот, мол, и пойми такую! И язычок у этой молодницы был так ядовит, что горе тому, кто попадет на него. Так ошпарит тебя при всем честном народе, что ты не скоро придешь в себя и найдешь, чем ответить этой загадочной бабе. Могла учинить подобную штуку над непрошеным ухажером и на виду его жены, чтобы потом и та включилась в дело и проучила своего суженого по полной норме. Поэтому женатые старались не попадаться ей на глаза, решив почему-то про себя, что эта красавица не иначе как отдала свое сердце молчаливому блондину-финну. Имея такую опору, рассуждали отвергнутые любовники, она, конечно же, могла взбрыкивать, не боясь ничего и никого.

О таких женщинах бабы говорят, что они умеют привораживать чужих мужей, что они носят приворотное зелье у себя за пазухой и дурманят мужичьи головы. Капитан же мало походил на тех, которых можно было бы так-то вот околдовать, приворожить, «присушить», как иной раз выражаются деревенские кумушки. Но связь его с Леликой даже Тоадеру Фрунзе казалась доказанной, несомненной. Вопрос заключался в том, имела ли эта связь под собою любовную почву? Ведь в жизни и работе капитана было так много непонятного, таинственного, что ответить на этот вопрос не так-то просто. Кое-какими своими секретами капитан делился и с ним, Тоадером Фрунзе. Для этого он заходил в райком комсомола.

Однажды финн показал Фрунзе несколько безграмотных писем, в которых содержалась угроза кукоаровцам, намеревавшимся вступить в колхоз. Тоадер долго мучился, чтобы по почерку узнать авторов этих писем. Бывший учитель, он прежде всего подумал о школьниках, которые могли быть привлечены взрослыми к написанию анонимок. Но эта мысль не могла привести к положительным результатам: переписчиками могли быть ученики начальных классов из других сел,



Тогда же капитан сообщил секретарю райкома комсомола, что Гицэ Могылдя переменял свою деятельность — перешел к актам политического шантажа и запугивания. Если раньше занимался только грабежом, то теперь нередко приходил со своей бандой в какое-нибудь селение, врывается на собрание с оружием и ставил его на тех, кто пришел с заявлением о вступлении в колхоз. Анонимные письма — это тоже, по-видимому, дело рук шайки. Люди, получавшие их, приходили в сельсовет, просили защиты. Некоторые требовали обратно свое заявление — эти явно боялись расправы.

Было над чем подумать органам госбезопасности. Люди ждали от них реальной помощи. Ждал ее и Фрунзэ. Он надеялся, что капитан поможет разобраться и в запутанной истории Георге Негарэ. Тому было уже известно, что вместо Негарэ на выселение отправился вовсе безобидный Пэтраке, что в ночь, когда началась операция по раскулачиванию, сам Негарэ уезжал на станцию в Калараш; известно было капитану и то, что сын Георге Негарэ был первым партизаном в Кукоаре. Кому же в таком случае, как не ему, этому капитану, восстановить попорченную справедливость и возвратить невинно пострадавшую семью к родному очагу?!

Капитан, однако, колебался. Он несколько раз перечитал помятую бумажку, с которой ее владелец связывал главную свою надежду, крутил ее в своих руках так и сяк, взглядывая при этом поминутно на Негарэ, а под конец все-таки сказал:

— Ничего не могу сделать, гражданин!

Он глядел на обескураженного Негарэ, а Шеремет знал, что слова эти предназначались для него. На всякий случай и он переспросил:

— Почему.

— Всё. Ничего изменить нельзя!

— Я напишу в Москву! — сорвался с места Негарэ, до этого сидевший мирно и тихо, внимательно наблюдая за обоими начальниками. Теперь же почти вырвал из рук капитана свою бумагу и выскочил из кабинета, громко произнося угрозы по адресу тех, кто поступил с ним столь несправедливо.

В кабинете Шеремета на какое-то время воцарилась глубокая тишина. Только слышалось равнодушное, бесстрастное тиканье часов на стене.

— Что ж... Пожалуй, и мне надо уйти, — первым заговорил Фрунзэ.

— Нет. Обожди.

Капитан был некурящим, но вытащил из пачки Шеремета одну папиросу и начал разминать. Неловкими пальцами переломил ее надвое, зажег у самого мундштука и замахал ею, стараясь погасить пламя. Задыхавшись и кашляя,

нижком головы указывая на портрет, с трудом вымолвил:

— Действительно... пускай напишет... в Москву!.. Скажи ему, Фрунзэ!..

— Я сам составлю эту жалобу! — радостно подхватил Тоадер.

— Вот этого делать не нужно! — резко возразил капитан. — Пусть напишет своей рукой. Как уж у него получится. Собственноручно!..

— Я помогу...

— Нет, нет!.. Пускай сам. Ты только проследи, чтобы он не забыл сообщить о сыне-партизане!.. И посоветуй ему, чтобы не отсылал письмо почтой. Пускай сам и ответит.

При последних словах капитана Шеремет заерзал на стуле. Ему стало как-то не по себе.

## 2

«Странно. Герой Советского Союза и боится какого-то письма, — удрученно размышлял Тоадер Фрунзэ, спускаясь по лестнице. — На фронте не боялся вооруженного до зубов врага, а тут... Кто там, в Москве, может разобраться, что произошло в крохотном селеньице, которого и на карте-то не отыщешь?! «Пускай Негарэ напишет...» Легко ему так говорить!»

Тоадер и сам бы рад был тому, если б Негарэ смог написать такое письмо. Но как он это сделает, ежели всего лишь одну зиму ходил в церковно-приходскую школу, помещавшуюся в церковной же сторожке. И учили-то в этой школе больше не грамоте, а закону божьему. От того учения в памяти Негарэ как-то застряло с десяток русских букв, с помощью которых он теперь мог кое-как вывести свою фамилию — и только.

«Пусть не морочат мне голову, — решил Тоадер, — я напишу письмо, а Негарэ пусть отвезет его в Москву!»

Он мог бы поручить это какому-нибудь знакомому учителю или адвокату, но тогда содержание письма стало бы известно третьему лицу, а этого Тоадеру не хотелось.

— Ничего, Фрунзэ! — подбадривал его теперь уж сам пострадавший. — Гора с горой не сходится, а человек с человеком... Я и до того монаха доберусь. Отольются ему мои слезы!.. Я его выведу на чистую воду!..

Дожидаюсь Фрунзэ на улице, мош Тоадер, Негарэ и возница быстро опорожнили бурдючок старика и повеселели. Впрочем, повеселели только мош Тоадер и ездовой. Георге Негарэ хмель не брал. Фрунзэ не принимал участия в распитии дедушкиных запасов. Он был рад тому, что увидел у телеги вместе с другими и Негарэ: до этого боялся, как бы тот вгорячах не убежал куда-нибудь и не наделал беды. Чего доброго, он мог прямо из кабинета помчаться на станцию Калараш.

Георге Негарэ очень обрадовался, когда увидел, что Фрунзе собирался помочь ему. И засмеялся, как ребенок, когда молодой Тоадер вручил ему письмо-жалобу, которую успел написать в одном из пустующих кабинетов райкома партии.

— Подпиши эту бумагу и сам вези в Москву.

— А кто ж еще! — удивился Негарэ. — Сам и отвезу!

— Это чтобы она не затерялась на почте.

— Я б ей и не доверил!.. Ну, поехали! — Негарэ так торопился, что уселся на мешок с соломой и ухватился за вожжи, разворачивая лошадей на дорогу, ведущую в Кукоару. — Давай, мош Тоадер, садись и ты!

— Не поеду я на вашем фазтоне!.. Коровьи вы башки!.. Я еще не нашел в городе кусок проволочной сетки, чтобы починить мое решето!.. А эти бестолковые булочники употребляют ее на что попало!.. Окна вон закрывают проволокой, коровьи образины!.. Это они от мух!.. Боятся, чтоб мухи на них не накакали!.. Тьфу!.. Глазыньки бы мои не глядели на этих неженков!.. От мух и комаров хоронятся — все кроильные решета на свои окна извели, все железные сетки!..

— Садись, дед. Найду я тебе проволоку! — уговаривал его Негарэ.

Сперва Тоадер-младший не сообразил, за чем это его дед крутился вокруг здания райкома комсомола. Он только сейчас увидел, что все окна этого дома, выходившие на улицу, кто-то забрал проволочной сеткой. Опять это обернется для него новой морочкой: старик ни за что не поверит, что это сделано в его, Фрунзе, отсутствие, и начнет точить, как ржа железо.

— Ты, внучек, хозяйничаешь в этой лавке? — не замедлил обрушиться на него мош Тоадер. — У меня продырявились решето и все сита, а он вставляет проволочную сетку в окна!.. Чтoб даром ржавела там!.. Коровья образина!.. Куда это годится!..

Мош Тоадер не мог этого допустить и сейчас же попытался выставить рамы, к которым были прибиты проволочные сетки.

— Гм... Гвоздями заколотили, пустые башки!.. — ворчал он, кряхтя от натуги.

— Привезу я тебе такой сетки сколько твоей душе угодно, дедушка! — старался вразумить его Фрунзе.

— А где я тебя найду? — сердито отзывался старик. — Ты ведь вон какой начальник — рвешь свои лапти по дорогам и не знаешь, что я уже больше двух лет ищу эти сетки!..

В конце концов мош Тоадеру удалось вернуть одну раму с проволочной сеткой. Озираясь, как мелкий воришка, он опрометью побежал с нею к телеге. Кинув ее туда, с необычайной для его возраста ловкостью сам вспрыгнул и скомандовал:

— Гони их рысью, Негарэ!.. Ну и ну!.. Все дома, все лавки задернули этими сетками, все окна... А я мотаюсь по всем базарам, ищу... Хорошо, что оказался вот тут, в этом паршивом городишке!..

Повозка тарыхтела на булыжной мостовой. Но звонче громыхал голос старика, забравшегося зачем-то под солому. В другой раз он ни за что не согласился бы ехать на лошадях. Ему нравилось медленно подниматься в гору пешком по направлению к лесу. Там, у акаций, он так же, как и его внук, любил остановиться, сделать передышку. Отвязывал от пояса баклажку с вином и, покряхтывая от удовольствия, утолял жажду. Привал свой он делал всегда на одном и том же месте — возле землемерного столба на опушке леса. Если его фляга была опорожнена им еще в городе, он подходил к бьющему неподалеку родничку и наполнял чистой, студеной водой свой алюминиевый сосуд.

Теперь же мош Тоадер предпочел ехать на телеге и, ораторствуя, не боялся прикусить свой язык на этой тряской мостовой. Должно быть, изменил он своей привычке из-за этой вот проволочной сетки, которую, как и себя, на всякий случай прикрыл соломой. Пускай думают о нем что угодно — наплевать ему на всех! Ему бы только поскорее добраться домой и отремонтировать свое решето!.. Ведь засуха осталась позади, земля стала хорошо родить, в нее надо только бросить отборное зерно, а он сидит, как та старуха, только не у разбитого корыта, а возле худого решета и подыхает от скуки без дела!..

«Как немного нужно простому человеку!» — думал Тоадер Фрунзе, вернувшись в свой кабинет и вспоминая ликующее лицо своего деда.

На рабочем столе Фрунзе скопилась целая груда писем. Прежде в его отсутствие их вскрывал бы второй секретарь и распределял по соответствующим отделам. Но теперь, когда в районе был создан политотдел МТС, второго секретаря взяли туда. Там он тоже ведал комсомолом, остался членом бюро, но непосредственно в райкоме ничем помочь Тоадеру Фрунзе не мог: в политотделе и без того у него было дел невпроворот. В районе две машинно-тракторных станции, и при каждой созданы курсы трактористов и комбайнеров. Стали поступать, и притом в больших количествах, другие сельскохозяйственные машины, для которых тоже нужны были кадры сельских механизаторов. Так что человек, которому поручено вести работу с молодежью, мотался из села в село и подбирая ребят и девочек, готовых назавтра стать трактористами, комбайнерами, прицепщиками, научились бы управлять другими машинами, например, молотилками, триерами и прочим. Словом, забот у политотдельского комсомольского вожака было ничуть не меньше, чем у того, кто оставался в райкоме. В самих рай-



комах к тому времени уже работали люди со средним, а то и с незаконченным высшим образованием. С ними первый секретарь райкома комсомола чувствовал себя увереннее, мог поручить им задание, которое прежде возлагал лишь на самого себя. В низовых же организациях положение было похуже. Юношей и девчат с восемью или десятью классами образования сейчас же забирали высшие учебные заведения Кишинева — государственный университет, разные институты, медицинские и педагогические училища, сельскохозяйственный и строительный техникумы. Едва они освоятся с комсомольской работой на селе, как подходит осень и нужно подбирать новых руководителей. Если кто-то и оставался на месте, так это был молодой человек типа Илие Унгуряну, великовозрастный недоучка, в коем не нуждалось не только ни одно высшее, но и среднее учебное заведение. Но и таких трудно было удержать на месте сколько-нибудь длительное время. Одни из них женились и, обремененные семьей, переставали быть годными для комсомольской работы; другие уезжали на курсы механизаторов; шоферов, трактористов, комбайнеров; третьи уходили в армию и редко возвращались в свои села — заманивали к себе разворачивающиеся по всей огромной стране стройки; четвертые устраивали свои свадьбы с церковным венчанием и таким образом сами вычеркивали себя из списков комсомольских вожаков: их освобождали от работы с треском! Такой текучки кадров, конечно, не было в райкомах.

А сколько там, на селе, было разных, часто нелепых, выдумок, матерь божья!

Тоадер Фрунзе даже не мог вести им счет, запомнить все до единой — так их было много и такие они были все разные!

Ведь с получением комсомольского билета деревенский парень не переставал быть деревенским парнем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сельские хлопцы не могли так вот сразу отказаться от привычек и обычаев, усвоенных от множества предшествующих им поколений, от деревенских традиций, которые не все были безобидными: по-прежнему дрались, как молодые кочеты, из-за девчат, подымали скандал из-за гитары или клубного аккордеона, враждовали между собой; отвергнутые мазали ворота у дома девушки, не ответившей им взаимностью. Были и такие, которые забирались в цветники к молодухе, собиравшейся выйти замуж, рвали там васильки и бархатцы, плели из них венки, которые затем развешивали на кладбищенских крестах и на христианских распятиях на перекрестках дорог. Некоторые принимали самое деятельное участие в храмовых праздниках, колядовали под рождество, организовывали «плугушор»<sup>1</sup>, становились кре-

<sup>1</sup> «Плугушор» — коляды в канун праздника св. Василия, в канун Нового года.

стными отцами, кумовьями и кумушками. Некоторые забывали о своевременной уплате членских взносов, ссорились с председателями и секретарями сельсоветов, свою власть запрещали танцы и вечеринки в клубах...

Жалобы на таких деятелей ложились на стол Тоадера Фрунзе. Порою он не знал, что ему делать, кого привлекать к ответственности, за кого взяться в первую очередь, а за кого — во вторую. В отчаянии прибегал за советом к Шеремету. Тот выслушивал и, глядя подбородок, спокойно начинал говорить:

— А как же ты представлял себе молодых людей? Это же не старики, которые день и ночь валяются на лежанке или целыми днями просят на завалинках и теребят свои седые бороды!.. Молодежь, дорогой товарищ, заключает в себе огромную взрывчатую, нередко взрывоопасную энергию. Если ее вовремя не направить в нужное русло, она, эта энергия, может наделать таких бед, что мы с тобой с шумом вылетим из своих кресел... Речь, конечно, не о нашей с тобой участи. Но именно от нас зависит, чтобы молодая энергия была направлена на пользу общества!..

Совет, конечно, правильный. Тоадер Фрунзе и сам давал его своим подчиненным. Это делать не трудно, когда ты знаешь, что не получишь возражения. К тому же Тоадеру и возразить-то Алексею Иосифовичу, собственно, было нечего. Он же был прав, а к этому прибавлялась еще и большая власть, которой Шеремет располагал.

Алексей Иосифович, например, не раз указывал, чтобы Фрунзе не копировал методы партийной работы, а искал свой стиль, свой почерк, более подходящий для руководства комсомолом.

Тоадер был крестьянский сын. Как и его предки, он привык измерять все конкретными, наглядными мерами. Сидя у себя дома за ужином, он хорошо знал, что ест хлеб не напрасно, что за этот прошедший день он вышелушил целый ворох кукурузы, или прополот четверть гектара на огороде или на поле, или столько вспахал и посеял. Все это он сделал своими руками либо с помощью лошади. И все имело точную и конкретную единицу измерения. Все это он мог увидеть своими глазами, а то и потрогать руками: вот оно, сделанное мною! Поля, огороды, виноградник были как бы соучастниками его дел. Он мог с ними разговаривать, советоваться, улыбаться им так же, как и они ему. Разве не слышал он благодарного шепота кукурузы, которую только что избавил от злых сорняков! Дождавшись дождика, она умоется влагой, напоит досыта свои мощные корни и, чистая, стремительно пойдет в рост, радуя своего сеятеля густой зеленью и шириной своих жирных листьев, обещая ему возвра-

тить сторней то, что отдал он ей. Все это радовало сердце, веселило душу!..

Работа в школе и та казалась ему не столь уж абстрактной. Перед ним, учителем или директором, лежала школьная программа, которая к концу учебного года должна быть выполнена. По вечерам, возвратясь домой, он проверял тетради. На уроках решал вместе со своими учениками задачи, объяснял им правила грамматики и синтаксиса. Вначале открывались первые страницы учебников, постепенно подходили к первой четверти их объема, что совпадало с первой четвертью учебного года, и так до первых, вторых каникул и потом до конца года, к которому подходили шаг за шагом, как Фрунзе — к концу своей деланки где-нибудь на поле во время прополки.

В своей нынешней работе Тоадер Фрунзе испытывал почти физическую боль от того, что не мог увидеть своими глазами и потрогать руками, что им сделано за день, за месяц, за целый даже год. Иной раз — и это было не так уж редко — сделанное им приписывалось другим лицам или другим организациям. Выведет, скажем, своих комсомольцев на ремонт и расчистку стадиона, а рапорт в Кишинев о проделанной там работе отошлет заведующий отделом спорта при райисполкоме. То же самое получается и с организацией олимпиад, районных или республиканских. Если его ребята и девочки занимали на них высокие призовые места, лавры пожинали работники культурно-просветительных учреждений, там же помещались кубки, дипломы и разные грамоты. На долю райкома комсомола оставались хлопоты по организации всех этих «культурно-массовых мероприятий», мобилизация молодежи для участия в них...

Нередко его терзала и совесть. Он получает тысячу двести рублей в месяц, его неизменно выбирают в президиумы на разных районных конференциях, собраниях, активах. Но за что? За какие заслуги?

В первые послевоенные годы было легче. Ему давались определенные, вполне конкретные задания: собрать со своими комсомольцами столько-то орехов, столько-то яблок и груш для блокадных, истощенных детей Ленинграда. Тогда был план, который надлежало выполнить. Выполнив, ты мог быть счастливым, поскольку совесть твоя чиста. Даже сбор лекарственных трав, липовых и акациевых цветков приносил ему пускай небольшое, но все-таки удовлетворение. В последние же годы он мог испытать такое удовлетворение лишь после того, как комсомольцами района был разбит наконец парк. То было конкретным делом. Тоадер видел результаты своего и своих товарищей труда и был счастлив. Счастлив от того, что слышал перешептывание листьев на молодых деревьях, видел довольные лица горожан, отды-

хающих со своими детьми на аллеях нового парка. Но таких ощутимых, что ли, дел у Тоадера Фрунзе, как ему казалось, было очень мало. Истерзанный сознанием всего этого, он, по обыкновению, отправился как-то к Шеремету, чтобы излить перед ним больную свою душу. Тот внимательно выслушал его, подумал еще немного и сказал так, чтобы его воспитанник хорошенько запомнил:

— Я уже говорил тебе, Фрунзе, да ты это и сам знаешь: в наших селах до сих пор нет ни одной парторганизации. Кто же, кроме комсомольцев, будет там работать с людьми в такое сложное, трудное и ответственное время? Это не просто слова — вы действительно являетесь первыми помощниками партии! — Далее продолжал уже более спокойно: — Быть недовольным собой, страдать из-за того, что не всегда видишь результат своей работы, — это, Фрунзе, прекрасное чувство. И я рад, что оно у тебя есть. От наших с тобой дел, дорогой мой, не нельзя ждать немедленной, секундной отдачи. Садовник сажает деревце и затем ждет десять, а то и больше лет, чтобы оно стало приносить плоды. А мы ведь имеем дело с людьми, а не с деревьями. Настоящего-то человека, нового, нашего, советского, вырастить во сто раз труднее, дорогой мой!.. Но и радость твоя во столько же раз будет большей, когда ты увидишь, что доброе семя, брошенное тобою в душу юноши, дало дивные плоды!.. Так-то вот, мой милый! Но нельзя ждать этих плодов, как ждут у моря погоды!.. Нужно работать и работать. Работать и терпеливо ждать!.. Вот что от нас с тобою требуется, Фрунзе! А ты распустил нюни! Брось у меня это, понятно? — И, улыбувшись, Шеремет погрозил своему собеседнику пальцем. Закурив, неожиданно спросил: — Ты был хоть раз в санатории или в доме отдыха?

— Нет. Не приходилось.

— Вот видишь! А есть среди нас такие, которые по целым дням ничего не делают, но каждый год, аккуратно, месяц в месяц, отдыхают. Не страдая решительно никакой болезнью, они ездят на курорты, в санатории, чтобы лечиться. У себя на службе, в своих кабинетах томятся от ничегонеделания. С нетерпением ждут очередного отпуска, чтобы отправиться к морю по оплаченной более чем наполовину государством путевке. Эти не будут терзаться совестью. У них ее попросту нет. Ты, Фрунзе, хотел бы оказаться на их месте?

— Нет. Никогда не хотел и сейчас не хочу. Сказать честно, Алексей Иосифович, у меня и времени-то нету, чтобы разгуливать по домам отдыха. На мне — сессия, экзамены в педучилище. Да мало ли еще каких забот!..

— Я-то, положим, был на тех курортах, пил минеральную водичку. Куда денешься! Медицина ведь полагает, что там, в санатории,



Шеремет наберет побольше мяса на свои кости и тогда лучше будет везти свой воз, — сказал Алексей Иосифович, виновато как-то улыбувшись. — Но, видно, не в коня корм. Мясо на моих костях неросло. И вряд ли когда-нибудь нарастет! Для этого ученые эскулапы должны были бы подобрать для меня другую должность...

Поглаживая обеими руками стол, Шеремет говорил медленно, спокойно. Попутно слегка иронизировал над самим собой и над молодым своим товарищем. Над собью подсмеивался даже больше, и поэтому советы, которые все-таки он давал Фрунзе, не выглядели обязательными, а потому и не были скучными нравоучениями. Говоря, Шеремет как бы приглашал своего слушателя к совместному размышлению над сложными вопросами жизни.

— Знаешь, — оживился он опять, — почему я спросил тебя относительно санатория?.. А вот почему... Там ведь тоже можно встретить разных людей. Настоящего больного сразу отличишь от того, который, едва разместившись в санатории, бежит к нарядному киоску и покупает такую же нарядную фарфоровую плоскую кружечку с красивым краником... Продают там такие... Эти будут расхаживать потом по парку, среди роскошных южных деревьев, болтать языками и попивать потихоньку, потягивать из той кружечки минеральную водичку, — они и приехали-то не для лечения, а для приятного времяпрепровождения.

Случалось, однако, видеть там и по-настоящему больных желудком крестьян и рабочих. Я попал однажды в одну палату с колхозником, высоким красивым парнем из Ростовской области. В своем колхозе он работал шофером. Он был молод, статен и потому дамочки, искательницы мимолетных флиртов, так и увивались возле него, беззастенчиво старались заманить его в свои любовные сети. Одни без всяких обиняков говорили, что у них много денег, другие — о том, что имеют отдельную комнату в Пятигорске или в Минеральных Водах. Но парень не клонул ни на одну из этих приманок. Он подымался в пять часов утра, принимал ванну, добросовестно выпивал бутылку теплой, солоноватой и, в общем-то, довольно невкусной воды и до завтрака лежал в постели... Потом как-то сразу заскучал и через две недели сбежал из санатория. Перед тем признавался мне, что подыхает без дела, что и одного дня не может оставаться тут, где люди ничего не делают... Подлечился немного — и деру!.. Вот таких бы парней нам побольше, Фрунзе, а?! Советская власть могла бы гору свалить с ними!..

— Такие люди сами не рождаются...  
— Вот-вот. Сами не рождаются... Теперь, вижу, ты, Тоадер, понял, зачем я рассказал тебе

эту в общем-то обычную курортную историю. Нам-то как раз партией и поручено воспитывать для своей страны таких вот парней и девчат...

— Меня, Алексей Иосифович, вызывают в Оргеевское педучилище на экзамены, — сообщил как-то понуро Фрунзе.

— Когда? И надолго ли?

— Выезжать надо поскорее. На полтора месяца.

— М-да... Ну что ж — надо ехать!

— А на кого оставить райком комсомола? Я, Алексей Иосифович, пришел к вам еще и за советом.

— Понимаю. Может, утвердим Бурдюжу?

— Но он же агроном...

— Вот и хорошо!

— Не понимаю...

— Очень хорошо, говорю. Пришло, Тоадер, время, когда и на руководящих партийных и комсомольских постах должны быть специалисты. И притом не простые, а дипломированные!..

— Раньше требовалось, чтобы они окончили только партшколу.

— То было раньше, Фрунзе! Теперь и партийные-то школы коренным образом меняют свои учебные программы.

— То есть? Не понимаю опять...

— А что тут непонятного! Город и село все в большей степени насыщаются сейчас специалистами — инженерами, механиками, агрономами, зоотехниками. И если ты, руководитель, не будешь иметь хотя бы одну из этих специальностей, то ты не имеешь морального права командовать этими специалистами. Командовать-то, впрочем, будешь, но пользоваться у них авторитетом — едва ли. Понял, Тоадер?!

— Понял. Вот сдам экзамены — пошлите меня в партшколу с новыми этими программами!

— Ишь какой ты прыткий!.. А помнится, ты хотел стать математиком, когда просился в педучилище.

— Тогда в наших школах не хватало математиков, а историков — хоть отбавляй, и философов тоже!

— Да-а, ты прав. Философов многовато... — сказав это, Шеремет поднялся и подошел к окну.

К вечеру в городе, на улицах, становилось многолюднее. Приодевшись получше после работы, народ выходил на прогулку. Там и сям виднелись парочки, разгуливавшие под ручку. Характер и внешность провинциального местечка по-прежнему давали о себе знать. Парни и девушки покупали семечки, набивали ими карманы и на виду у всех с удовольствием лузгали, покрывая шелухой подметенные утром тротуары и аллеи парка.

Отвечая каким-то своим, очевидно, не самым веселым мыслям, Шеремет вздохнул и обронил:

— Учись, Тоадер... Учись!

3

Житейские тяготы объединяют людей. Когда трудно всем, разве что отъявленные эгоисты станут указывать на свои личные неудобства, жаловаться и хныкать. Порядочный же человек как бы вовсе забывает про себя и торопится подставить свое плечо под общую тяжелую ношу, от которой в конечном счете будет зависеть судьба каждого в отдельности. Люди знали, что как бы ни велики были свалившиеся на них и на их страну невзгоды, но они временны и преодолимы. Но не многовато ли свалилось их на голову одного поколения?! Война, объединившая всех под лозунгом «Все для фронта, все для победы!». Затем ужасающие разрушения, полученные от нее в наследство. Потом два года кряду страшной засухи, возродившие свежие еще в памяти людей слова: «фронт», «мобилизация», «битва», слова, зазвучавшие с прежней суровой и возбуждающей энергию людей силой, объединившие их для совместного отражения неумолимых стихий.

В обычные времена, не потрясенные ни войнами, ни социальными бурями, ни грозными стихиями, какие-нибудь две женщины в Кукоаре могли враждовать годами из-за сущего пустяка, из-за самой ничтожной мелочи, из-за перепутанных пустых и рваных мешков на мельнице, скажем. В засуху, в пору общей беды, ни одна из них не только не помнила о тех мешках, но не делала даже метки на новых, отдавала их на склад, не требуя возвращения. Женщины проверяли и латали мешки прямо в сельсовете; учителя, секретарь сельсовета и все, кто хоть мало-мальски был грамотен, день и ночь составляли те легендарные списки для распределения продуктов. Села превратились в бастионы для сражения с голодом; такие выражения, как «не могу», «у меня нет времени», «пусть пойдет другой», начисто исчезли из разговорного обихода. Мужики, которые по крестьянской своей природе должны были быть прижимисты, делились с товарищами по несчастью всем, чем только могли. Голод подобрал, подчистил живность чуть ли не во всех дворах. Желтели от горизонта до горизонта выжженные солнцем и оголенные суховеём нивы. Даже стойкие ко всем превратностям природы сорняки не выдержали двухлетней засухи — погибли и они. Только сурепка да желтый донник, которых ничем не проймешь, стояли от края и до края, усиливая ощущение накатившегося на людей страшного бедствия. Земля на полях отвердела так, словно ее зали-

ли каким-то рыжим цементом. Ни лошади, ни волю не могли ее потом поднять, вспахать. Даже присланные откуда-то из глубины страны трактора с трудом взламывали своими плугами эту новейшую, образовавшуюся всего за два года целину. Моторы ревели натужно, удушливо кашляли в наиболее трудных местах — их напряжение передавалось и трактористам, с которых ручьями стекал грязный пот. Сурепка и донник укоренились настолько, что их нужно было выкорчевывать, как выкорчевывают деревья в лесу. Их белые и желтые корни были так могучи, что напоминали редьку или кормовую свеклу. Весь народ, от мала до велика, выходил на поле, чтобы освободить его от вывороченных этих корней и подготовить для посева; когда кучи высыхали, появлялись школьники и сжигали их, переходя от копны к копне, и белесый дым стлался над всей степью, словно на ней расположились бивуаком какие-то кочевники. Бороновать такое поле было так же трудно, как и пахать. На глубоких бороздах, проложенных тракторами, на жестких и высоких гребнях перевернутой большими лемехами земли люди и животные спотыкались, падали, снова подымались, — и так от зари до зари.

В Кукоару прислали всего два трактора, которые то и дело приходилось ремонтировать. Но когда они были исправны, работали и ночью при свете фонарей и костров. Иссушенная на целый метр земля сопротивлялась отчаянно, но упорство людей, подчинивших себя единой воле, было сильнее ее, и работа, хоть и медленная, но продвигалась вперед.

Пока будет жив, Тоадер Фрунзе не забудет эти дни и ночи, этот посев озимых на родных полях Кукоары, на первой колхозной ниве. Дни уже по-осеннему хмурились, дым стелился по земле — отяжелевший от невидимой влаги воздух прижимал его, не давал подняться к небу; места, прихваченные изморозью, казались пустынными и сиротливыми, как заброшенное кладбище. Вороны, вещая перемену погоды, тревожно каркали. Откуда-то с немыслимой высоты неслись на землю жалобные клики перелетных птиц. Скворцы тут, на земле, собирались в большие стаи, чтобы в один день тоже покинуть родные края.

Но и в эту грустную осеннюю пору на сердце Тоадера Фрунзе — он это отчетливо чувствовал и слышал — начинали звучать совсем не грустные, скорее весенние, серебряные струны. Душа его была полна предчувствием весны, притом какой-то еще небывалой, невиданной. И это в то время, когда в его родительском доме испытывалась большая нужда почти во всем. Мать Тоадера, Катинка, ворчала с утра до вечера, и каждый кусок с трудом проглатывался за столом. Особенно доставалось от нее отцу. Костаке был совестливым человеком (жена на-



звала его глупцом и простофилей), он сдал в колхоз не только лошадей, но и все бочки. Катинка обнаружила это лишь тогда, когда приспела уборка овощей и винограда и когда надо было заготавливать на зиму соленья и вино. Кочаны капусты лежали и гнили теперь под крышей сарая, там же портились баклажаны, перец и огурцы. Непроцеженное вино оставалось в чанах, позанимствованных у мош Тоадера.

— Умные люди сдали в колхоз по одной бочке, а ты отпер туда даже бочонки!

Катинка была права. Для вступающих в колхоз обязательной была лишь сдача тяглогового скота да сельскохозяйственного инвентаря: плугов, борон, сеялок, повозок. При этом высказывалось пожелание, что неплохо будет, если ко всему этому люди присовокупят еще одну-две бочки для артельных нужд. Все так и сделали — привезли одну или от силы две бочки. Все, но только не Костак Фрунз. Этот вроде бы совсем забыл, что в его распоряжении остался участок виноградника, небольшой огород, сад, и в один прекрасный день переправил на колхозный двор всю свою деревянную тару. Свалил ее в одно место с плугами, боровами, сеялками, телегами, саями и прочим хозяйством.

— Теперь, когда захочешь борща, — строго отчитывала его Катинка, — сам будешь ходить с блюдом по соседям и просить капусты. А я не пойду! Живи по-цыгански!..

— Отвяжись ты ради Христа! Привезу я тебе эти бочки обратно!

— Привезешь?.. Когда?..

— Привезу, когда колхоз наберется силенок. Сейчас у него не хватает тары...

— А у тебя, знать, ее осталось пропасть?! Ты, может, скажешь, в чем я теперь буду засаливать капусту, огурцы, помидоры, перец?.. Может, у себя или у тебя за пазухой?

— Фу, черт!.. Какая же ты бестолковая!..

— Зато ты у меня очень уж толковый!.. Отвез все!.. Теперь я одна обо всем думаю!.. Жрать все хочите!.. Как чуть что — подавай вам соленья!.. Откуда теперь я возьму его для вас?! Откуда — скажи ты, разумный человек?!

О винограде Катинка беспокоилась меньше всего, поскольку вино для нее было пустым делом. Она пеклась о том, чтобы находилось зерно в сусеках, бобы и фасоль на чердаке, картошка, соленые огурцы и капуста в погребе — то, без чего нельзя было жить. От вина же для нее никакой пользы. До весны, то есть до того времени, когда оно поднимается в цене, его успеют выцедить мужики, бочки опустеют.

Пасмурным ходил по дому и двору и мош Тоадер. Он не вмешивался в спор, не поддакивал дочери, всегда считая, что женщине не сле-

дует совать свой нос в мужские дела. Но мысленно поругивал зятя:

«Ну вот, вот!.. Поставь дурака начальником — он все перетаскает из дому!.. Надо же — отпер все бочки и кадушки в этот колхоз! Ну разве не болван?!»

Сердитые эти слова так и этак переворачивались в его голове в то время, когда сам он нашаривал под крышей клепки, которые собирал годами и прятал там, вынимал летом только для того, чтобы поскоблить специальным фуганчиком. Теперь, извлекая из своего тайничка и обработав как следует, он выравнивал их одну к одной. Мош Тоадер явно решил выручить Костак, а потому и имел право покрикивать на него, делая заготовки для будущей деревянной посуды:

— Лупи!.. Бей по нему, коровья башка! Мне уж не хватает духу!

Костак возвращался домой усталым, но приказания тестя исполнял покорно: тот ведь в самом деле затевал новую бочку!

— Обручи я сделаю и без тебя — при дневном свете!.. И дно вставлю без тебя!.. Коровья башка!.. Чтоб не ходили твои щенки и не выпрашивали соленой капусты у соседей!..

Иногда дед Тоадер оказывался чрезвычайно понятливым и деликатным человеком. Он знал, что нехорошо все время тыкать человека в совершенную им нечаянно глупость. Ведь один только бог не ошибается, и то, если верить по-пам. А простой смертный не может прожить свою жизнь без ошибок. Это-то мош Тоадер хорошо знал. Потому и был иной раз чрезвычайно снисходителен к ошибающемуся, в особенности если им оказывался мужчина. Тут он мог сделать вид, что даже и не заметил ошибки. Скрипнет только зубами, покривится чуть — только и всего! К женскому полу он был при всех случаях повышенно строг. На этот счет у него была своя философия: «Мужик может ошибиться — тут беда невелика!.. А вот если баба принесет по ошибке тебе незаконного ребеночка в подол!.. Что ты тогда скажешь, коровья башка?!»

Может быть, еще и потому так строг относительно женщин старый Тоадер, что у самого него были одни дочери и он часто скрипел зубами и кривился от того, что не мог передать им своего искусства, своего ремесла. Не мог научить копать колодцы, просеивать зерно в решете, бондарничать и столярничать, выходить с ружьишком на охоту и многим другим важным в хозяйстве делам. А может быть, потому прежде всего, что натерпелся страху в пору, когда его дочери невестились и когда за ними нужен был глаз да глаз: ведь он, вооружившись берданкой, тайно подкарауливал их всюду, боялся, как бы они не опозорили его доброе имя, чем мош Тоадер дорожил больше самой жизни.

Так поступал до тех пор, пока не повыдал всех дочерей замуж.

Намаявшись с ними, он уж не мог быть к ним снисходителен. Особенно, конечно, к Катинке, которая, увернувшись из-под его стражи, убежала к этому недотепе Костаке и вскоре привела его к себе домой. Мало того что этот «булочник» не умел ни пахать, ни сеять, ни косить, он еще привез из города дурную привычку пить по утрам чай. Не скоро мош Тоадер примирился с этими несомненными пороками. Но все-таки примирился. А сейчас вот решил даже помочь зятю, вызволить его из беды, которую тот сам на себя навлек.

Костаке был рад тому, что его строгий тесть позабыл про свое решето и весь отдался бондарничеству. Сколотить бочку — дело не простое. Кроме умения, оно еще требует много времени, терпения и немалых физических усилий. Поэтому, выпавшийся или нет, но зять часами помогал старику в его тяжелой и одновременно очень тонкой работе. Старые клепки топорщились во все стороны, как лепестки дикого цветка. Следовательно, их надобно было исправлять, соединять вместе и всю эту операцию производить с помощью огня и воды в специальных ободьях, похожих на широкие и толстые колесные облучки. Для их изготовления требовались сильные, мускулистые руки, каковыми старик, конечно, уже не обладал. Не мог он, как в прежние времена, орудовать и тяжелым деревянным молотом, которым надо было колотить по железному обручу, чтобы клепки на нем не только соединились, но и приняли нужную для бондаря форму.

Чтобы не слышать ворчаний матери и ее попреков, Тоадер Фрунзе тоже задерживался во дворе и помогал дедушке и отцу. Все трое топорщились, потому что ссоры в доме возрастали по мере того, как росли горы овощей, доставляемых с огорода. Выслушивать брань Катинки было неприятно особенно сейчас, когда село заметно оживало, когда последствия засухи постепенно устранились и люди явно повеселели. Недавно созданный колхоз получил неплохой урожай. Поскольку хозяйство это было молодым, государство освободило его на год от хлебопоставок. Зерно теперь выдавалось на трудодни — по два килограмма на трудодень, а это совсем недурно! Новая жизнь вступила в Кукоару. Даже самые недоверчивые и упрямые мужики теперь говорили меж собой: «Эх, какими же дурнями мы были!.. Упирались, как те козы, которых тащат за рога на ярмарку... А вот только вступили — и на столе хлеб. Да какой хлеб!»

Три повозки с полными мешками, целый обоз, были отправлены на двор мош Саши-«китайца»: у его сыновей оказалось всех больше трудодней. Провожая глазами эти повозки, народ завистливо говорил:

— Целая гора мешков!.. Куда они их только будут девать! На чердак не положишь — потолок рухнет!..

Грудь распирало от радости, когда Тоадер Фрунзе слышал такие разговоры. Ведь и он кое-что сделал, чтобы в родном селе организовался колхоз! Если уж так заговорили несправимые, казалось, упрямцы, это чего-то значит! Впрочем, говорили они так лишь с наступлением темноты, словно боялись, что их кто-то услышит. Днем помалкивали, держали язык за зубами. Отверзали уста только ночью, когда давили виноград или вылущивали кукурузные початки. Чудаки! Разве они не знают, что в ночной тиши прохладный воздух далеко разносит любые, даже самые негромкие голоса. К тому же в такую пору в Кодрах ночью никто не спит — все копошится в своих дворах, как муравьи в муравейниках. Это в степных краях после того, как убраны хлеба, ты уже не услышишь ночною порой ни мужских, ни женских голосов — там села спят вместе с заснувшими, утомленными за летнюю страду полями. А тут, в лесной полосе, работа в самом разгаре. Селяне давят ногами в чанах виноград, у кого есть пресс, давят им и переливают вино в бочки, что стоят в погребах. Вино, как молодая кровь, кипит, играет в чанах, шибко ударяя в ноздри. Чуть ли не во всех дворах парни и девчата очищают лук и орехи. Там и сям тарахтят невидимые повозки. Отовсюду слышатся разухабистые песни. Дивной увертюрой к никем не написанной симфонии начинают звучать ведра, кружки, медные ковши, сдвигаемые стаканы! Народ бодрствует. Люди весело помогают друг другу. Гуртуются по возрастному признаку. Старики со стариками. Молодые с молодыми. Как раз в это время затеваются свадьбы, парни крадут девушек. Среди ночи вдруг покатится по селу барабанная дробь, взревет медными своими глотками трубы. Барабан первым выносятся из каба маре, чтобы возвестить миру о том, что свадьба перемещается со двора невесты в дом жениха или посаженного отца...

Надолго останется в памяти кукоаровцев и тот день, когда колхозникам выдавался хлеб. Площадка перед складами и общественными амбарами была полна народа. Девушки пришли с васильковыми венками на головах. Людям было очень весело. Тоадер Фрунзе собрал всех цыган-музыкантов, которые дули в свои трубы и орудовали смычками со всевозможным усердием. Нагруженная зерном телега уезжала от амбаров под звуки бравурного марша. А на первой из трех телег, направлявшихся к дому мош Саши-«китайца», был лозунг, написанный крупными белыми буквами на красной материи, а шеи лошадей были повязаны нарядными полотенцами.

— Если и после этого они не женятся, — воскликнула какая-то баба, когда обоз проез-



жал мимо ее двора, — то я уж не знаю, что с ними и делать! — она плюнула себе за пазуху, чтобы, очевидно, не сглазить сыновей мош Саши, не сглазить и колхоз, который отвалил им столько хлеба.

Только сами холостяки сохраняли спокойное достоинство. Они шли рядом с повозками молча, высоченные, как телеграфные столбы. Во главе этого красного обоза выступал мош Саши. Он был вообще высок, но сейчас казался еще выше, поскольку распрямил свою спину так, будто проглотил аршин. Он шагал, придерживая локтем сумку, которую принес еще с русско-японской войны и с которой он сам и его сыновья по очереди выгоняли скот на пастбище.

В следующую ночь раздача зерна была закончена, и Тоадер Фрунзе напился. Впервые в своей жизни напился так, что потом не мог припомнить, в каком дворе опрокинул в себя последний стакан. Во сне видел, что стоит на самом краю разверзшейся перед ним пропасти, земля волнообразно качалась под ногами, а голову сжимало виноградным прессом. Проснулся же не от страха, а от прикосновения нежной и теплой руки. Он открыл глаза и так испугался, что чуть было не закрыл их вновь — уже навсегда. В постели рядом с собою увидел Нину Андреевну, учительницу из Кукоари.

С трудом разомкнув веки и испытывая мучительную боль в висках, он скорее простонал, чем сказал:

— Ах, вон оно что... Ну что ж, давай сегодня же распишемся!

— Ты что же, расписываешься со всеми женщинами, с которыми ложишься в постель?

Эти ее слова, а более того ее смех больно стегнули его по голове, которая и без того, кажется, вот-вот развалится.

Как же, однако, он попал к Нине Андреевне? Несколько лет назад они вместе сдавали экзамены в Оргеевском педучилище, но тогда ему и в голову не приходило сблизиться с нею. Правда, они помогали друг другу перед экзаменами, валяясь на траве в одичавшем парке у каменоломни, за оврагом, от которого было хорошо видно здание училища, зубрили алгебру, химию, другие предметы. Иногда брали с собой еду и не уходили из парка до самой ночи. Рядом с ними, кроме учебников и конспектов, никого не было. Проверая друг друга, они задавали один другому вопросы, отвечали на них, закрепляя таким образом свои знания. Этим все и ограничивалось. В городе он не провожал ее даже до дому. По окончании экзаменов была устроена вечеринка, и теперь Фрунзе не помнил, танцевал ли он тогда с Ниной. Помнил хорошо, что танцевал, но не с ней, а с одной высокой красивой блондинкой, учительницей из Киперчень. С Ниной Андреевной они были счастливы оттого, что сдали все экза-

мены на отлично. Сдав последний экзамен (устный, по математике), она вылетела из классной комнаты, красная от радости, со счастливыми слезинками на ресницах. Пылая и дрожа, она кинулась на Тоадера и при всех стала целовать его. Это не понравилось парню. Он понимал, конечно, что девушка хотела отблагодарить его. Но не так же! Не хватало еще того, чтобы она вешалась ему на шею на виду у всех девчат и ребят!.. Ему, секретарю райкома комсомола!.. И кто вешался — комсомолка! Фрунзе холодно отстранил ее тогда и сам покраснел от досады. Был он к тому же не так счастлив, как эта Нина Андреевна, потому что допустил ошибку в сочинении. Оно было на тему романа Николая Островского «Как закалялась сталь» и писалось на молдавском языке. Так вот, вместо «оцэлул», что в переводе на русский означает «сталь», Тоадер написал «оцелул». Государственная экзаменационная комиссия разделилась тогда на два лагеря. Одни, считая эту ошибку совершенно ничтожной, настаивали на том, чтобы поставить Фрунзе «отлично», а классный руководитель, человек въедливый и по этой причине чересчур принципиальный, за арбитражем дошел до самого директора училища товарища Боровника. Последний тоже нашел, что было бы слишком жестоко портить весь табель учащегося из-за одной «совсем непринципальной», как он выразился, буквенной ошибки. И все-таки эта малая история немного подпортила настроение Тоадера. Он весь еще был там, среди спорящих из-за него, а эта чернявенькая и тонюсенькая «учителька», этот бесенок с претонкой талией лезет целоваться!.. Нашла время!..

— Ну, вставай же! — мелодично звучал сейчас ее голос. — Завтрак готов!

Он слышал ее, но плохо воспринимал из-за страшной головной боли. И все-таки упрямо твердил:

— Мы должны сейчас же пойти в сельсовет и расписаться!..

— А ночью ты говорил мне совсем другое.

— Ты что же, не согласна?

— Да. Завтрак вон стынет!

— Я с тобой... вполне серьезно!..

— Хорошо. Но только подымайся побыстрее!

— Ты что, спешишь?

— А ты не видишь?.. Меня на дороге давно ждет повозка.

— Куда ты собралась?

— Ночью я тебе сто раз об этом говорила!

— Все-таки — куда?

— Ты что, Тоадер, прикидываешься, смеешься надо мной?

Он с величайшим усилием повернул словно налитую свинцом голову. Увидел рядом на скамейке деревянный баульчик и потрепанную сумочку. Поверх лежал труакар — летнее паль-

тецо, а на нем — шапочка, связанная руками Нины Андреевны из белой шерсти цигайской овцы, смешанной с пухом ангорского кролика.

— Я уезжаю в институт, глупенький!.. Что, хмель еще не весь вышел из тебя? Хорош был ты вчера!.. Таким отважным я еще никогда тебя не видал!

4

Мош Тоадер не любил тратить время даром, хотя сейчас мог и не торопиться: двумя вязанками хорошей лозы можно было привить целый вагон саженцев. Ведь требовался всего-навсего один глазок, а в лозине их насчитывалось не меньше десяти. Одна только вязанка, принесенная здоровенным Василе Суфлецелу, равнялась почти что доброму возу.

Труднее было найти дикую лозу. Лишь случайно на чьем-нибудь участке могла оказаться пара кустов «американки». Да это и понятно: какой же настоящий хозяин потерпит, чтобы драгоценную землю занимал дикий куст? Он постарается поскорее избавиться от него, чтобы на том месте посадить культурный. Между тем дикий корень «американки» был крайне необходим для подвоя, без которого никак не обойдешься в прививке. И требовалось его гораздо больше, поскольку на один глазок «алигота» приходилось три, а то и четыре глазка «американки». Видя, как мучается руководитель колхоза, как почесывают затылки виноградари, мош Тоадер плюхался на землю и кричал, чтобы слышали все:

— Ну вот!.. Чешитесь теперь, бейте себя по дурной голове!.. Я вот н...л бы на тех американцев, коровьи они башки! Навезли нам этой пакости и погубили мои «эгихардэ» и «плэвая». А теперь я должен на карачках ползать по всем участкам и отыскивать эту гадость!.. Тьфу! Ни единого кустика не нашел!..

Мош Тоадер давно имел зуб на американцев. Историю виноградарства он знал не по книгам. Он принимал непосредственное участие в работе комиссий по борьбе с филлоксерой и был убежден, что виноваты во всем американцы.

— Они привезли нам эту заразу!.. Погубили наши виноградники!.. — бушевал Лефтер.

В молодости у него и вправду были неплохие виноградники. То было полсотни лет назад. Он хорошо помнит, когда они у него погибали, так как это совпадало с войнами. Сперва с войной на Балканах, куда он ездил на своих волах; потом с русско-японской и так далее. Любая война для мош Тоадера была временной точкой отсчета, календарем в его памятной голове. Но ни в русско-турецкой, ни в русско-японской войнах американцы вроде бы участия не принимали и по этой причине не могли не-

сти ответственности за гибель виноградников мош Тоадера. Очевидно, критику в их адрес он слышал в той комиссии по борьбе с филлоксерой и навсегда запомнил ее, а вообще-то и понятия не имел о далекой заокеанской стране. Это, однако, не мешало ему бранить американцев, винить их решительно во всем.

«Тёрн, эту клятую колючку, тоже они к нам завезли!.. — кричал мош Тоадер. — Табак, чертову эту отраву, тоже, коровьи они башки!..»

Чтобы поддеть старика, кто-нибудь напоминал ему, что картошку и кукурузу к нам привезли тоже из Америки, старик приходил в бешенство и со слегою от кроильного решета гонялся за человеком, сообщившим ему такую «ересь», норовя огреть невинного по спине. «Он будет еще меня учить! — ворчал старик во гневе. — Будто без него не знаю, откуда что завезено. Коровья образина!..»

Со своим виноградником он долго мучился. И все из-за своего упрямства. Вся Кукоара давно высаживала новые сорта: «корнишку», «кудерку», «зайбэр», «боршоайкэ», «райондор», «деливар», «кэпшуна», «корнэнягрэ» (этот имел четыре названия — «ноуа», «фраганыгрэ», «изабелла», «текучь»).

Только мош Тоадер продолжал цепляться за свои старые бессарабские сорта: «плэвая», «эгихардэ», «цырцырэ», «рарэ-нягрэ», «коаризэ», наверное, потому, что гроздь от них можно было всю зиму хранить на чердаке, подстелив ореховые листья. Лозу для этих сортов он брал у своего одноклассника — от Саввы Штефэнаке. Тому попался участок между лесными массивами, а лес был надежный сторож: филлоксеры боялась его как огня и обходила далеко стороной. Ни сам Штефэнаке, ни мош Тоадер не знали о такой спасительной роли леса, а потому и не могли понять, почему те же сорта винограда хорошо выживали у одного хозяина и погибали у другого. У Штефэнаке в данном случае все вышло по пословице: не было счастья, да несчастье помогло! У него не было земли в другом, более подходящем месте, и Штефэнаке вынужден был выкорчевать для себя небольшую площадку среди леса и высадить здесь виноградник. И тот пошел неожиданно хорошо. Савва получал по два-три ведра с каждого куста. Сорта же были самые древние, дедовские, как называл он их сам, и подвязывались к длинным жердинам — тычкам, на которые Штефэнаке не скупился: лес-то рядом!

Мош Тоадер приходил сюда и с завистью смотрел на участок Саввы. Потом с новою силой брался за свой виноградник. Чего только не делал, чтобы он был у него не хуже, чем у этого Саввы! Осенью выкапывал широкие и глубокие ямы, в каждую из которых можно было бы упрятать двадцативедерную бочку. Ямы эти доверху набивались снегом, который по



весне оставлял после себя по колено талой воды. Мош Тоадер целыми днями, с утра до ночи, возил туда на тачке коровий навоз, бросал по две-три лопаты на дно каждой ямы и только потом укладывал свернутую в колесо спелую лозу, взятую на винограднике Штефэнаке. В завершение засыпал этот обод черноземом. Весь день ходил черный, как трубочист, а вечером мылся и полоскался в десяти водах: мош Тоадер, как известно, был великий чистюля. Мойся, он и тут продолжал ругать американцев, занесших сюда эту заразу по имени филлоксера. Хлопоча на своем участке, старик забросил решето, сердито выпроваживал со двора односельчан, которые пришли просить его просеять зерно; столь же строго поступал и с теми, кто просили его выбрать место для нового колодца. Бедняга страшно исхудал, потому как питался «хвостиком селедки», который поминался им чуть ли не во всех его речах, а жажду утолял вином. В последующие годы все это повторялось — рытье ям, сворачивание виноградных лоз в обручи, вывозка навоза и чернозема, закапывание ям, а результат получался ничтожным, ибо злющая филлоксера тоже не дремала, а неутомимо делала свое худое дело.

Тоадер Лефтер сражался с нею без малого десять лет. Сперва он и его приятель Савва Штефэнаке думали, что виною всему какая-нибудь тварь, вроде медведки, которая завелась и размножилась в корнях. В поисках разбойницы они копались в земле, как кроты, но никого и ничего не находили. Между тем виноградные кусты продолжали желтеть и медленно умирать. Листья жухли и высыхали, обнажая зреющие гроздья. Поняв наконец, что ему не победить врага-невидимку, мош Тоадер плюнул на все, махнул рукой на свой несчастный виноградник с дедовскими сортами и переключился было на французские. Но и с этими дело не пошло. Отбранив как следует теперь уже французов, он весь свой участок отдал под более надежные и урожайные гибридные сорта, на которых и остановился.

Теперь приспели новые хлопоты, ничуть не меньшие, но только уж не со своим, а с колхозным виноградником. Дикую лозу для прививок приходилось искать, как редкие лекарственные травы. Куда легче было с саженцами для фруктового сада. Вокруг Кукоары были леса, в них тьма-тьмущая дичков яблонь и груш. Выкапывая их, переноси на культурную плантацию, прививай любые сорта, и через шесть-семь лет будет великолепный сад. Тут особых трудностей не возникало, гляди только не заблудись в лесу. На старых виноградниках, конечно, нельзя было заблудиться, но найти нужную лозину так трудно, что не передашь и словом. Иногда мош Тоадеру и баде Василе требовался целый день, чтобы разыскать нужный

куст. Найдя, они приседали возле него и, наверное, в эту минуту походили на людей, которым где-то в дальневосточной тайге посчастливилось набрести на корень женьшеня. Срезали лозу и очищали ее с чрезвычайными предостережениями, чтобы ненароком не попортить ее: советские банки могли ссужать деньги, но не обходимыми саженцами не располагали, чтобы снабдить ими новые колхозы.

А району подавай сводки. Подавай днем и ночью. Сводки, сводки и еще раз сводки!.. Выполнил, не выполнил работу, а сводка должна быть. Черт дернул Костак Фрунзе согласиться возложить на себя еще и обязанности председателя колхоза! Сидит теперь у телефона и что-то бубнит в трубку, называет какие-то цифры...

«Он в своем-то доме не может навести порядок! — думает про него мош Тоадер. — Заставь дурака богу молиться, он весь лоб расшибет. Так и этот — отпер в колхоз все бочки... Капусту не в чем посолить... Ну и зятек!.. Такому ли брать на себя весь колхоз!.. Тьфу, коровья башка!..»

Наступил день, когда мош Тоадер и баде Василе вернулись из своих поисков ни с чем. Баде Василе не очень огорчился, бормотал что-то невнятное про известь да кирпич, но старик вел себя совсем иначе: воткнул «руки в боки», будто собирався сплестись казачка, потом надулся и громыхнул своим басом на всю плантацию:

— Н...ть мне на все! Если овца не окотится, брынзы не будет!..

Колхозники засмеялись. Было обеденное время, и каждый из них присел у своего полотенца, на котором была разложена еда и стоял кувшинчик с вином. Захолодало. В воздухе замельтешили снежинки. Людям захотелось поскорее согреться, подкрепить свои силы. Они приглашали и мош Тоадера разделить с ними трапезу, выпить глоток вина. Но тот, стоя поодаль в своих обляпанных грязью ботинках, сердито отмахнулся и принялся костерить всех, кто, по его убеждению, был виновен в сегодняшней их неудаче. Сперва досталось американцам, затем французам, а под конец «булочникам», то есть всем городским властям из райцентра и даже Кишинева. Для характеристики первых, вторых и третьих у него как-то быстро подбирались особо хлесткие слова. Не пощадил и своего зятя, который, по выражению мош Тоадера, полез очертя голову в бочку, в какой не было ни обручей, ни клепок, — под такой бочкой разумелся, конечно, молодой колхоз.

Никто не знал, когда бы закончилась эта стариковская брань, если б не одно явление, которое заставило мош Тоадера остановиться где-то на полуслове да так и застыть с открытым настежь ртом. Едва успели приземлиться последние редкие снежинки, на горе, в сол-

нечных лучах, успевших уже подзолотить чубатые макушки деревьев в лесу, показалось некое чудище. Оно двигалось по вершине холма, по кромке горизонта, и было красно-оранжевым, будто прихватило с собой большой кусок уплывающего на закат светила. Мош Тоадер глядел на странную эту колесницу и силился понять, что бы это могло быть: врожденное любопытство требовало немедленного утоления! По мере того как огненный, клочковатый какой-то шар все более приближался, становилось очевиднее, что это не что иное, как огромный воз виноградной лозы, влекомый парой лошадей.

— Кто бы это мог быть? — терялся в догадках старик.

— Разве ты, мош Тоадер, до сих пор не узнал? Это ж Георге Негарэ.

— Молодец. Сдержал-таки свое слово!

— Это что еще за новости? — и тут огневился мош Тоадер. — Чего это вы тут без меня придумали?

Ему никто не ответил. Мужики по-прежнему переговаривались меж собой:

— Значит, он не просто хвалился...

— Как видишь. Везет вон!

Все забыли про еду и про вино на своих полотенцах.

— Да скажите ж, коровьи вы образины, что он везет?! — взмолился старик, больше злясь на свои старые глаза, чем на мужиков.

— Дикую лозу, мош Тоадер.

— Откуда?

— Из Сэсен.

— А как он туда попал, в эти Сэсены?

— Он теперь там работает, мош Тоадер.

Мы исключили его из своего колхоза, а он, видишь, тянется к нему.

— Исключили?! — заорал старик. — Да вы что, с ума все посходили, коровьи башки? — кричал так, а в голове, наверное, у него было: «Исключили, не посоветовавшись со мной! Ничего, — думал он далее, — дома я такое закачу своему зятю, что он долго будет помнить! Выгнать из колхоза человека, который сейчас вот спешит этому колхозу на выручку!.. Припер целый воз дикой лозы!.. И это в то время, когда они с Василе тратили целый день, чтобы найти хотя бы один кустик!..»

— В Сэсенах, — пояснил кто-то, — были боярские виноградники. Там, говорят люди, осталось очень много дикой лозы. Георге Негарэ, наверное, и занялся ею...

— Занялся! — передразнил дед. — А вы за это выперли его из своего колхоза!..

— А что поделаешь, дедушка!.. Негарэ оказался в списках на выселение...

— Тьфу!.. Вас бы, дураков, всех до единого надо в тот список!.. Все равно от вас проку, как от козла молока!.. Коровьи вы образины!..

Собственно говоря, формально Георге Негарэ оставался колхозником. Не было и собрания, на котором он мог бы быть исключен из колхоза. Дом его, правда, реквизировали. Одежду, обувь, ковры, постельное белье, посуду, муку и прочие припасы забрали с собой Ирина, их младшая дочь, и мош Пэтраке. Георге Негарэ осталась старая изба во дворе. Но он даже не заглянул в нее. Вернувшись из района, где пытался найти защиту для себя и своей семьи, он поселился у Василе Суфлецелу, который доводился ему родным племянником. И не только племянником: Георге Негарэ взял его в свой дом сиротой, вырастил, женил, был посаженным отцом на свадьбе, так что теперь имел моральное право найти для себя, хотя бы временно, кров и пищу у этого человека. Баде Василе не обижал его, но Георге Негарэ был не тот человек, который мог спокойно кормиться с чужого стола и жить под чужой крышей. Его редко видели в доме Суфлецелу. Поставленный в трудные обстоятельства, он должен был подумать, как из них выкрутиться. А этого не сделаешь, если будешь сидеть сложа руки в гостеприимном доме племянника. Чужой кусок застревал в горле, а своего не было. Правда, Негарэ что-то причиталось на трудодни, которые успел заработать в колхозе. Но расчет там производился поздней осенью, перед самым Новым годом, а до этого можно и околеть с голоду. Совесть не позволяла Негарэ жить за счет племянника, у которого была куча детей. К тому же Георге не привык находиться в зависимости от кого бы то ни было, не хотел, чтобы кто-то глядел ему в рот, когда он будет есть. Нужны были и деньги, без которых не съездишь в Москву за правдой. Словом, все клонилось к тому, чтобы податься куда-то на заработки.

Сперва он устроился на промкомбинате, в цехе, изготовляющем черепицу и кирпич в черте города. Но поскольку не имел соответствующей квалификации, зарабатывал очень мало, а в городе решительно все нужно было покупать за деньги. Комбинат иногда не выполнял план, в этих случаях зарплата рабочим задерживалась. И Георге Негарэ решил расстаться с этим предприятием. Его, правда, уговаривали, просили остаться, уверяя, что скоро он сам станет неплохим мастером. Но он настоял на своем: получил расчет и подался на виноградные плантации «полковника» — так в народе называли Сэсенские виноградники. Сам полковник давно убежал за Прут, на его плантации был создан виноградарский совхоз, но прежнее название укоренилось настолько, что не скоро исчезнет, как, скажем, не исчезает имя Елисеевского магазина на улице Горького в Москве. Заработки в совхозе были не больше,



чем в промкомбинате, но еда оказалась лучше и дешевле. Тут не надо думать о паспорте, о квартире, об общепитовской столовой. Захотелось поесть винограда — ешь на здоровье, сколько твоей душе угодно; захотелось полугатать семечек, сворачивай шею подсолнуху на поле и лузгай, пока не запенится на губах; захотелось поскоблить зубами кукурузный початок в пору молочной его спелости — пожалуй-ста, иди на то же поле, выламывай его, раздевай, срывай шелковистый, золотистый его покров и лакопись вволю!.. Никто тут тебе и слова не скажет, не будет обшаривать твоих карманов, выворачивать их и обнюхивать. Можешь те же початки принести домой, отварить их или поджарить — на здоровье! Работаешь на винограднике — ешь виноград; на кукурузе — ешь кукурузу. Послали на орешник — кушай орехи в свое удовольствие, в саду — черешни, яблоки, груши. Захотелось мяса, иди в совхозный магазин и покупай килограмм за полцены в сравнении с городским магазином; к праздникам поросят забивали исключительно для рабочих совхоза...

— Все было бы хорошо, Василе, но устаю от дорог, — говорил Негарэ, — старость — не радость...

Виноградники, сады и поля совхоза далеко от села. Летом можно было оставаться там, устроившись на ночь где-нибудь в шалаше или сторожке. Но с наступлением холодов приходилось возвращаться в село. Сперва Георге Негарэ делал это ежедневно, но потом нашел себе прибежище в небольшом украинском хуторке по имени Баховка: он находился ближе к совхозным угодьям. Кукоаровский изгнанник быстро подружился с его жителями, которые тоже почти все работали в совхозе и, естественно, хотели, чтобы и их земли отошли к этому совхозу. Баховку от Сэсен отделяла лишь маленькая, похожая на ручей речушка, протекающая по равнине Кулы, так что вопрос об их объединении напрашивался сам собой. Но сделать это было нелегко. По речушке проходила граница между двумя районами, причем Баховка находилась в Теленештском районе, а Сэсены кочевали по трем районам: то они окажутся в Бравичском, то в Каларашском, то в Оргеевском. Для директора совхоза это было настоящей бедой. Только привыкнет к одним руководителям и к одним дорогам, как приходилось переключаться и на других начальников, и на другие дороги, а заодно постоянно менять печати, штампы, переоформлять банковские документы. Были и другие неудобства, вытекающие из того, что часть совхозных виноградников находилась на баховских землях. По логике вещей и виноград должен был принадлежать баховцам, но его собирали рабочие совхоза. На этой почве возникали разного рода недоразумения, тяжбы. Хорошо знавшие русский язык хуторяне

строчили свои жалобы во все концы, справедливо указывая в них на существующую путаницу, которой давно бы надо положить конец.

Георге Негарэ мало тревожили эти споры, да он в них и не вмешивался. Весь он сосредоточился на том, чтобы поскорее заработать побольше денег и поехать в Москву со своей собственной челобитной.

В свободное от работы время с помощью одного хуторского грамотея он составлял новую жалобу. Прежняя, написанная Тоадером Фрунзе, была очень пространной, и кто-то посоветовал Негарэ написать покороче, ибо высокие начальники не имеют времени, чтобы прочитать длинное послание. Ведь не один Негарэ обращается к ним со своими прошениями да жалобами. Таких тысячи, а может, и того больше, а Сталин один, у него такая большая страна, что и всей его жизни не хватит, чтобы он мог прочесть все, что ему посылают. Эти доводы Георге Негарэ показались весьма убедительными, потому-то он и принялся за сочинение новой бумаги. Одновременно с ним украинцы тоже написали заявление, в котором просили товарища Сталина поскорее перевести их в совхоз. Район их не интересовал, они соглашались на любой, лишь бы находиться при совхозе. Их заявление должен был отвезти тот же Негарэ, поскольку он все равно будет в столице, причем хуторяне даже готовы были взять на себя расходы на дорогу. Поторапливая его, угощали вином, всячески умасливали. Но советливый Негарэ не мог отправиться в долгий путь раньше, чем совхоз не управится с уборкой кукурузы и винограда: ему ведь доверили повозку, выдали под его ответственность лошадей, — мог ли он бросить все это? Когда виноград и кукуруза были наконец убраны, баховцы вновь надели на него: поезжай же ради господ бога! «Ладно, — сказал он, — поеду, но только сначала наведаюсь к своим землякам в Кукоару. Что-то у них там не ладится с разбивкой нового виноградника! Так и быть, подброшу им воз американской лозы. Обещал. Отвезу, куплю себе новый ватник, оденусь потеплее — и в путь. Сразу же пойду на станцию в Калараш».

Дорога до Калараша Негарэ была хорошо знакома. Знал он, куда подаются такие жалобы и там, в Москве. Обрадованные тем, что Георге Негарэ, кажется, всерьез собирается в путь, украинцы нашли для него пару валенок и почти новую фуфайку. Она только немножко была залита вином. Примерили на нем и, убедившись, что фуфайка пришлась их посланцу как раз по фигуре и понравилась ему, решили помочь Негарэ и в другом. Несмотря на воскресный день, нагрузили ему воз тех виноградных кустов и даже подсунули снопик уже готовых совхозных саженцев. В таком снопике их было не меньше ста штук. Трехлетние, здо-

ровые, с мощными корнями... У Георге Негарэ мелькнула даже грешная мысль: вот бы такими нагрузить весь воз!.. Однако дареному коню в зубы не смотрят. Спасибо им, добрым хохлам, и за этот сноп, и за то, что помогли ему навьючить такой возище!.. В совхозе вместе с Негарэ работали и другие кукоаровцы. Но они люто ненавидели колхоз, а потому и не могли быть союзниками Негарэ, не пособляли ему грузить лозу. Они покупали в совхозе цемент якобы для того, чтобы построить свои дома и навсегда осесть в Сэсенах, но этого не делали, а в зимнее время изготавливали черепицу и сбывали ее на сторону за большие деньги. Их-то и прозвал народ «черепичниками». Весною, летом и осенью работали в совхозе — денежки текли в их вместительные карманы непрерывно в течение всего года. В большинстве своем молодые, сильные, энергичные, они почти ежедневно после работы уходили домой, в Кукоару, к своим женам или невестам. Это были не обязательно кулаки, которым колхоз не мог нравиться из классовых, так сказать, соображений. Среди них находились и середняки, и даже бедняки (последних, правда, гораздо меньше). Но это были хитренькие мужички. Их вполне устраивала бы вот такая жизнь: сам я, глава семьи, подрабатываю на стороне, выколачивая там кучу денег, а жена с детьми остается в собственном доме, в Кукоаре, на своем земельном участке, при своем винограднике, саде и огороде. Быстро разбогатев, люди эти возводили на селе новые избы, такие светлые и просторные, что в них могла бы разместиться школа. Сделавшись состоятельными, крепенькими хозяйчиками, они, конечно, ничего хорошего не могли ожидать для себя от колхоза, а потому и не были заинтересованы в том, чтобы он, колхоз, укреплялся и укоренялся в их родном селе. Мог ли Негарэ после всего сказанного рассчитывать на помощь таких земляков? Разумеется нет.

«Ну и черт с ними, — решил Георге, — дай-те только мне выручить, вернуть семью, я покажу вам, где раки зимуют! Я за вас возьмусь, всех выведу на чистую воду — у меня никто не укроется!.. Сперва вы, поганцы, дезертировали из Красной Армии, теперь дезертируете из колхоза. Как вас только земля держит!.. Ну ничего, это долго продолжаться не будет!..»

Людей, которые живут нечестным трудом, Георге Негарэ прямо-таки презирал. Законы ведь, рассуждал он, пишутся для всех и для всех обязательны. Но закон, оказывается, не писан не только для дураков, но и для жуликов, которые легко могли обойти любой закон. Возьми-ка, к примеру, за руку этих «черепичников» и посади на скамью подсудимых — ничего у тебя из этого не получится. Цемент они покупают на свои деньги, черепицу изготавливают на своем дворе, в сених или под поветью,

в палисаднике, на завалинке; делают ее собственными руками, а не наемными... Все вроде бы по закону... Тем не менее (во всяком случае, он, Негарэ, глубочайше был убежден в этом) все они настоящие мошенники, кровопийцы, клопы вонючие, вошь на здоровом теле народа!.. Накипы!..

...Погода, как всегда поздней осенью, была переменчива. Солнце то выглядывает из-за тучи, то опять надолго скроется за ней. Когда оно покажется, тебе на минуту вновь улыбнется весна; когда же спрячется, рубаха сжимается от холода и самого тебя сжимает, как ледяным обручем.

Негарэ вспотел. По склону Кравэца ему приходилось спускаться, изо всех сил удерживая лошадей под уздцы. Одна рука была у высоко задранных лошадиных морд, а другою он вцепился в дышло; ногами упирался в землю, притормаживая ими. Склон был чрезвычайно крутым, и, не прими возница таких мер, лошади помчали бы так, что все бы полетело ко всем чертям, как не раз случалось тут не с одним мужиком. К счастью, воз, нагруженный легкими, в общем-то, снопами виноградной лозы, напирал на лошадей не настолько сильно, чтобы они взбеленились. Негарэ опасался скорее другого — он боялся, как бы побочный ветер не подхватил его возок снизу и не опрокинул его. Словом, от физического перенапряжения, от страха Негарэ измучился так, что ноги и все его тело дрожали, как от сильного приступа лихорадки, а по лицу пот скатывался прямо-таки ручьями.

Наконец он остановил лошадей прямо возле землянки, где расположились прививщики. С помощью баде Василе и, разумеется, под строгим наблюдением мош Тоадера он быстро разгрузил фуру. Негарэ тыльной стороной ладони сдвинул шапку на затылок, и с его открытого мокрого лба повалил пар.

— Пребольшое тебе спасибо, капитан Георге! — вымолвил растроганный баде Василе.

Но его тут же одернул мош Тоадер:

— От твоего сухого «спасибо» только еще больше зацарапает в горле, коровья башка!..

Мош Тоадер отстранил локтем напарника и выступил вперед со своей флягой. Он успел нагреть вино на огне и сдобрить его перцем: лучшее средство от простуды!

— Эй вы, кроты?! Что сидите в землянке?.. Тыфу на вас!

Ветер усилился. Откуда-то сверху косо летели на землю сухие снежинки, будто в небесах провенявали только что выпелушенную кукурузу. Такой снег шел обычно только при трескучих морозах, когда трещат стволы деревьев и под ногами слышится хруст снега, как хруст замерзших капустных листьев. Ветер завывал где-то высоко, гнал, как отары перепуганных овец, стаи темных туч, а тут, на земле, сумас-



пешшие, катились куда-то шары перекаати-поле. В землянках и других помещениях виноградарей гудел в печурках огонь и висела влажная теплота, как в бане. От ящиков, куда укладывались только что привитые саженцы, распространялся характерный запах подогретых опилок и кислотный дух виноградной лозы.

— Значит, собрался-таки в дорогу?

— Да, еду! — решительно ответил Негарэ.

— Поехал бы и я с тобой, но слаб на ноги и на глаза стал, — вздохнул мош Тоадер. — А ты езжай, езжай поскорее, сынок!..

Баде Василе хорошо угрелся и душой и телом. Мош Тоадер и его угостил из своей баклажки, да и другие, разливая вино, не обносили его. Только «китайцы», сыновья мош Саши, не принимали участия во взаимном этом угощении. Как и всегда, они сидели в сторонке, харчили отдельно от других в своем уголке и выпивали там бутылку своего же вина. Удивительно, что и они были сейчас в землянке. А могли бы остаться и там, наверху, поскольку никакой холод им не страшен. Здоровенные, они хорошо одеты и обуты, великолепно откормлены. Никто не видел, чтобы «китайцы» когда-нибудь продали кусок мяса или стакан молока, хотя ежегодно забивали кабанчиков, держали хорошую корову и немалое количество овец, кур и другой живности. Оказывается, не холод загнал их сейчас в помещение, а желание немного развлечься. Колхоз купил недавно и привез сюда радиоприемник. Деревянный ящик не умолкал ни на минуту. Из него неслась то музыка, то человеческие голоса, рассказывающие обо всем, что происходило в мире. И название у приемника было трогательно-приманчивым — «Родина». Одна такая «Родина» была здесь, на плантации, а другая — в сельском клубе. Сыновьям мош Саши больше всего нравилась народная музыка. Когда ее мелодия начинала литься из чудо-коробки, они прекращали есть и, затаив дыхание, слушали, широко раскрыв рты...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Зимой баде Василе становился таким белолырым, что походил на напудренную девушку. Даже когда бывал небрит, то сквозь густые черные волосинки просвечивалась белизна кожи. Это когда смотришь на него вблизи. А издали казалось, что он надел на себя черную маску. Борода его по черноте могла сравниться разве что с вороновым крылом. Из-за нее мош Тоадер и прозвал баде Василе харапом<sup>1</sup>. От

<sup>1</sup> Харап — черная борода.

кого он унаследовал эту масть — от отца или от матери, никто уж не помнил. Он потерял родителей, когда был еще неоперившимся птенцом. С войны вернулся без одной руки, но вполне упитанным. Неурожайные годы и связанный с ними голод быстро повысосали из него жирок. Воротник гимнастерки, с которой он долго не расставался, сделался вдруг таким широченым, что шея баде Василе болталась в нем, как детская нога в немецком голенище. При всем при этом мужик не чувствовал в себе физической и другой какой-нибудь немощи. Трудился он много и на почте, и на поле, и у себя во дворе. Каждый день ходил от дома к дому с большой кирзовой сумкой, битком набитой газетам, книгами, журналами, письмами. За почтой в район по большей части хаживал пешком, потому что обещанная ему колхозом повозка всегда употреблялась на какие-то более важные дела. Один забирал ее, чтобы привезти мешки с мельницы, другой — чтобы подобрать в лесу заготовленный к зиме хворост, третий — еще для чего-то. Баде Василе оставался без транспорта. Ему советовали, чтобы он воспользовался попутным, тем, что отвозит молоко на маслозавод. Несколько раз он так и поступал — забирался на бидоны и ехал. Чаще же всего ему не хватало терпения (человек, которому поручалось отвозить молоко, собирался в дорогу очень долго), и баде Василе отправлялся в путь древним и, кажется, самым надежным способом, которым пользовались пилигримы, то есть пешком. В город шел налегке, а из города с довольно увесистой ношей; почтальонская сумка перекосила его плечи еще больше, а заодно и оставила на его костях, кажется, одни жилы. Неизменными у него были лишь цыгански-черные волосы на голове да борода, похожая на маску. Ни в этой бороде, ни на голове даже через увеличительное стекло не найдешь ни одного седого волоса. Иногда даже думалось, что почтальон смазывает их гуталином.

Баде Василе был явно доволен нынешним своим положением. И причиной этому стали, конечно, книги. Они выдавались ему для продажи. Оказалось, однако, что баде Василе был отличным читателем и совершенно никудышным продавцом. Прежде чем заняться торговлей, он прочитывал всю литературу сам, затем выдавал ее под честное слово девушкам из колхозной бухгалтерии; те, прочтя книги, отдавали их под такое же честное слово еще кому-нибудь. Возвращалась (если вообще возвращалась!) литература к почтальону в таком состоянии, что найти покупателя на нее было уж очень трудно. Самыми активными читателями баде Василе, кроме него, были сельские девушки, в особенности Мэриунэ Пэдурару. Однажды почтальон спросил ее:

— Правду говорят, что ты выходишь замуж?

— А почему бы мне не выйти?

— Не хочешь, значит, ждать Митрю?

— А сколько можно ждать его? Четыре года ждала — хватит!

— Стало быть, невтерпеж?.. Хе-хе... — И баде Василе потянулся к Мэриуэ единственной своей рукой.

— А ну, брысь, старый бесстыдник!.. Гляди, а то и эту лапу тебе оттяпают!..

Суфлецелу не был бабником, но имел не самую невинную привычку щупать девчат. Ему, видите ли, нужно убедиться, поспели ли ее грудочки, не пора ли искать для девушки жениха. Делал он это весьма бесцеремонно, при всем честном народе, а потому и получал немедленно соответствующую плату. Например, юные бухгалтерши из всех сил били по блудливой его руке, иной раз толкали так, что баде Василе кубарем катился из угла в угол в просторной правленческой избе.

Они пытались вразумлять его и словами:

— Эх, баде, книги читаешь, а как был неотесанным мужиком, так им и остался!..

— Книжки... В них-то, девчата, все дело. Сами, поди, видели, сколько там про эту самую любовь написано!

— У вас же, баде, полна изба детей!

— Ну и что с того?

— Детей много, а стыда ни капелюшки. Вот бы поглядела жена на ваши проделки!..

— При чем тут жена!.. Возьмите мышь, тварь поганая, а и то одной норкой не довольствуется... Хе-хе...

— И вы, видно, как та мышь, поганец!.. Прочь отсюда!.. Не мешайте нам работать!..

— Правда, баде, убирайтесь поскорее от греха. Вон, кажется, идет ваша Аника!..

— Уматывайтесь, старик, поскорее, а то придется искать и мышиную, и змеиную норку, чтобы спастись от ее кочерги!..

Баде Василе не верил девчатам, но на всякий случай подходил к окну. Маленькая и ершистая, как воробушек, Аника и вправду иногда приходила, чтобы проверить, чем занимается ее супруг в правлении колхоза. Совершала свой неожиданный налет не из-за ревности, а просто хотела забрать бездельника и привести на свой двор, где его всегда ожидала кананибуда работа. Аника полагала, что лучше, если баде Василе займется этой работой, чем будет сидеть над книгой или донимать девушек из бухгалтерии.

В тот день его увел от них мош Тоадер Лефтер. Старик прослышал, что Василе получил какое-то послание от раскулаченных, и захотел поскорее узнать, нет ли какой весточки и от его брата Пэтраке. Если не от него самого, то, может быть, кто-то упомянет о нем в своем письме: ведь баде Василе приходилось не только разносить письма, но и зачастую

прочитывать их, поскольку в Кукоаре многие еще оставались неграмотными.

То было не первое письмо от высланных. Приходили письма и раньше. Одни — из Читинской области, другие — из Бурят-Монголии. Адресовались они родственникам. Но Пэтраке почему-то молчал, и это очень угнетало его старшего брата. Сейчас мош Тоадер узнал, что на почту пришло еще одно письмо, направленное Профиром Коркодушем не родственникам, а именно ему, баде Василе Суфлецелу.

— Вот... вот!.. Так и знал!.. Получил известие, а сам сидит и болтает с глупыми девчонками, коровья башка!..

— Вам-то я прочитаю, мош Тоадер! — затопился почтальон.

— Я, можно сказать, умираю от нетерпения!.. Сердце шипит, как на сковородке!.. А он шашни разводит с девчатами!.. Тьфу!..

— Сейчас, сейчас читаю!..

Они вышли из бухгалтерии, спустились по ступенькам одной лестницы и направились ко второй, которая была у другого выхода. В просторном доме размещались два учреждения. В одном его конце находились кабинет председателя колхоза, бухгалтерия, небольшой зал для заседаний правления, а в другом — кабинеты председателя и секретаря сельсовета, участкового милиционера и небольшая комнатка для почтальона.

— Ишь ты, коровья башка!.. Есть, значит, и у тебя кабинет!

Дверь в этот «кабинет» была обита жестью. За ней — вторая, сделанная из железной решетки. Обе двери запирались на замок. Кроме того, на каждой было еще по одному засову, широченному, как солдатский ремень. Засовы на внутренней, решетчатой, двери тоже замыкались замком весом не менее двух килограммов.

— Ишь забаррикадировались, начальники! — проворчал мош Тоадер.

Баде Василе между тем открыл и ставни, так как в комнате было темно, как в глубоком погребе. Теперь, когда в распахнутое окно хлынул дневной свет, стали хорошо видны пустые полки. Лишь на нескольких лежали книги, старые журналы, штемпель, сургуч. Стола в комнате не было вовсе, да он бы и не поместился в ней. Его с успехом заменял широкий деревянный подоконник, против которого, у стены, стоял единственный стул, тут же предложенный хозяином «кабинета» гостю. Мош Тоадер сперва испробовал его на крепость руками и только уж потом сел, глядя на баде Василе нетерпеливыми глазами.

Почтальон достал письмо, раскрыл его, хорошенько прокашлялся и начал читать. Профир Коркодуш сообщал:

«После того, как я пожелаю тебе, братец Василе, доброго здоровья из этих дальних мест, доложу всем вам, мои односельчане, что кар-



тошка тут в десять раз дешевле, чем там, в ваших краях. В лесах полно ягод, а травы столько, что и глазом не охватишь. Разрешают держать свинью, корову, овец... Так что передай Костасе Фрунзе и его сынку-умнику, передай, чтобы они поцеловали нас в...»

Баде Василе прервал чтение и пропустил все бранные слова, которые прорвались в этом письме. Глянув украдкой на своего слушателя, продолжал:

«Они хотели сделать нам хуже, а сделали только лучше. Я и Федуча работаем на лесопильном заводе и получаем по три-четыре тысячи рублей в месяц, так что можем спить для этих голодранцев, Костасе и Тоадеру Фрунзе, костюмы из одних сторублевок. Федуча купил лисапед и теперь и меня учит ездить на нем, поскольку фабрика от нашего дома далеко... Жене я купил патефон и пальто из черного бархата. Так что не ждите нас обратно! Если даже будете просить — все равно не вернемся. Пускай отец и сын Фрунзе ходят там в ботинках, подвязанных проволокой, и думают, что они большие начальники!.. У меня же две пары новеньких кирзовых сапог и белые валенки!.. В здешних магазинах есть все — и сапоги, и валенки, и галоши, и женские шали, а очередей нету никаких. Приходи, плати денежки и бери!.. Одна у меня к тебе просьба, Василе: не забудь, ради Христа, пришли мне саженцев винограда сорта «гайрд». Пока я не разведу и здесь виноград — не успокоюсь. Я видел в лесу лозу винограда дикого, и мне кажется, что и культурный ранний сорт может тут созреть. Если можешь, пришли мне в посылке немножко нашего винца. Налей его в грелки и положи в ящик, — так делают многие. Я сам видел. Пришли, пожалуйста, три-четыре грелочки, век буду за тебя богу молиться. Если не будет ящика для посылки, сообщи мне: пришлю самых лучших досок. Взамен могу потом прислать либо деньги, либо медвежий окорок, он не хуже свиного будет!.. Пишу тебе, потому что узнал, что ты теперь работаешь на почте и тебе нетрудно исполнить мою просьбу. Если не выйдет с грелками, то пошли хотя бы саженцы «гайрда»...»

Дочитав письмо до конца, баде Василе присел на подоконник. Он устал. Мош Тоадер сидел непривычно тихий и задумчивый. Он, оказывается, еще ждал продолжения в надежде услышать хоть что-нибудь и о своем брате. Наконец спохватился, подняв удивленные, беспокойные глаза на почтальона:

— Это все?.. Там еще ничего не написано?

— Все, мош Тоадер. Просит вон саженцев и вина.

— Был Профир сумасшедшим, сумасшедшим и остался. Был дурак дураком тут, дурак дураком и там!.. Коровья башка!.. Не написать ни одной строчки о Пэтраке!..

— Он и о других не пишет.

— Еще был!.. Ему только саженцы подай!.. Тыфу!..

У баде Василе было еще одно письмо, но он не решался показывать его мош Тоадеру: почтальон подозревал, что в этом письме содержался какой-то секрет, а для старого Лефтера, как известно, секреты не существуют. Он в одну минуту разнесет их по селу. К тому же относительно тайны переписки баде Василе был хорошо проинструктирован в районном отделении связи.

Получил он строгие указания и насчет денежных сбережений. Отделения сберегательной кассы в Кукоаре не было, его операции поручались все тому же почтальону. Правда, более тонкие, такие, скажем, как начисление процентов, район брал на себя. Баде Василе должен был только хранить деньги и вести пропаганду среди односельчан, чтобы они не прятали свои сотенные по кубышкам, а несли их в государственную сберегательную кассу, то есть к нему, баде Василе. Для пропагандистской его работы были присланы плакаты с изображением голых женщин на берегу моря и хорошо одетого мужчины, с ослепительной улыбкой поднимающегося по трапу самолета. Голых женщин баде Василе не отважился расклеивать по стенам домов — боялся гнева целомудренных обитателей; а мужчину, который, поднимаясь в самолет, держал в одной руке нарядный чемодан, а в другой — сберегательную книжку и улыбался во весь рот, приклеил на видных местах; перед этим, думалось баде Василе, не устоит уже никто! Добросовестный почтальон не ограничивался только этой плакатной, изобразительной пропагандой, подключал к ней и свою устную, не упускал ни единого случая при встрече с односельчанами поговорить о преимуществе хранения денег в сберкассе. Земляки внимательно выслушивали его, соглашались с ним, а денежки все же держали при себе. Вкладчиками у баде Василе были лишь некоторые учителя да Илие Унгуриану. Что касается этого парня, то с ним у баде Василе была одна морока. Сегодня Унгуриану сдает на хранение свою месячную зарплату, а на другой день всю ее забирает обратно. Не оставлял паршивец ни копейки, с тем чтобы в конце каждого месяца не выписывать ему новой книжки! Причем открывал свой счет Унгуриану обязательно при народе, а закрывал втихомолку, чтоб ни одна душа не видела, как он это делает. Артист, одним словом! Как-то баде Василе, не стерпев, заметил ему:

— Что ты делаешь, Илие? Зачем ты так?.. Люди могут подумать, что ты миллионер!.. Каждый месяц откладываешь на книжку!..

— Молчи, баде! Ты наглядную агитацию

упрятал в шкаф, план не выполняешь, а теперь хочешь на мне отыграться!..

Илие Унгурияну видел голых женщин на плакатах, и они ему страшно понравились. Он хотел было забрать их у почтальона и унести в клуб, но баде Василе воспротивился. Он бы, конечно, с удовольствием избавился от этих красавиц, но боялся повредить своей же пропагандистской деятельности. Увидят жены нагих бесстыдниц в клубе, разузнают, откуда взял их Унгурияну, и близко не подпустят своих мужей к сберкассе. А чего стоит тому же Илие, повернувшись на сто восемьдесят градусов, притащить на какое-нибудь собрание такой плакат и всенародно объявить: «Вот, люди добрые, полюбуйте, какую наглядную агитацию держит в своем шкафу наш уважаемый почтальон!.. Хранит их там под семью замками, бережет надежнее, чем ваши деньги!..»

Хорошо, что Аника не сует своего носа в его служебные дела. С ней объясниться было бы еще труднее, чем с этим Унгурияну.

А вообще-то баде Василе был доволен своей работой, на которую сам когда-то напросился. Сначала его поманили на почту книги. Затем обнаружилось еще нечто чрезвычайно важное: он узнавал обо всех новостях раньше других в своей Кукоаре. Шуточное ли дело, он первым узнал, о чем думает, что делает человек в какой-то далекой Бурят-Монголии!.. Ни к кому-нибудь, а именно к нему пришел сейчас за новостями этот старый гордец Тоадер Лефтер. А как светятся лица односельчан, когда он, баде Василе, принесет в их дом добрую весточку! И тут уж не обойдется без того, чтобы ему не поднесли стаканчик вина. Каждый в такой момент срывается с места, хватается кувшин и бежит к погребу. И отказаться от угощения нельзя: обидишь до смерти ослепленного тобою же человека!.. И это еще не все. Разве мало, когда все на селе знают, что у баде Василе теперь есть свой собственный служебный кабинет!

Кабинет, пожалуй, представлял из себя главную гордость его хозяина. В него, кроме самого Суфлецелу, никто не имел права войти. За его окованными и зарешеченными дверями можно было проводить доверительные беседы, такие, скажем, как с мош Тоадером, которого баде Василе специально увел сюда, чтобы прочесть письмо Профира Коркодуша. Видно по всему, что кабинет понравился старому Лефтеру. Он ощупал его сначала своими строгими глазами, потом руками. Кончиками растопыренных пальцев потрогал железную дверь, решетку, замки.

— М-да-а! Сидишь, как в крепости! — повторил он сердито, явно завидуя баде Василе.

У того от удовольствия засветилось лицо. Адамово яблоко, величиной с добрую карто-

фельну, скакало вверх и вниз на длинной цыплячьей шее.

— Ты, Василе, вижу, теперь бо-о-лышой начальник. Напиши же этому дураку Профиру, чтоб прислал мне весточку с Пэтраке!

— Напишу, мош Тоадер, непременно напишу!

— Гм... Он, мерзавец, катается на лисапеде, а у меня сердце шипит, как на сковородке!..

— Напишу.

— Напиши, что не ты, а я найду и вышлю ему саженьцы, коровья он башка!..

— Напишу. Обязательно напишу! — в третий раз клятвенно пообещал баде Василе.

— Вот так-то... Договорились, стало быть. Ну, а теперь я пойду!

— Договорились. А уговор дороже денег...

— То-то же!.. Может, у тебя пересохло в горле? А? — осведомился старик.

— Нет, мош Тоадер. Сейчас не могу. Другим разом как-нибудь.

— Ну, как знаешь. Мое дело пригласить... Да вон и твой жандарм объявился, становой пристав!..

Речь шла об Анике, жене Суфлецелу, маленькой и тоненькой, как оса, и такой же злой. Только впивалась она в баде Василе не жалом, а своим языком. «Становыми» мош Тоадер называл всех женщин, которые сторожили своих мужей. Покойница Домника для него тоже была «становым приставом», поскольку прятала ключи от винного погреба. Правду сказать, делала она это зря. По просьбе мош Тоадера цыгане изготовили для него дюжину запасных ключей. Если, случалось, бабка Домника прихватывала своего старика на месте преступления, то есть в тот момент, когда он, вытирая свои длинные, как у зайца, усы, вылезал из погреба, — мош Тоадер покорно отдавал ей ключ. Хоть и знал старый плут, что потеря для него невелика, но, выйдя на улицу, всенародно ругал Домнику, обзывая ее жандармом и становым: устроила, видите ли, за ним слежку. Становой да и только!

И сейчас старые глаза мош Тоадера не подвели его: в правленческий дом входила Аника. А почтальон, если б глядел на улицу, увидел бы жену еще раньше Лефтера: у него, Василе, были черные, выпуклые, орлиные глаза, которые еще имели свойство по-стрекозы глядеть сразу во все стороны.

Теперь поневоле приходилось прекращать беседу. Баде Василе забыл совсем, что Аника собиралась испечь хлеба и ей требовалось для этого много дров.

— Ну... ну... не ори!.. Иду!.. Видишь, не бездельничая же я тут?! Человек пришел за советом... Не могу же я закрыть почту, когда тебе захочется!..



— Говори, говори!.. Знаю я тебя!.. Очень даже хорошо знаю!

— Что ты знаешь?! Видала, поди, кто вышел от меня?.. Мош Тоадер Лефтер!..

— Он такой же пустомеля, как ты!..

— Человек пришел по делу...

— Знаю я ваши дела. Ворон да зевки свои считаете!..

По дороге Аника подобрела, осторожно выпытывая у мужа, не получил ли он письмо от того Пэтраке. А может, спрашивала она, прислала какую-нибудь весточку тетушка Ирина (Негарэ и его жена были на свадьбе Василе и Аники в качестве посаженных отца и матери и потому считались родственниками). Узнав, однако, что Василе меньше всего думал о ее тетушке, Аника вновь обрушилась на него:

— Ты что же, теперь всему селу будешь читать письма того прохвоста?!

— Мош Тоадер попросил, и я...

— Что — «ты»? Целыми днями трезво-нишь языком, как поп по сочельникам!.. Мало ли что наворочит в своих письмах тот брехун!..

— Ну, ты это брось!.. Профир — твой двоюродный брат!..

— «Двоюродный»! — передразнила Аника. — Когда был тут, и не замечал меня. А теперь — родня! Нужен он мне!..

«Женщины в отличие от мужчин не скоро забывают обиды, — размышлял баде Василе, не принимая близко к сердцу ворчанье Аники. — Правда, нет дыма без огня. Не хотел Профир знаться с бедными родственниками. Он и теперь не пишет им из далекой Сибири. А тогда, когда он был богат, до его носа и палкой не дотянулся бы никто из них. Мне-то написал, поскольку я теперь вроде бы тоже начальник...»

Аника продолжала что-то выкрикивать, и мысли баде Василе вновь обратились на нее. Все в этой жизни, думал он, можно как-то распутать, только не женскую логику. Это джунгли, в которые можно еще войти, но невозможно выйти. Можно всю жизнь прожить с этим длинноволосям существом, но так до конца его и не узнаешь. Лучше всего махнуть на бабу рукой и не разговаривать с ней. Англичане не дураки, не выбирают женщин в судьи...

О мудрых англичанах баде Василе прочел недавно не то в газете, не то в журнале под рубрикой «курьезы». Английские парламентарии объясняли такое решение тем, что по своей биологической сути женщины очень непостоянны, в своих действиях часто руководствуются не разумом, а сердцем, то есть минутным настроением. Будет, к примеру, судить какого-нибудь беднягу после того, как поссорилась у себя дома с мужем, припаяет не штраф, а тюремную отсидку за какое-нибудь пустяшное нарушение порядка. Потом иди и ищи правду! Баде Василе был уверен, что объек-

тивный судья и женщина — понятия несовместимые.

«Они даже не лысеют!» — думал о женщинах почти с возмущением.

Он шел впереди Аники. Ни один молдаван не будет плестись в хвосте у своей жены или идти с нею рядом — обязательно оставит ее позади себя. Придерживался такого правила неукоснительно и баде Василе.

«Да-а-а, — вздохнул он сокрушенно, — у бабьего ума уймища разных вилюжин, как в деревине старого вяза».

Между тем в его кармане пряталась красавица с распущенными косами. Размалеванная разными красками, глядела она на почтальона с маленькой открытки загадочными, манящими глазами. Кто бы это мог быть? На обратной стороне есть адрес, а больше ничего не написано. И прислали эту диву заказным порядком — чтоб, упаси бог, не затерялась в пути. Подумаешь, какая драгоценность! Голая, разрисованная баба, которую и еручать-то стыдно адресату. Да еще какому адресату!.. Он же секретарь райкома комсомола, уполномоченный партии, самый большой начальник тут, хотя тоже из Кукоары и живет с баде Василе по соседству. И вот такому-то человеку нужно было вручить то письмо без слов, как, скажем, какому-нибудь шпиону, который один только и может разгадать, что скрывается за улыбкой этой полуобнаженной бесстыдницы.

К тому времени баде Василе успел прочитать множество книг про шпионов. Из них-то он и узнал, что шпионы посылают письма без слов. Либо расставят слова так, что их надо читать шиворот-навыворот, чтобы уразуметь смысл послания.

На письме, полученном на имя Тоадера Фрунзе, все-таки отыскалось одно слово. «Нина», — без особого труда прочел баде Василе. На одной стороне открытки, рядом с портретом красавицы, чокались два стакана, наполовину наполтые вином. Красивые стаканы, хрустальные, с серебряным подбивом. Они четко обозначались на красно-вишневом фоне картинки. А на другой стороне — только адрес и чистое, голое поле. Там-то баде Василе и обнаружил слово «Нина». Был еще штамп почтового отделения в Кишиневе — единственный «казенный» знак во всей открытке. Обратного адреса эта таинственная незнакомка по имени Нина почему-то не указала. Лишь по штемпелю можно было заключить, что проживает она где-то в столице Молдавии. Но ведь там таких Нин тысячи — попробуй отыскать среди них эту!..

Придя домой, почтальон тут же принялся колоть дрова. Выбирал кругляши ровные, без сучков, — с этими мог справиться и одной рукой. Трудился, а мысли не могли отлепиться от письма без обратного адреса. Баде Василе, однако, знал, что самые запутанные вещи ста-

новятся вдруг ясными, когда ты колешь дрова; и хмель улечивается из твоей головы после большой попойки именно за такой работой. Минутами ему казалось, что он уже держит жар-птицу за хвост, что вот-вот перед ним раскроется тайна открытки.

«Наверное, это у них какой-то знак, пароль, как на фронте... Но зачем бы им это?.. Я ведь брал свою Анику без всяких там паролей. Черт знает, что это такое!..»

Будь на то его воля, баде Василе запретил бы принимать и отправлять такую странную корреспонденцию.

«Но ведь тайна переписки охраняется законом! — вдруг вспомнил он. — Может, в том письме-открытке есть такое, чего не должен знать никто, кроме адресата? Пожалуй, так оно и есть».

## 2

На родной ниве Тоадер Фрунзе блестяще сдал все экзамены. Книга земли начисто изгнала из головы все другие мысли, захватив его целиком, крепко вцепившись в самое сердце. Не знаю, как там разумом, но душою он всюду чувствовал поэзию. И тогда, когда росными утренними и вечерними зорями шел на поля и возвращался с полей; и особенно тогда, когда проходил сбор винограда, когда белые, прозрачные и почти невесомые паутинки бабьего лета цепляются за вершины виноградных тыч-ков; и тогда, когда во всех дворах слышится тарахтенье деревянных ведер и бульканье молодого вина в чанах; в такую пору осенняя прохлада как бы сама подгоняла людей, заставляла их пошевеливаться, работать попроворнее, чтобы не озябнуть, чтобы кровь в жилах струилась быстрее и горячей. А как было радостно услышать, скажем, такое:

«Гляньте, люди добрые: у Костаке Фрунзе амбар уже полон кукурузы!»

«Хорошо ему! Ребята подросли!»

Такие разговоры Тоадер Фрунзе слышал у себя во дворе ночью, когда стоял у прессы или таскал ведрами молодое вино от чанов к погребу.

Его мать прямо-таки расцветала от счастья. В такие дни она была необыкновенно щедра, резала молодых жирных цыплят и варила суп, а также пахучую мамалыгу из новой кукурузной муки. Это все для того, чтобы у ее «мужичков», у ее славных работников, поприбавилось сил, чтобы они поскорее управились с нелегкими осенними делами.

«Человек, который за всю жизнь прочитал всего одну книгу, опасней человека, не прочитавшего ни одной книги».

Тоадер Фрунзе уже не помнил, где наткнулся на такое изречение. Долгое время вообще

считал, что это нечто вроде пословицы, поговорки, пока не догадался спросить Шеремета. От него узнал наконец, что изречение это было в ходу уже у древних римлян и принадлежало какому-то их философу. Но, кажется, и теперь, когда получил разъяснение, Тоадер так и не понял, не уразумел подлинного смысла этой философской выкладки. Как бы там, однако, ни было, но сам-то он явно рисковал остаться «опасным человеком», поскольку пока что прочел всего-навсего одну книжку на тех несчастных учительских курсах в Алчедаре.

Теперь вот учился заочно в Оргеевском педагогическом училище.

«Учись, учись, Фрунзе!» — твердил Шеремет.

Тоадер учился. Но будут ли его познания основательными? Едва ли...

Война, правда, закончилась, но она оставила после себя не только миллионы павших и искалеченных, но и миллионы молодых людей-недоучек, миллионы без фундаментальных знаний. К их числу принадлежал и Тоадер Фрунзе. Он остался в живых. Его двоюродные братья погибли на фронте. Самый верный товарищ, Митря Негарэ, пропал без вести. Всем им, павшим и пропавшим, благодарный народ воздвигнет памятник и назовет его Памятником Невестному солдату.

Он, Фрунзе, остался в живых. Он остался с поколением, которому положено историей залечить тяжкие раны войны. Это поколение будет называться поколением без отпусков. Круглый год оно работает, не покладая рук, а отпуска у него забирает учеба. Люди учатся, сдают экзамены, «грызут гранит науки», как пишется в газетах...

Тоадер Фрунзе завидовал своему младшему брату Никэ: вовремя родился чертенок! У него одна забота — уроки. Он не ходит по дорогам с куском черствого хлеба в ученической сумке и с охапкою конспектов и книг, взятых «на прокат» у товарищей. О Никэ заботятся учителя, классная руководительница, директор школы, воспитатели в общежитии. Правда, когда работал в школе в «качестве директора», Тоадер Фрунзе целое лето находился вроде бы в отпуске — это во время каникул. Но как директор, он должен был позаботиться о ремонте школы и всего ее инвентаря, о заготовке дров на зиму. И все-таки тогда он выкраивал несколько часов в день, чтобы подготовиться к очередной сессии для заочников в педучилище. Теперь же, когда он работал первым секретарем райкома комсомола, при постоянных разъездах по селам, когда приходилось по совместительству быть еще и уполномоченным райкома партии, дела с подготовкой к экзаменам резко усложнились. Но он продолжал учиться и был не одинок, их было, повторяем, тысячи, миллионы «недоучек», которые, работая и за-



нимаясь в заочных и вечерних учебных заведениях, должны были назавтра пополнить армию советской интеллигенции. Многие из них не успели еще снять с себя военную одежду. Некоторые являлись на сессию в шапках, обвитых красными лентами, — это бывшие партизаны. Они побили врага и теперь с жадностью ухватились за другое оружие: за книги.

«Учись, Фрунзе, учись!..»

Он слышал эти слова не только от Шеремета. Их произносили частенько члены бюро и вновь повторили, когда принимали его в партию. В другие времена они могли прозвучать, как назойливая риторика. Но в первые послевоенные годы формула эта обрела особый смысл, наполнившись значительным, а может быть, даже многозначительным содержанием. И люди учились. Учились в вечерних школах, на заочных курсах трехмесячных, шестимесячных, годичных и трехгодичных... На фермах не хватало ветеринарных врачей и фельдшеров; председатели колхозов и бригадиры в большинстве своем получили лишь начальное образование. За некую символическую парту были посажены целые селения, поскольку должны были научиться жить по новым, непривычным для них нормам социалистического общежития. Школой для них стал колхоз. В больших селениях по вечерам загорались электрические лампы — и понадобились монтеры. Вслед за тракторами на поля выплыли степные корабли — комбайны. Они властно потребовали, чтобы в каждом районе были курсы трактористов и комбайнеров, — курсы, курсы, курсы. Слово это не сходило теперь с уст сельского жителя. Курсы стали до того популярны, что ими прикрывались даже жулики, которые, отбыв срок наказания, не без гордости говорили своим односельчанам: «И мы побывали на курсах».

От каждого, как от каждого. От коммунистов же требовалось все в двойной, а то и в тройной норме. Это понял Тоадер Фрунзе тотчас же, как был принят в партию. Случилось это в будний рабочий день, но и теперь еще ему все кажется, что произошло это в какой-то большой праздник. Он и прежде не раз испытывал праздничное, возвышающее и окрыляющее душу состояние. Было с ним такое и тогда, когда принимали в комсомол, и тогда, когда его послали на учительские курсы. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем волнением, какое накатилось на его сердце во время приема в партию. Он вдруг оказался лицом к лицу с коммунистами партийного штаба района. Некоторые из них дали ему рекомендации, и теперь сидели тут же, волнуясь за него, Тоадера Фрунзе, не меньше, чем волновался он сам.

Однако праздничный вид человека нередко бывает обманчив. Человек принарядился, делает все как будто непринужденно, улыбается,

шутит, обменивается со встречным подчеркнуто энергичным, горячим рукопожатием. Но все это — лишь тонкая оболочка, под которой дрожат натянутые струной, готовые оборваться нервы...

На партийных собраниях, на конференциях, на районных и республиканских совещаниях Тоадер Фрунзе всегда испытывал какое-то внутреннее напряжение. На одном лишь совещании (до упразднения Оргеевского уезда) не было такого стесняющего душу состояния, а была легкость и раскованность во всем теле, какую чувствует в себе человек после бани. Именно баня припоминается Тоадеру Фрунзе прежде всего, когда он думает о том уездном совещании комсомольцев.

Он ехал на него со своими товарищами на повозке в ненастную, хмурую погоду. Из низко нависших сереньких туч на землю просеивался такой же серенький, привязчивый дождик, тот самый, который оставляет после себя гололедицу. Стбит дождевой капельке коснуться земли, либо соломы на повозке, либо немудрящей комсомольской одежки, как она сейчас же превращалась в крохотную ледышку-сосулекку. Скользили лошади, елозили туда-сюда колеса телеги. Комсомольцы дрожали от холода, лица их морщились, и молодые парни и девушки выглядели старичками и старухами. Чтобы хоть немного согреться, они соскакивали с повозки, бегали впереди лошадей, толкались, боролись, пытались даже петь хриплыми, отсыревшими голосами.

Вид их был жалок, когда добрались до Оргеева. В таком положении следовало бы вскипятить красное вино с сахаром, приперченным красным стручком, прогреть себя этим напитком изнутри и забраться на печку, — простуда сама бы шарахнулась от них в разные стороны. Но где ты отыщешь такое лекарство в городе, почти до основания разрушенном войной? Оно нашлось бы скорее в любом селе, но только не в Оргееве.

Маялись душой все, мысленно задавая себе вопрос: а что же со мною теперь будет? Подхватываю воспаление легких, лихорадку, насморк? Любая из этих хвороб могла прицепиться к остуженному телу. Всего можно было ожидать. Всего, но только не инициативы, которую вдруг проявила бывшая партизанка из Распона. Сейчас она работала в уездном комитете комсомола. Это крепко сколоченная девица, быстрая, стремительная, как метеор. Когда она проходила мимо, тебя обдувал ветер, и земля под ее ногами испуганно вздрагивала. Одевалась она по-прежнему во все военное, лишь на голове, на самой маковке, каким-то чудом держалась маленькая шапочка, из-под которой переливающимися ручьями стекали, разбегаясь по спине, длинные волосы. Все ее хорошо знали: партизанка Одригаило, украинка...

Взяв приехавших на совещание ребят и девчат под свою команду, она тотчас же отвела их в баню. Решительным, командирским голосом приказала раздеться — парням и девушкам одновременно. Первой разделась сама и ввела свое нагое войско в парную. В густых тучах пара комсомольцы и комсомолки даже не видели друг друга. Среди веселого гвалта отчетливо слышался лишь голос партизанки. Она как-то умудрилась отыскать все краны с холодной и горячей водой, взяла в обе руки по дубовому вену и теперь хлестала ими всех кряду, кто только подвернется. Слышались звонкие, хлесткие шлепки: хлоп, хлоп, хлоп. «Ой, потише!» — раздавалась чья-то мольба, но тут же заглушалась этим: хлоп, хлоп, хлоп! Визжали девчата, орали молодыми бугаями парни, — визжали и орали не столько от боли, сколько от восторга. В бане творилось что-то невообразимое, то было вавилонское столпотворение. Согревшись, принялись шутить, озорничать; шутки и озорство порою готовы были перейти за грань дозволенного, но партизанка строго следила, чтобы эта грань не пересекалась: особенно ретивых шутников охлаждала тем, что опрокидывала на них таз ледяной воды и затем выталкивала из парной. Сопротивляющемуся командовала:

— Давай, давай, одевайся! Марш, марш!

Лишь после того как все вышли и оделись, комсомольцы стали знакомиться. Отовсюду слышалось:

— А вы откуда?

— Из Резины.

— А мы из Криулян.

— Вас тоже прихватил дождь со снегом?

— Катились по льду.

— Откуда?

— Из Бревичей.

На конференцию прибыли делегаты от всех восьми районов.

В ту ночь Тоадер Фрунзе лег спать необыкновенно рано, «вместе с курами», как бы сказал его дед. И все-таки чуть не опоздал на первое заседание: очень уж сладко спалось. Молодец, партизанка! После ее бани все явились на конференцию свеженькие и веселые, как молодые огурчики. Кое-кто не прочь был повторить это совместное омовение в славной баньке. «Чтобы отмыть вчерашние грехи», — бросал при этом не без двусмысленности. Ребята откликались дружным хохотом, еще более поднимавшим и без того приподнятое праздничное настроение.

Среди делегатов оргеевской конференции находился и Мэшкэуцан, первый в уезде Герой Советского Союза. Не мудрено, что молодые люди торопились раньше всего познакомиться именно с ним: они очень гордились этим своим земляком. Оно и понятно: далеко не каждая районная комсомольская организация, даже уездная, могла похвастаться своим

Героем, с Золотой Звездой на груди. С орденами и медалями вернулись с фронта и из партизанских отрядов сотни и тысячи, а имена тех, что стали Героями Советского Союза, были нарицательными. Их мог назвать тебе любой школьник или даже древний дед. Вот они, эти имена: Плугарь, Фролов, Солтыс, Буюклиу. Эти двое последних своею грудью закрыли амбразуры вражеских дотов и дзотов, повторив подвиг Александра Матросова. Свое высокое звание они получили посмертно, в то время как их сверстники, Фролов и Плугарь, вернулись с войны живыми и невредимыми. Теперь к этим отважным юношам присоединился и оргеевский герой Мэшкэуцан — предмет великой гордости его ровесников-земляков...

...Может, и не вспомнилось бы Тоадеру Фрунзе все это, будь день свадьбы Унгуряну ясным и солнечным, не таким, как сейчас, сереньким, сумрачным и зябким. Не повезло Илье! Над всей округой нависла тяжелая туманная наволоч. Дороги сделались скользкими от противной наледи. Деревья стояли с оголенными сучьями; обезлиственные сучья как-то выпрямились, и сосульки на них смахивали на свечки, зажженные вроде для того только, чтобы поскорее отпеть и похоронить этот хмурый денек, чтобы на смену ему пришел светлый, солнечный.

### 3

Скверная погода, ничего не скажешь! Но людей не заперла в их избах эта непогода. Людской поток медленными струйками пробирался по-над плетнями, заборами дворов, палисадников, по огородам и садам. Мужчины и парни, как и полагается, шли впереди, прокладывая дорогу осторожно двигавшимся за ними женщинам и девушкам. Черные и пепельно-серые шапки, островерхие барашковые качуры, папахи с приплюснутым донышком, шали, цветастые платки, белоснежные косынки, шерстяные и льняные полушалки — всё это выплывало из туманной дымки и постепенно принимало ясные очертания, и уже вблизи двора невесты Марнуца Педурару можно было узнать окончательно, кто и с какой окраины селения направлялся на свадебное представление. Редко кто шел с пустыми руками. Почти все были обременены какой-нибудь ношей. Мужики и парни несли бутылки вина или двуручные кувшины на шелковых лентах всевозможнейших цветов — красных, розовых, голубых, коричневых, вишневых, белых. Женщины и девчата — букетики цветов. У иных — всего по две-три веточки васильков, завернутые в платок: так приходят еще и на крестины. Это шествие сопровождается музыкой. Каждая группа гостей перед домом невесты встречается несколькими тактами бравурного марша. Когда группы скапливаются перед



воротами в большую толпу, оркестранты дуют в свои трубы до тех пор, пока объединившиеся ручки не устремятся широкою и полноводною рекой во двор. Двери у сеней к этому моменту распахиваются настежь, равно как и двери в горницу, то есть в каса маре. На крыльце, в сенях, во дворе — всюду табунится народ. Мужики торопятся передать распорядителям свадьбы принесенные ими кувшины и бутылки с вином, не забывая при этом запомнить свою посудину, чтобы потом, после свадьбы, не спутать ее с чужой. Освободившись от ноши, устремляются к молодым с поздравлениями. Сперва это делают женщины, затем мужчины.

Из общего шума и гама отчетливо выделяется:

«Пускай жизнь будет сладкой, как это варенье...», «Живите в мире и согласии, как хлеб с солью».

Здороваясь, лобызаются. Угощаются ложечкой варенья из айвы, берут из рук невесты стакан вина, из рук жениха — другой. Кто хочет, пьет до дна; кто нет, лишь пригубит стакан и тут же поставит его на серебряный поднос. Стоявший рядом молодой распорядитель наполнит стаканы вновь, и невеста с женихом предлагают их следующим гостям. Какая-то из самых близких подружек, после того как подаст руку, не вытерпит, кинется на шею невесты, крепко обнимет ее и со слезами радости на глазах пожелает ей счастья. Ребята, одноклассники Унгурияну, обнимая, подмигивают ему: женишься, мол, ну, женись! Кончилась твоя свобода! Добровольно накинул на себя уда!..

А люди все идут и идут. С балкона несется музыка. Стаканы и бутылки ходят по кругу. Суетятся распорядители и распорядительницы. Две сватки заказывают музыку, которая означала бы приглашение близких родственников и знакомых жениха и невесты. Растет кучка рублей на подносе — разумеется, серебряном.

Низенькая хата Мэриуэ сделалась вроде бы выше. Постриженный, выбритый до голубого сияния, одетый в иголки, жених кажется чужим в родном селе. Никто, пожалуй, никогда и не подозревал, что Илие Унгурияну такой красавец. А теперь, с ярким цветком, воткнутом в петлицу пиджака, с нарядным галстуком на шее, он с тихим достоинством встречал каждого, кто подходил к ним с поздравлением, глядел смело своими широко открытыми черными глазами.

Иногда возникали небольшие паузы. В такие минуты по чьему-то знаку оркестр умолкал. Люди стояли в очереди, как овцы во время стрижки. В это время жених и невеста повязывали платками и лентами родственников, друзей и подруг, по каким-то причинам чутко опоздавших с прибытием на свадьбу.

Гости продолжали приезжать и приходили, когда уже свадьба приняла застольный, что ли,

характер, когда все ели и пили, пили и ели, когда жених, то есть Илие Унгурияну, начинал позевывать. Кто-то из вошедших стариков сообщил, что погода пошла на улучшение. Услышав такое, музыканты перестали играть марши, спустились во двор, и теперь там грянули вальсы, пан-чардаш, болгаряску, сырбу. Приспело время главного танца с участием жениха и невесты, посаженных, сватов, сватъев, шаферов и дружек. В бешеной круговерти, слава богу, не разобрать, кто танцует хорошо, кто плохо, а кто и вовсе не танцует, а лишь имитирует танец, притопывая ногой и шлепая в ладошки. Тут могло бы все сойти с рук даже хромоте и другому какому-нибудь калеке: стоит только подчинить себя общему вращению и движению.

Тоадер Фрунзэ танцевал рядом с женихом, побаиваясь при этом, как бы Илие Унгурияну не наступил ему на ногу: этот великан относился к разряду тех нередких сельских ребят, которые век учатся, но так никогда и не научатся танцевать по-людски. И винить их нельзя. Что они могут поделать, если природа наградила их слоновьими лапищами! Плохо, однако, то, что сам-то Унгурияну считал себя превосходным танцором, хотя все знали, как много нежных девичьих ножек покалечил он в клубе, где был, как известно, заведующим. Сейчас он все время встряхивал своими могучими плечами, словно нес на них какую-то большую тяжесть, подскикивал вверх, когда все остальные кружились плавно. От соседства с такой подпрыгивающей живой машиной Тоадера Фрунзэ бросало в жар, он окидывался потом, будто не танцевал, а шел за плугом. Толкаемый женихом, подбрасываемый из стороны в сторону, он чувствовал себя так, словно в самом деле попал в волны разбушевавшегося моря, откуда не может выплыть, выбраться на берег.

Его выручила резко изменившаяся погода. С задернутых темными тучами небес вдруг повалил густой снег. На разгоряченных танцоров опускались снежинки размером с гусиную лапу. Их, этих снежинок, было так много, что они в одну минуту заляпали, разукрасили в белое одежду, шапки, платки танцующих. Особенно неуютно стало невесте. Она была, как положено, в тонком, полупрозрачном белом платье, покрытая тюлевой фатой. Все это быстро промокло, и Мэриуэ уже дрожала от холода. Жених сжалился над нею, отвел в горницу. Но ее все-таки то и дело почти силой вытаскивали, выталкивали на улицу и заставляли веселиться вместе со всеми. Выводил ее и жених, выводили и другие парни: кому ни охота покружиться с невестой в танце? Кто откажется от того, чтобы покрасоваться с нею на виду гостей, пожелать ей счастья, выпросить у Мэриуэ золоченую ниточку из свадебного одеяния, шепнуть на ушко невесте такое, отчего ушко это непременно для других покраснеет?

Снег между тем валил безостановочно. Теперь жених и невеста танцевали в пальто, как и все остальные. К вечеру гостей поубавилось: пожилые люди поспешили на свои подворья. В домах их ждали дети, которых надо было накормить и уложить спать, во дворах — скотина, которую надобно было убрать, с тем чтобы успеть вернуться на свадьбу в тот час, когда она перекинется в дом жениха.

Молодежь продолжала веселиться, выносить невестино приданое, ее постель, приплясывать по дороге с подушками, одеялами, передавать из рук в руки ковры и дорожки, настенные коврики, скатерти, полотенца, чашки, ложки, вилки, полотенно. Молодым доставлял радость даже плач матери, провожающей свою дочь в чужой дом. Ребята орали, гомонили, драли свои глотки, и все это для того, чтобы село знало: свадьба направляется в дом Илие Унгурияну.

Единственный колхозный грузовик, недавно полученный, в который в конце концов были погружены постель и все остальное невестино приданое, наполнился до отказа шумливую стаей девчат и парней. Торопились засветло добраться до подворья Унгурияну. В преддверии зимы ночь наступает быстро, а колхозный движок, установленный в небольшой будочке, отпускал электроэнергию столько, что ее едва хватало на несколько столбов в центре Кукоары — возле правления и у складов.

Легковыми машинами, прибывшими из района, вышел распорядиться сам жених. Он указал, кто и в какой автомобиль сядет. Перво-наперво усадил близких друзей и родственников. Для ребят и девчат, какие не попали в машины, были приготовлены повозки, тоже застеленные шерстяными коврами поверх соломы; уздечки и гривы лошадей увиты разноцветными лентами. И как бы ни был украшен и расцвечен этот привычный для сельского жителя транспорт, но что-то никому не хотелось воспользоваться им: все стремились втиснуться в автомобиль — ведь то была первая моторизованная свадьба в Кукоаре! В разнаряженных телегах пускай едут старики, родичи, — ничего с ними не сделается!

— Легковыми машинами распоряжаюсь я! — орал жених.

Но его слова влетали в одно ухо парня или девушки и сейчас же вылетали в другое. Легковушки были штурмом взяты молодежью. Следствием этого штурма явилось то, что сам жених и его невеста едва не лишились места в районных «газиках». Спасибо шоферам — они отвоевали местечко для новобрачных, иначе Илие и Мариуца пришлось бы ехать на телеге в компании стариков и старушек.

Разгневанный Унгурияну рычал от ярости. Чтобы успокоить его, Мариуца шептала ему что-то на ухо. Случись такое не на его свадьбе, Илие вел бы себя по-иному: он повыбрасывал

бы всех из машины к чертовой бабушке, эти нахалы вылетели бы у него, как галушки из супа! Но на своей свадьбе Унгурияну принужден был держать себя в узде. Появившийся вдруг оперуполномоченный милиции стал потопливать свадебный поезд: машины требовались в срочном порядке в районе. На недоуменный вопрос жениха милиционер, изрытый оспой башкир, твердил одно и то же:

— Нужно. Понимаешь, нужно!..

— Что ж, не могли там обождать немного? Испортят мне всю свадьбу! — возмущался Унгурияну, сделавшийся темнее тучи, из которой продолжал валом валить снег.

— Нужно. Понимаешь, нужно!..

У этого «опера» под началом находилось семь селений. Но местом своего постоянного жительства он почему-то избрал Кукоару. Спокойный, добродушный, любивший пропустить стаканчик вина, милиционер был весьма уживчив, и кукоаровцы его уважали. Но служба есть служба. Приказы начальников, как известно, не обсуждаются, а выполняются. Разве башкир, облаченный в милицейскую униформу, не погулял бы с превеликим удовольствием сам на этой свадьбе! На свадьбе Илие Унгурияну, который является самым активным и надежным осодмилловцем на селе!.. Похоже, случилось что-то такое чрезвычайное, если башкир в третий раз приходит за машинами и решительно отказывается от стаканчика!..

Но узнать про то от лейтенанта было совершенно невозможно. Он вообще не любил в беседе с людьми говорить подробно о своей работе. Фронтовик, награжденный орденами и медалями, лейтенант никогда и никому не рассказывал и о боевых своих делах. Других фронтовиков, которые повествовали о подвигах, слушал с удовольствием. Неженатый человек, он приходил в клуб, тихо усаживался где-нибудь в уголке и так же тихо смотрел, как веселится сельская молодежь. Сам никогда не танцевал, ни с кем не вступал в беседу, открывал рот лишь тогда, когда нужно было поговорить с кем-нибудь по службе. Он никогда и никого не вызывал для служебного разговора в сельсовет. Сам шел в дом к нужному ему человеку и выяснял, что и как. Самые любопытные иногда пытались узнать от него, что делается в других селах, какие там бывают происшествя. Но башкир молчал, как рыба. Не касался даже вещей, о которых в Кукоаре были наслышаны решительно все.

Илие Унгурияну хорошо знал характер и привычки этого офицера. Знал, что тот не покинет его двора, пока не отправит в район машины. Не будь он, Унгурияну, женихом, непременно нырнул бы в один из этих «газиков» и смотался бы в район, чтобы узнать о случившемся там. Ведь от этого помеченного оспой молчуна ничего не узнаешь до скончания света! Но



свадьбу не оставишь на произвол судьбы. Она и без того понесет сейчас большие потери: в район отзываются не только «газики», но и посаженный отец, коим пришлось стать Тоадеру Фрунзе. Вместе с ним в район направлялись и все осодмиловцы, которые были близкими друзьями Унгурияну, а значит, и чуть ли не главными фигурами на только что начавшейся, набравшей силы свадьбе. Огорченный до крайности, обескураженный, Унгурияну лепетал:

— Ччас пашел, товарищ уполномоченный!.. Ччас!..

Только такое и мог выговорить по-русски Илие Унгурияну, сын и зять солдатских вдов, сейчас явно растерявшийся. Ему бы мог помочь опытный в таких делах пожилой мужчина, избранный в посаженные отцы, но только не Тоадер Фрунзе, который по вине упрямого жениха оказался не на своем месте. Он, правда, старался, но делал все невпопад. Видя такое, старшие спешили к нему на помощь, подсказывали: делай то-то и то-то, говори такие-то слова. А тут еще эта история с «газиками», а также то, что он, Тоадер, должен покинуть свадебное пиршество и отправиться в район.

— Ччас пашел! — командовал Унгурияну, вынужденный взять управление свадьбой в свои руки.

Во вдовьем доме у него было множество обязанностей, а теперь Илие оказался еще и в роли посаженного, — командовал водителями машин, отдавал распоряжения родственникам, друзьям, ездовым. Под его громоподобные крики свадебный поезд выехал со двора невесты, понесся по улицам села с оглушительным гиканьем и визгом парней и девчат. В головном «газике» помимо жениха и невесты сидели шафер и дружка. А посаженный отец, то есть Фрунзе, стиснутый со всех сторон и всеми забытый, уткнувшись коленками в подбородок, притулился в другой машине, хотя ему полагалось вроде бы ехать в первой.

Машины мчались. Стараясь поспеть за ними, позади громыхали повозки.

Старики, подростки, совсем малые ребятки и девчонки высыпали из своих дворов и с любопытством провожали поезд. Возле колодцев наиболее отчаянные обливали проезжающих водой из ведер или кувшинов, норовя при этом окатить прежде всего жениха и невесту. Иной раз им это удавалось, и тогда Унгурияну вынимал из кармана платок и вытирал обрызганное лицо Мэриуца. Свободною рукой он бросал на дорогу мелкие монеты. Так предписывал обычай.

— Хватайте, чертенята! Это вам на кино! — весело кричал Илие, щедро расценивая копейки и пятаки по снегу.

В том месте, где падала монетка, тотчас же возникала куча мала, подымавшая над собой белое облако.

На окраине села, у небольшой и шустрой речушки, поезд остановился. Жених и невеста вышли из «газика», бросили в набегающую волну несколько монет, затем окунули кончики пальцев в воду и вернулись в машину.

— Теперь в церковь, — приказал жених.

— Это еще зачем? — удивился Тоадер Фрунзе, который, воспользовавшись остановкой, втиснулся все-таки в головной автомобиль.

— Так хочет Мэриуца.

— Ты же мне говорил, что свадьба будет без церкви! — возмутился Фрунзе, готовый вновь покинуть машину.

Кто-то попытался успокоить его:

— Не бойтесь, товарищ уполномоченный. Церковь-то у нас не работает. Ее закрыли.

Тоадер знал об этом. Но он знал также и про то, что при свадьбах или при крестинах кукоаровцы привозят попа из соседних сел. Так поступают и во время похорон. Чаще всего был приглашаем молодой священник Харю. Его Фрунзе знал, и даже очень хорошо знал. До возложения на себя священного сана этот Харю учительствовал в школе. Фрунзе едва не принял его в комсомол...

— Если церковь закрыта, то за каким дьяволом мы туда поедим! — выкрикнул Тоадер.

— А мы только так: глянем на нее и помчимся дальше, — сказал Унгурияну. — Аль ты не знаешь меня!.. Я уже давно ничего общего не имею с церковью. Она — опиум для народа и форменный обман!.. Мы только проедем рядышком с ней — и все. Ваш двор, к тому же, стоит возле церкви. По обычаю мы все равно должны были заехать во двор посаженного отца. Так что... Так что считай, что это мы к вам направляемся. Да и нету другой дороги!..

Фрунзе насторожился: хоть и простоват с виду Илие Унгурияну, но все же мог обвести вокруг пальца своего посаженного отца.

Однако опасения последнего были напрасны. В церковной ограде было пустынно. Машины ни на секунду даже не замедлили своего хода. Парни еще раз гаркнули так, что дрогнули все церковные купола, вспугнув голубей и галок. Малое происшествие все же случилось. В тот момент, когда головная машина проезжала мимо церкви, невеста вырвалась из объятий жениха, распахнула дверцу и истоиво перекрестилась. Не ожидавший ничего подобного Унгурияну побагровел:

— Ты, Мэриуца, может, еще и икону прячешь где-нибудь?

— Нету у меня никакой иконы, безбожник!

— Ты знала, за кого выходишь замуж! Опозорить меня хочешь перед всем народом?! — Илие на всякий случай нашаривал рукой за спиною невесты.

— Ищи, ищи!.. Эх ты!.. Икона — не иглока, ее не спрячешь на сиденье!..

Мэриуэ не была набожной. Крестное знамение она совершила просто так, из озорства, а сейчас корчилась от смеха: пускай ищет, дурачок, несуществующую икону!

«Гм... Она устраивает мне эти штучки уже в первый день свадьбы! — беспокойно думал Унгурияну. — А что же будет потом?..»

С иконами, как известно, он ведет давнюю войну, из-за них поскакал с матерью. Но что возмем с темной, неграмотной женщины! Мэриуэ же комсомолка, училась в школе, постоянно приходила в его клуб, участвовала в художественной самодеятельности. Разве не он, Унгурияну, воспитывал таких, как эта Мэриуэ?! Разве не для них приглашал он учителей, лекторов, чтобы вести антирелигиозную пропаганду?! Для кого же расклеивал он по селу плакаты?.. Не для глухих и полуслепых старух и стариков, одною ногой уже стоявших в могиле?! Мэриуэ — не самая юная комсомолка, у которой еще молоко не обсохло на губах. Она пришла в ряды ВЛКСМ еще до эвакуации, до прорыва нашего фронта в Валя Кулей. Это-то Унгурияну хорошо помнит. Помнит он и про то, что тогда Мэриуэ миловалась с Митрей Негарэ. Позже она же принимала участие в концертах, даваемых сельской молодежью солдатам на передовой, пела для них хорошие песни. Может, не для них одних пела, но и для Митри, который был тогда где-то за линией фронта в своем партизанском отряде. Очень уж она его любила. Унгурияну знал, что по-настоящему-то Мэриуэ и любила лишь одного Митрю. Если уж она решилась однажды на то, чтобы сшить малую подушку, спрятать ее под юбку, затем прийти в дом Негарэ и сообщить чужой женщине, что забеременела от ее сына, если могла пойти на такое, значит, очень уж любила того Митрю! Но он не вернулся. Ждала-ждала его Мэриуэ, да так и не дождалась. Нельзя же, в самом деле, ждать до бесконечности!.. Годы уходят, мать ворчит... Да и матушка самого Унгурияну дня не проживет, чтобы не побранить Илие. Одно у нее на уме — поскорее женить единственного сына.

Вдовьи языки злы. Терпел-терпел Илие, да вдруг и объявил девушке: «Давай, Мэриуэ, поженимся!»

Он сказал это ей в клубе. Поначалу вроде бы в шутку. Девушка же задумалась, позволила в тот вечер проводить себя до своей калитки. При расставании вздохнула, не сказав ни да ни нет. Илие ожидал, что она выругает его или даже плюнет, как это не раз делали в подобных случаях другие девчата. Но Мэриуэ промолчала. Тогда-то тугодум Унгурияну понял, что нужно засылать сватов, чтобы сделали запой. Если бы это зависело только от него, он справил бы свадьбу в один день. Но солдатские вдовы, его мать и мать Мэриуэ, придерживались старых правил; они не торопились, им тре-

бовалось время, и притом немалое, чтобы увериться: да, их чадам ничто не угрожает, жених и невеста стоят друг друга.

Илие Унгурияну ничего не оставалось, как ждать. И он ждал. Ждал невыносимо долго. Вот тогда-то все кукоаровские девчата слились, сплывились для него в одном имени: «Мэриуэ»...

...С этими мыслями Унгурияну вывел свою невесту из машины и вошел с нею во двор своего дома. У самого порога хижинки Мэриуэ подала ему два стакана вина. Унгурияну, следуя обычаю, выплеснул его через плечо и возгласил громко, чтобы слышали все:

— Пусть выльется все зло, а вместе с ним останутся позади и все беды, как вылилось вино из этих стаканов!.. Назад мне нет пути! Пойду только вперед, вся жизнь у меня — впереди!..

#### 4

Сколько веревочке не виться, а конец бывает. Кувшину не век ходить по воду: когда-нибудь он все равно разобьется. Ухватившись за одну ниточку, можно распутать весь клубок. Человек дошел до этой истины по своему житейскому опыту и по опыту предшествующих поколений.

Нашлась наконец ниточка и для распутывания клубка, который вот уже много лет не давал покоя кодрянам.

Началось все с женского монастыря. Слышно было, что все его послушницы страдали от головных болей и боролись с недугом каждая по-своему. Одни нарезали тонкими кружочками сырую картошку, смачивали ее уксусом и с помощью повязки прикладывали на лоб; другие дольками чеснока натирали типун на кончике языка, чеснок сдабривался при этом солью. Но головные боли не отступали. Не понимая, что с ними содеялось, монахини проводили дни и ночи в своих кельях не в господнем, а в натуральном страхе. Вся их жизнь проходила в стенах монастыря. Тут они выдерживали свято все посты, пробавлялись, чем бог послал, питались впроголодь, хотя работали очень много. Когда становилось уж очень тяжело, расходились по ближайшим селениям и там отыскивали себе дело. Брали у крестьян шерсть, затем всю зиму пряли ее, делали основу, красили и ткали ковры, дорожки, настенные коврики. Ткали они и полотно из пеньки конопля, вымоченной предварительно в проточной воде. Слава о мастерицах разнеслась далеко окрест. Селяне жалели трудолюбивых монашенок, одаривали их то сумочкой или ведром муки, то бутылочкой подсолнечного масла, зная при этом, что за божьими этими угодами ничего даром не пропадет: отработают потом. Тихие и безропотные мироносицы не чурались никакой работы. Казалось, они умели делать все: изготавливали



фитили, хорошо знали дубильное дело, скорняжье, принимали для выделки телячьих и овечьих шкуры. Особенно удавалась им выделка ягнячьих шкур. Они возвращали их владельцам белыми и тонкими, как бумага, и шелковисто-мягкими.

Добрая, однако, слава об этих безобидных умельцах принесла им однажды большое несчастье.

Как-то ночью в женский монастырь, отгороженный от всего света лесами, явилась сперва красивая молодая баба, а вслед за нею ворвались несколько мужчин, вооруженных автоматами.

Вокруг стояли одни угрюмые немые леса. И тьма кромешная. Слышно было только, как возле повозки лошади хрумят овес из торб, подвешенных к оглоблям. Из повозки молчаливые люди стали брать мешки и заносить их в монашеские кельи, похожие на ячейки пчелиного сота. Затем незнакомцы извлекали из мешков не выделанные смушки, пересчитывали их и передавали послушницам-мастерицам. Эти последние, разумеется, сразу же поняли, что тут дело нечистое, что красивые эти, серебристые, пепельно-серые, с сиреневым оттенком, шкурки крадены. Но что они могли поделать с вооруженными мужичищами, из которых один сурово приказал: «Выделывайте, и чтоб — ни гу гу! Слышание, вы?.. Чтобы — молчок!..»

Уходя, бандиты обещали оплатить работу монахинь. А тем не нужна никакая плата, оставили бы их только в покое. Меньше всего этим тихим женщинам хотелось иметь дело с милицией, которая, конечно же, рано или поздно займется преступниками, наступит на звериный их хвост. Вот горе так горе! Ведь только для того и пошли они в монастырь, чтобы в глухих его кельях укрыться от всех мирских бед и удовольствий. Для этого они готовы были питаться (и действительно питались) одной фасолью и трудиться с утра до поздней ночи. Работая, они в последнее время жили надеждой на новые и для них времена. Из района до монахинь дошли слухи, что в их монастыре скоро будет создана ковровая фабрика, что тут установят машины, с тем чтобы облегчить труд мастериц. Монастырь, по сути, уже не функционировал. Игуменья, настоятельница монастыря, скрылась, бросила своих несчастных послушниц на произвол судьбы. Многие девушки разбежались по домам. А куда деваться пожилым? Куда пойдут старухи, у которых не осталось никого из родственников? У них были только их умелые руки и пчелиное трудолюбие, так что ковровая фабрика явилась бы для них спасением. В этом случае они могли бы передать свое искусство девочкам, а сами спокойно уйти на пенсию (они ведь слышали, что Советское государство ввело ее для пожилых работающих людей). Теперь же послушницы были безза-

щитны, и им пришлось помимо своей воли взять великий грех на душу, вступить в преступное сообщество с ворами. Они оказались вдруг между молотом и наковальней. Если заявят в милицию, бандиты всех их перестреляют; если же отмолчатся, объявится милиция и посчитает их за сообщниц бандитов. Вот ведь какая напасть обрушилась на их головы! Не имея поблизости мужчин, которые могли бы защитить их, монахини и без того жили в вечном страхе. Теперь страх этот увеличился во сто крат. Несчастливым мирноносцам ничего не оставалось, кроме как вознести руки и глаза к небу и ждать помощи от господ бога. Сыворотки из овечьего молока у них было так мало, что ее не хватало на дубление и десятка шкур из этого вороха. Охая и вздыхая, послушницы прикладывали к вискам примочки — иного лекарства у них не было.

Охая и вздыхая, некоторые из них продолжали выходить в села. И если Рим в некие времена был спасен гусями, то монахини обязаны своим спасением этим самым охам и вздохам. Должно быть, какая-то из них, сокрушаясь, сообщила кому-то из сельских жителей причину печальности — под большим, разумеется, секретом шепнула какой-то своей давней приятельнице. Та, как это водится, — своей подружке. Ну и пошло! Словом, очень скоро о несчастье узниц женского монастыря в Валя Манчей узнали в милиции. Все остальное было делом времени. Времени и... Гончарука, начальника районного отделения милиции. В течение двух недель он помог монахиням с помощью привезенных им специалистов из города выдубить немалое количество шкур, на которые не ставилось клеймо «Заготовивсырья». Часть шкур Гончарук захватил с собой невыделанными. Неподалеку от монастыря была устроена засада.

Оставалось ждать «заказчиков». Ждать пришлось долго. Но терпение сотрудников угрозыска было в конце концов вознаграждено. За готовым товаром явился монах из мужского монастыря, находившегося за горой, совсем недалеко от Валя Манчей. Это был не кто иной, как Андронаке Харцук. Да, да, тот самый, которому удалось выскользнуть из рук Илье Унгурияну во время операции по раскулачиванию и укрыться в ближнем от Кукоары лесу. Сейчас взять его такого, тепленького, не представляло никакого труда...

Сперва Тоадер Фрунзе смотрел на Андронаке даже с некоторым любопытством, как смотрят на незнакомца. Харцук, сгорбившись, сидел на стуле перед дверью начальника милиции. Как бы что-то припоминая, он вскинул глаза на односельчанина, хотел что-то сказать, но ступешался, вновь опустил голову. Грязный, небритый, в помятой, рваной одежде, он не знал, куда деть свои огромные руки, перепач-

канные в глине. Ужасный внешний вид и неприятный запах, источавшийся давно не мытым телом, усиливали сходство этого человека с загнанным зверем, например, с диким кабаном, к которому не приблизятся ни ворон, ни лисица, чтобы полакомиться мясом. Всякий раз, когда открывалась дверь, Андронаке вздрагивал, словно хотел сорваться с места и убежать от неминуемого возмездия. В его глазах, которые он поднимал на людей время от времени, отражалось то тупое безразличие, полная отрешенность от всего земного, то люта, дикая злоба хищника, попавшего в капкан.

В кабинет Гончарука то и дело входили, а затем выходили из него сотрудники милиции. Офицеры, сержанты ныряли туда по одному и по трое разом. Одни без головного убора, другие в форменных фуражках. Глянув коротко на Андронаке, на ходу здоровались с Фрунзе, иногда спрашивали у него:

— Он утверждает, что из Кукоары. Это правда?

— Да, я хорошо знаю его.

Несколько раз и сам Гончарук выглядывал из кабинета. В последние годы он облысел и, чтобы не испытывать больше никакой нужды в расческе, тщательно выбривал голову. Однако по старой привычке нет-нет да и проводил ладонью ото лба к маковке, как бы поправляя прическу. Иногда вытирал череп носовым платком и затем озабоченно осматривал его: не запачкан ли?

Андронаке понимал, что этот человек тут главный и что от него в большей степени зависит теперь его, Андронаке, судьба, а потому и вскакивал при появлении начальника, вытягивался перед ним в струнку, выпаливая скороговоркой:

— Я не виноват, товарищ командир!.. Это они... они послали меня!.. Силой заставили.. угрозами!..

Гончарук словно бы и не слышал этого лепета, а давал какое-то поручение то одному, то другому своему сотруднику. Чаще всего он обращался к офицеру, который сидел за столом перед пишущей машинкой. Его звали Жаров, и Тоадер Фрунзе хорошо знал его. Каждый год комсомольцы из районного отделения милиции, прокуратуры и народного суда выбирали этого парня секретарем первичной организации, ценя в нем аккуратность и высокую дисциплинированность. Болезненный по натуре, Жаров зимою и летом ходил с потными руками, и не очень-то было приятно здороваться с ним. Но он едва ли не единственный, кто приносил в район протоколы собраний и заседаний, отчетанные на машинке. Только сейчас Тоадер Фрунзе понял, что офицер этот и есть та секретарь-машинистка, которой полагалось бы сидеть за таким столиком. Видно, у начальника милиции было столько работы, что с нею

не справилась бы ни одна из женщин; Жаров сидел тут нередко целыми ночами. Он и сейчас не отрывал своих глаз от бумаг. Заслышав топот, вдруг встал из-за стола и подошел к двери, обитой дерматином. В прихожую прямо-таки волоком втащили нового арестованного, связанного по рукам и ногам.

Сорвался со своего места и Андронаке. Подскочил и заорал:

— Он!.. Он послал меня с повозкой в женский монастырь!..

— А-а!.. Это ты, брат Исай!.. — отозвался арестованный.

— Никакой я тебе не брат!.. И не Исай!.. Андронаке мое имя! — возопил Харцук.

— Не знаю. В монастыре ты принял имя Исай.

— Андронаке... Андронаке я!

— Ну что ж, брат Андронаке...

— Лесной бирюк тебе брат!

— Не разговаривать! А ну, марш! — закричал конвоир.

Он увел преступника в кабинет начальника и, вернувшись, кивнув в сторону Андронаке, сказал Тоадеру:

— Теперь прикидывается несчастным, обманутым. А там, когда мы его брали, понаделал нам всем столько синяков и шишек...

— Я ж тебе говорил, что Харцук силен, как бык. Он пьет рыбий жир, как мы с тобой воду.

Молоденький милиционер посмотрел на Андронаке совершенно беззлобно, вроде бы даже с некоторым уважением. Вообще он был чрезвычайно добродушным и отзывчивым. В свое время Фрунзе принимал его в комсомол и теперь в душе радовался, что из парня вышел отличный работник. Совсем недавно на его погонах объявились сержантские знаки отличия. Был он еще сверх меры словоохотлив и, зная за собой эту слабость, тщательно контролировал себя, старался держать, что называется, язык за зубами. И сейчас, после стычки в женском монастыре, его так и подмывало рассказать о ней Тоадеру Фрунзе, но тут уж ему, пожалуй, мешал Андронаке, который орал и ругался без умолку:

— Негодяй!.. Мошенник!.. Своими бы руками задушил его, стервеца!.. А еще работал секретарем в Совете... Клялся и божился, что в монахи пошел из-за жены-курвы!.. Ух, гидра проклятая!.. Сам ты распоследняя б.д. в шта-нах!.. Это ты втащил меня... втащил в эту яму!.. Волк!.. Коршун!..

Из-за двери слышались приглушенные голоса. Но разобрать слов было невозможно: мешал Андронаке, которого, очевидно, вовсе не интересовало, что происходит в кабинете Гончарука. Он продолжал, и, кажется, совершенно искренне, изливать свою злость на того, с ко-



го снимался сейчас допрос там, за тяжелой, оббитой черным дерматином дверью:

— Ох, ну и волк!.. И как я мог поверить ему! Тьфу, дьявол! Как только тебя земля держит!..

Жаров временами переставал печатать на машинке, смотрел на пылающего во гневе Андронаке, потом, улыбаясь, переводил взгляд на Тоадера Фрунзе. Взгляд этот и эта улыбка говорили:

«Вот такое бывает всегда со всеми злоумышленниками. Пока их не прижмут к стенке неопровержимыми фактами, они выдают себя чуть ли не за ангелов!..»

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

— Поехали!

Вслед за этой командой из кабинета почти выскочил Гончарук в шинели и шапке-ушанке. За ним вышел финн, капитан из госбезопасности. Не мешкая ни минуты, Асаулян — начальник паспортного стола, Жаров и несколько других работников милиции, находившихся до этого в другой комнате, быстро оделись, выбежали в коридор, на ходу проверяя пистолеты и обоймы с патронами. У некоторых кроме пистолетов были еще автоматы и запасные диски к ним. Патронами набиты и сумки, висевшие через плечо, словно бы эти люди отправлялись в поле на посевную, когда такие сумки заполняются хлебом, брынзой и другой едой.

«Ну и работенка у этих ребят!» — подумал Тоадер, провожая взглядом сотрудников милиции.

Да, для всех людей война окончилась, но только не для этих.

Во дворе их уже ожидало несколько грузовиков с дружинниками-осодмиловцами из разных деревень. Два-три года тому назад им пришлось бы месить грязь своими ногами, гонимая за бандой Гицэ Могулды. Теперь в распоряжении отряда были грузовики, а для офицеров даже «газики»-вездеходы.

В свете электрических лампочек причудливо мельтешили снежинки, похожие на мотыльков. В темноте они не видны, можно лишь услышать их легкое, щекощущее касание кожи лица или рук. Но, дотронувшись до тебя, снежинки растают мгновенно, так, что ты не успеешь почувствовать ни их холодного прикосновения, ни веса. Но если какая-то из них угодит на нос или на губы, то ты сразу узнаешь и ее запах, и ее вкус — запах и вкус первозданной, непередаваемой свежести. Почувствуй то и другое, ноздри надуваются парусом, а рот сам

собой вожаденно раскроется, чтобы захватить капельку пресной, воистину святой водицы.

В поле, на равнине, снег ложится огромным, хорошо выбеленным и будто бы отутюженным полотном. Утром, как по книге, можно прочесть ночную жизнь разных зверей и зверюшек. Вот тут осторожно шел волк, чаевший добычи; там — лиса по крохотному следу полевой мыши; здесь топтался зайчишка, обгладывая торчавшие из-под снега огрызки капустных кочерыжек. В поле и ночью человеку не так одиноко и тревожно, как в лесу.

В лесу за каждым деревом, за каждым кустом чудится опасность. Хрустнет ли сухая ветка под ногами неведомого зверя, упадет ли откуда-то сверху шапка снега, сшибленная неизвестно кем, потрутся ли друг о друга под порывами набежавшего гуляки-ветра два старых, немощных ствола, а человек уже вздрагивает, настораживается, напружинивается весь: его все тут пугает, даже глухая немота леса. Но это когда он в лесу один. Но когда, как вот теперь, их целая артель, люди и не слышат всех этих лесных шорохов и перешептываний — всё куда-то убегает от людских голосов, от смеха, от разговоров, убегает даже тогда, когда люди по необходимости вынуждены молчать, сохранять полнейшую тишину.

Лежавшие на пути села отряд обезджал стороной, потому что там мог встретиться со множеством препятствий — угодить колесом машины в залитую незамерзающей водой канаву, натолкнуться на припозднившуюся пьяную компанию (в такую пору часто справляются свадьбы) или просто заплутаться в замысловатых улицах и проулках. Лишь издали казалось, что селения погружены в глубокий покой. Но прислушайся хорошенько — и до тебя докатится приглушенный расстоянием собачий лай, drobный стук барабана.

«В доме Унгурану, наверное, сейчас начали раздавать калачи. Свадьба там в полном разгаре», — подумал Тоадер Фрунзе. Он живо представил себе, как там сдвинули столы, повязали родственников жениха и невесты нарядными полотенцами; участники свадебного представления объявляют о своих дарах молодым. Один обещается принести ведро вина, другой пригнать на их двор овцу, третий — кабанчика. Впрочем, по установившемуся обычаю все эти дары не приносятся и не пригоняются самими жертвователями. После свадьбы жених, в нынешнем случае Илие Унгурану, сам должен будет обойти дворы и собрать подарки. И даже не обойти, а объехать на повозке, в которой установят пустую бочку для вина. Дары разные, ценность их определяется степенью родства: самые близкие непременно ссудят овцу или годовалого теленка, друзья и подруги — кур, цыплят. Трактористы и те, что работают на фермах, могут подбросить по пуду зерна —

пшеницы или кукурузы. Большая же часть приглашенных на свадьбу будет одаривать молодых вином и деньгами. Деньги — для того, чтобы новая семья могла свить для себя собственное гнездо, то есть построить избу. Вино же будет литься буквально рекою. Белое, розовое, красное, темно-бордовое, почти черное, хорошее и плохое, настоящее и «повенчанное» для крепости с водкой. Каждый преподнесет не менее ведра вина; даже бедняк из бедняков и тот не отстанет в этом от других. Может, и отыщется какой-нибудь один слишком уж прижимистый мужичок, который не соблюдает такого обычая, но что с ним поделаешь! И в лесу среди крепких, здоровых, полноценных деревьев нет-нет да и попадется ни на что не годный сухостой. Хуже то, что и этот мужичок-кулачок первым норовит попасть на свадьбу, пьет и ест там за десятирых, наобещает бог знает каких подношений, только ты, жених, никогда не застанешь неслыханно щедрого на словах односельчанина в его доме, чтобы получить обещанное. Можешь хоть сто раз подходить к жилищу скупердя, но тебе ничего не останется, кроме как поцеловать замок у молчаливых и равнодушных дверей.

«Интересно, а какой подарок получит Унгурияну от колхоза?» — мысленно спрашивал себя Фрунзэ.

Колхоз-то пока что очень беден и не может одарить молодых чем-нибудь весьма ценным. Придет время, когда он наберется силенок, тогда с него и спрос будет другой.

«А что Илье Унгурияну сделает с такою пропастью вина? — размышлял, и не без тревоги, Тоадер Фрунзэ. — Будь он поумнее, то должен был бы поскорее распродать его. Собранное в разных погребах и разных сортов, смешанное в одной бочке, такое вино нельзя хранить долго. И выпить его с дружками в короткое время, если даже не воспрепятствует этому молодая жена, никак невозможно. Через какие-нибудь две-три недели напиток этот может выкинуть любую штуку. О, вино капризно и своенравно! Оно не прощает своему хозяину ни малейшей оплошности, пересчитает все его недоделки и промахи, строго накажет за то, что владелец погреба недостаточно хорошо промыл посуду, и за то, что поместил винную бочку рядом с горькою свеклы и кадушкой соленостей, и еще за многое другое — словом, выдаст самую полную и справедливую характеристику мужику. От близких своих соседей — соленых огурцов и капусты — вино нанюхается такого, что от него самого шибанет по твоим ноздрям таким милым запахом, что ты поспешишь заткнуть нос!..

«Гм... Странно все-таки устроен человек, — вдруг спохватился Тоадер Фрунзэ, — где-то недалеко его подстерегает смертельная опасность, а он думает о всяких пустяках!..»

В своих ничемных заботах о чужом вине парень и не заметил, как задремал: в кабине машины было тепло. Дороги, покрытые снегом, не трясли на ухабах, а мягко и приятно укачивали.

— Выстрелы!.. Слышите, выстрелы!

— Где?

— Кажется, в долине!

Первыми их услышали водители «газиков».

Теперь все повыскакивали из машин и прислушались, стараясь получше определить, где это стреляют. Выстрелы были редкими, временами они умолкали вовсе, и тогда вокруг воцарялась тягостная, посасывающая под ложечкой тишина. Затем стрельба возобновлялась.

— Похоже, что осодмиловцы из Чулука затеяли эту пальбу!.. Не вытерпели, негодяи!.. Ведь мы их предупреждали по телефону, чтоб до нашего приезда не затевали боя! — говорил Асауляк. — Опять упустим!

— Нет, теперь не упустим! — спокойно сказал Гончарук.

Он обер платком лысину, туго натянул на голову шапку и заключил:

— Осодмиловцы там не одни. С ними — Рахматулин.

«Почему же мы медлим? Кто-нибудь один должен тут командовать!»

Как бы откликаясь на эти тревожные мысли Тоадера Фрунзэ, начальник милиции крикнул:

— Асауляк!.. Жаров!.. Спуститесь со своими отделениями вниз по виноградникам!..

Склон, по которому раскинулись виноградники, круто сбегал к селу. Казалось, что эти чудачи, жители Чулука, натаскали сюда землю мешками и торбами, чтобы возвращать тут благородную лозу. Ребятам из отряда Гончарука чудилось, что их кто-то подталкивает в спину, да так сильно, что приходилось бежать во весь дух, а то и просто катиться кубарем. Некоторые из отделений Жарова и Асауляка проделывали остаток пути на ягодицах, будто мчались с горы на санках. Настоящая дорога обходила склон стороной, змеилась не то слева, не то справа и вступала в село у выгона, в конце виноградников. По ней теперь ехали машины, которым предписывалось прибыть в Чулук одновременно с группами Жарова и Асауляка, чтобы успеть отрезать бандитам путь в лес, начинавшийся сразу же за выгоном.

— Стоп! Остановить машины тут! — скомандовал Гончарук.

Офицеры из райвоенкомата и финн, а также Тоадер Фрунзэ перешли местную речушку по деревянному мосту. К Тоадеру невольно жались небольшая кучка комсомольцев. Сейчас они примолкли — куда только подевались их шутки, веселье! Не слышно было даже дыханья: так затаились хлопцы-молодцы. Сам Гончарук с осодмиловцами двинулся по краю



выгона, так что скоро все село оказалось в достаточно плотном окружении отряда.

Перед Фрунзе сразу же выросла изба. Но он тут же разглядел, что это еще не изба, а лишь ее зачин — высилась только высокая пирамида аккуратно сложенных саманных кирпичей; кто-то готовился возвести здесь для себя жилье. Пирамида, чтобы хлипкий саман не размок, была покрыта сверху снопами камыша и потому была похожа на хату, обезлюдевшую, молчаливую, но все-таки хату. За нею, однако, начались всамделишные дома, но и они пока что не имели ни дверей, ни окон, а, стало быть, и людей, да и стены оставались незаштукатуренными. Новые, значит, дома. Село явно разрасталось по выгону, тяготей к лесу. Дальше по сердитому урчанию псов из соломенных будок можно было уже понять, что начинались обжитые подворья, что перед отрядом выступили наконец жилые хижинки. Собаки рычали, но весьма сдержанно, в яростный лай почему-то не переходили. И во дворах что-то не видно было любопытных, которые в таких случаях обычно объявляются. С каждым шагом, уводящим ребят от машин, становилось все тревожнее. Противный холодок пробрался за пазуху и сжимал сердце. Пальцы, державшие автомат, прямо-таки прикипали к железу.

«Почему прекратились выстрелы?»

Под ногами необыкновенно звонко скрипел снег. Его потрескивание слышалось и со стороны леса. Фрунзе вдруг вспомнил, что именно в этом лесу несколько лет назад располагался лагерь допризывников. Будучи с ними одного возраста, Тоадер, тогда директор школы, был также привлечен на двухмесячные сборы. Но его освободили от собственно военных занятий, с тем чтобы научил завтрашних солдат читать и писать, сносно говорить по-русски. Фрунзе делал это с великим удовольствием, для него это был отдых, поскольку не приходилось заниматься ремонтом школы, заготавливать на зиму дрова, ходить в районо на бесконечные инструктажи, семинары и совещания. В лесу — чудно! На небольшой поляне воткнули колышки, к ним прибили длинные доски; на них садились здоровенные парни, остриженные «под ноль», и слушали, что говорит им учитель, то есть Тоадер Фрунзе. Занимались по четыре часа в день. Сколотили и летнюю танцевальную площадку, которую нарекли эстрадой, — эту для того, чтобы в выходные дни заманить сюда девчат. Они стайками залетали в лес из села, по которому сейчас пробирался отряд. Залетали нарядными бабочками, в цветастых платьях и платочках. Не прекращалась и живая струйка вина, сочившаяся из селений, откуда были собраны допризывники. К нему добавлялась водочка собственного производства: ребята наловчились гнать ее из дикой черешни, мелкой и горькой, словно бы специаль-

но придуманной кудесницей-природой для такой цели. Водка получалась чистой, прозрачной, как девичья слеза, сохранявшей в нужной пропорции вкус и запах лесной черешни. Славное было время, что и говорить! Тоадер Фрунзе был уверен, что идущие сейчас рядом с ним работники военкомата хорошо помнят о тех днях.

Но до этих ли им воспоминаний! Все они, бывшие фронтовики, десятки раз рисковали своими жизнями, но то было на войне, где рисовали все. А сейчас смерть подстерегала их за каждым углом и могла прийти от пули какого-то бандита — разве не обидно!.. Фрунзе хорошо знал военкоматовских офицеров. Один из них, который шел рядом, и сейчас еще прихрамывает, припадая на правую ногу: из-за этого ранения он и был отчислен из строевой части.

«Но почему не стреляют?!»

Нехорошо, мутно было на сердце у комсомольского вожака. Не нравилась ему эта тишина. «С ними Рахматулин», — вспомнил он слова начальника милиции и немного успокоился. Кроме пистолета у Рахматулина был еще автомат, с которым он не расставался, отправляясь в дорогу. Вот, кажется, на отдельные, внезапно возобновившиеся выстрелы сейчас раздались его короткие очереди, похожие на дробный стук дятла по стволу высохшего дерева. Ребята побежали на эти выстрелы, миновали какой-то овраг, где в кровь ободрались в колючках акации. Поднявшись из оврага, увидели свет. Теперь до них стали отчетливо долетать и человеческие голоса. Возле дома Гицэ Могылда собрались соседи и громко обсуждали случившееся:

— Поймали его, кума?

— Нет, кажись.

— Ты, кум, был там. Видел, чай, как он выглядит?

— Вправду мертвый? Не захотел, знать, живым сдаться?..

— Сдастся такой!..

Люди двинулись и стояли на месте, держа в руках фонари, прозванные «летучими мышами», перехватывали тех, кто выходил со двора бандитского предводителя.

— И полюбовницу его убили?

— Ну!.. А красива ж была, паскуда!..

— Глупая баба, что с нее взять!

— Глупая-то глупая, а она, говорят, убила того татарина!..

— Какого татарина?

— Был такой. В милиции служил. Работавший!..

— А-а... Тот, какой от свиного сала отказывался!..

— Не может быть!.. Неужели убит?..

— Она из пулемета его, тварь такая!..

— А что с братишками-то Гицэ будет?!

— С волчатами этими?.. Не тужи о них, кум!.. И они отстреливались прямо с печки.

— С печки?!

— Да, с печки. Выбили окошечко и поливали огнем всех, кто приближался к их дому с глухой стороны!..

— Научил, знать, натренировал их Гицэ!..

— Известное дело: рядом с волком волчата и растут!

— Как бы не случилось с ними волчья беда, Навалят полные штанишки!..

— Не беспокойся. Они не кутята трусливые. Ни единой слезинки пока что не уронили!

— До последней степени держались, паршивцы! Все руки искушали милиционерам!..

— Ну и ну!.. А если б они подросли!.. Не приведи господи!..

— Не жить бы нам в этом селе. Пришлось бы бежать из него куда глаза глядят!

— А что теперь с ними будет?

— Власти знают, как поступить.

Толпа возле дома Гицэ Могилды росла, сгущалась. Разговоры, толки разные усиливались. Все норовили выдать себя за очевидцев случившегося, каждому хотелось быть тем, кто видел всё, как оно есть, собственными глазами. Физической сутолоке и бестолковщине соответствовала такая же словесная сутолока и бестолковщина. До вчерашнего дня все эти люди были молчаливы: страх перед бандитом сковывал уста, заставлял держать язык за зубами или хорошенько прикусить его, — теперь вот только мужикам и бабам захотелось дать языку полную волю.

Гончарук приказал никого не впускать во двор: толпа мешала ему работать.

Второй раз Тоадеру Фрунзе пришлось войти в избу Гицэ Могилды. Несколько лет назад с группой комсомольцев он уже врывался сюда, но тогда они опоздали на одну какую-то минуту. Теплые еще ложки лежали на столе, от нарезанной мамалыги исходил парок. От младших братьев Гицэ и в тот раз узнать ничего не удалось. Ни на один вопрос не отвечали; грязные, с длинными ногтями, смотрели они исподлобья глазами, полными звериной злобы. Их старший брат ничего не жалел для них: все краденое из еды привозил прежде всего им. Накормив, начинал учить владению разным оружием, как бы чувствовал, что рано или поздно, но дому ихнему суждено будет стать баррикадой.

Но вот чудо: обеспеченные всем сполна бандитом-братом, ребятишки продолжали заниматься и своим хозяйством. Сеяли кукурузу, пропалывали ее, выщелушивали. Невозможно представить себе, чтобы все это делала за них любовница старшего брата.

Сейчас трое этих свирепых щенков сидели, прижавшись друг к другу в сенях. Они были

все такие же грязные и неухоженные. Смотрели молча на все, что тут происходит.

Схватка, судя по всему, была короткой. Гицэ Могилды, видать, сразила пуля, которая пробила сенную дверь. Он был уже одет и упал лицом вверх. На лавку, возле разбитого окна, свалилась Лелика, будто прилегла прикорнуть немного с устатку. Дружинники переговаривались меж собой. Из их слов можно было понять, что Гицэ уложил в сенях Рахматулин, а любовницу бандита взял на мушку один из осодмиловцев-дружинников, отличный стрелок, известный в здешних краях охотник.

Со стороны дружинников были раненые. Убитым оказался один Рахматулин. Без малого четыре года воевал этот человек на фронте — остался жив. Знал ли он, что ему суждено будет погибнуть от бандитской пули?!

## 2

К весне с бандой было покончено. Кое-кто из преступников сдался добровольно, кое-кого выловили в селах соседнего района. Ниточка за ниточкой, и распутался весь клубок. Самое трудное, оказывается, — это отыскать конец ниточки, за который следовало ухватиться. Трудность усугублялась тем, что все преступления, большие и малые, совершавшиеся в здешних краях, приписывались исключительно Гицэ Могилды. Все грабежи, любое убийство, кража скотины, подметные письма, анонимные угрозы — все нанизывалось на одну нитку и вешалось на шею Гицэ Могилды. Вокруг него же создавались разные легенды. Например, всерьез утверждалось, что главарь банды самолично ловит по дорогам милиционеров, комсомольцев, сельских активистов и заставлял пить воду из прудов, при этом сам отмеряет пальцами, сколько воды нужно выпить.

Гицэ Могилды...

Ужас сеяло всюду это имя. Исчез Гицэ, исчез и людской страх, а заодно поблекли, слиняли и связанные с ним легенды. Вскоре все, от мала до велика, поняли, что никто не пил воду из пруда, что сам Гицэ был далеко не великанского роста, а, скорее, похож на маленького навозного жука, и пальцы у него не толстые, а не по-мужичьи тонюсенькие, с длинными и острыми, как у ястреба, коготками. Увидев его мертвым, крестьяне удивлялись: «Неужто вот этот сморчок наводил на всех нас ужас, держал всех в постоянном страхе!.. Да его же можно было задушить, как куренка!»

Легенды и реальная действительность находятся в состоянии вечного спора между собой, хотя эта самая реальность чаще всего и являлась источником, из которого рождались легенды и сказки. Известно, например, что во все времена в лесу ищут для себя прибежище как



герои, так и преступники, которых народная молва быстро окрашивает в цвета легендарные. Так случилось с гайдуками и, позже, с партизанами в Кодрах, с этими народными заступниками и грозными мстителями. Некоторые черты сказочности, а значит, и величия перепадали и на долю разбойников, прятавшихся в лесных дебрях и совершавших по ночам свои преступные набеги на мирные селения. Так, в памяти народной сохранились имена Полешука, Жикола, Зубкэ, Тотоя, Кукоша<sup>1</sup>. Все рассказы о них носят, как правило, мрачную, пугающую окраску. Разве что похождения Кукоша из Деренеу вспоминались в народе с оттенком некоторой веселости. Если верить легенде, то этот самый Кукош, оказавшись в плотном окружении жандармов в тот момент, когда его сподвижники вели смертельную схватку с полицейскими, вытанцовывал посреди села озорную булгэряску. Плясал и хохотал на все родное село в момент, когда люди разбежались кто куда. Рядом с ним оставались лишь музыканты, которым он пригоршнями бросал монеты. Говорят, на ногах у него были покрытые лаком сапоги на высоких каблучках, — это для того, чтобы казаться повыше ростом.

Время присыпало пеплом забвения имена и «подвиги» этих рыцарей большой дороги. От Кукоша осталась лишь развеселая булгэряска. Парни и сейчас заказывают ее музыкантам и отплясывают с огненной страстью, вовсе не зная, кто такой Кукош. Смолкла и народная молва. Скоро, очень скоро задернется непроницаемой дымкой имя и Гицэ Могылды.

...Приспела новая весна. Первая весна, не замутненная страхом. Снег сошел в небывало короткий срок. Зазеленели холмы. Вовсю шла подрезка виноградников. Земля, дымясь, жарко дышала в нетерпеливой жажде материнства. По количеству узлов, сумок и торб видно, что все село вышло в поле, на виноградники и в сады. Не отыскалось бы и единой сажени, на которой не ковырялся бы человек.

По склонам работали мужчины, вооруженные приспособлениями для подвязки виноградных лоз. Следом шли женщины и девушки — они рыхлили землю возле корней. Весь народ был поделен на бригады и звенья. В низине копались овощеводы — высаживали томаты, перцы, синие баклажаны. Плантажный плуг от зари и до зари возделывал новые участки для виноградников. Трактора находились на поле, где шел сев яровых. За околицей села, на ровной площадке, неподалеку от колодца бабки Зоицы, возводились скотоводческие фермы, отсюда с утра до ночи доносился стук топоров и визжание пил: там трудилась бригада строителей. Другая группа плотников ремонтировала мосты, перекинутые через овраги и соединяю-

щие село с полями, виноградниками и садами. Старые мосты были хороши, когда по ним проезжали легкие повозки. Но теперь, когда в Кукоаре объявились грузовики и трактора, когда новая техника прибывала и прибывала из МТС, дырявые, дряхлые деревянные старички-мосты были весьма ненадежны. Их нужно было основательно укреплять, а рядом возводить новые, современные, но для этого требовались и время, и деньги. Того и другого в юном колхозе пока что не хватало. Не хватало и умелых рук для управления техникой. Молодые трактористы и шоферы с великим трудом обретали новую для сельского жителя профессию. У одних, что помышленнее и сноровистее, машины работали, у других — больше простаивали. Сердце сжималось от жалости к этим последним. Знакомые, перепачканные мазутом мордашки совались туда-сюда в тщетных поисках недуга в умолкшем моторе; некоторые, кажется, готовы были уже зареветь; другие отчаянно матерились, забыв, очевидно, что перед ними не лошади и не быки, которых можно подгонять таким вот образом. Хрипли от брани бригадиры, механики. По полю из конца в конец носилась «летучка» — специально оборудованный грузовик для скорой технической помощи. В быстро поднявшейся люцерне, посеянной недалеко от ферм, три дня не могли пустить в дело новую сенокосилку. Колеса прокручивались через силу, от осей шел дым. В конце концов люди решили, что им прислан заводской брак, оттащили косилку на край поля и взялись за орудия, которые служат им верой и правдой на протяжении столетий, то есть за косы. Приехавшие из МТС механики в одну минуту обнаружили, что косилка исправна: нужно было лишь снять с нее густую заводскую смазку.

«Из простого недогляду скачет баба до упаду!» — пропел кто-то под общий смех.

Обычно эта присказка приходилась на долю Бостана, высоченного, тощего парня со вздыбленными на макушке волосами. Когда портился его трактор, Бостан падал сразу лицом на землю, молотил ее в бессильной ярости руками и ногами, как, очевидно, делал в детстве, когда кто-нибудь из взрослых его обижал. Но вот прискакавший на лошади механик возвращал жизнь трактору, заводил его, — Бостан вскакивал на ноги и начинал отбивать чечетку, хохоча от радости.

Только бедному Костаке Фрунзе было не до плясок. Оказавшись ненароком во главе колхоза, он в ужасе видел, что дела идут через пень-колоду. Трактористы пахали прескверно, с большими огрехами. Можно было бы на них составить акт, но попробуй это сделать: директор МТС, осерчав, немедленно заберет машины и отправит их в другое хозяйство, где трактористов встретят с распростертыми объятьями. При появлении Шеремета Костак Фрунзе, полу-

<sup>1</sup> Имена главарей бандитских шайк.

чивши нагоняй за никудышную пахоту, обрушивался на механизаторов с не свойственной для него яростью, кричал: «Я не приму такую работу!.. Составлю акт!» И — составлял. Но когда секретарь райкома партии уезжал, сразу же, на глазах у трактористов, председатель рвал бумажку, пускал клочки по ветру и начинал униженно упрашивать чумазых пахарей:

— Ну, ребятки... ну, того... вы уж поставьтесь!..

Чтобы не потерять их для своего колхоза, кормил трактористов как можно лучше. На полевом стане, в тракторной будке, никогда не переводились бурдюки с вином. За бригадиром ухаживал, как посаженный отец за женихом. С парнями из своего села было полегче. Эти совестились председателя, успокаивали его:

— Ничего, мош Костакел!.. Вы не беспокоитесь!..

Сказав это, начинали перепаживать землю. Труднее было с ребятами из других селений. Чуть что, они уже нахально бросали тебе прямо в лицо:

— Не нравимся?.. Хорошо. Мы переедем в Красношени!.. У нас есть норма!..

— Ах, вон оно что!.. А я и забыл, что у вас — норма!..

— На нас — большой спрос, товарищ председатель!

— Спрос большой, это верно. Вот бы еще вы научились пахать как следует! — не стерпев, сердито говорил Костакел.

Хорошо, если трактористы были холостые. По вечерам они шли в клуб, танцевали там с девушками, миловались и, отдохнув, направлялись к тракторам, на поле. Беда с женатыми. По воскресеньям они оставляли свои машины в борозде и уходили в соседние села к женам. На следующий день сидели за рулем сонные, вялые, как осенние мухи. За их-то плугами и оставались огрехи, которые часто приходилось перепаживать на волах и лошадях. А МТС требовала плату сполна. Трактористы кое-как перевернули тебе землю, упрятали в ней семена — остальное не их печаль-забота. Будет урожай или не будет, им наплевать: ты их работу принял — плати! МТС, что твой поп: ребеночка окрестит, а будет ли он жить и расти — это уж забота родителей. Но у кукоаровского дитяти, то есть у нового колхоза, что-то уж очень много заботников: тут и правление, и райком, и МТС, и сельхозотдел. А не случится ли с ним то же самое, что случается с ребенком, за которым приглядывают сразу семь нянек?..

Поговорку относительно этих семи нянек Костакел Фрунзе повторял множество раз, не вникая особенно в ее смысл. Повторял механически, не задумываясь, как, скажем, ел, пил, дышал. Только вот теперь, кажется, открыла она перед ним свою суть.

Ребенок родился. В муках, но родился. Ему

дали имя: «Новый путь». Едва встав на ноги, он уже открыл свой счет в банке. И сразу же образовались долги. Два килограмма на трудодень, полученные кукоаровцами в первом году, когда колхоз был освобожден от хлебопоставок, обернулись двумястами граммами в году следующем. В районе делают упор на то, что земли в «Новом пути» перспективные, только надо отдать их в основном под виноградники и сады. Только так!

Так..

А чуть ли не каждый день из города приезжал «газик», из него выходил уполномоченный и, ссылаясь на какие-то решения и постановления, требовал хлеба, мяса, молока, яиц. Сперва нашли, что Костакел Фрунзе уж очень увлекся кукурузой, и вклеили ему выговор за «кукурузные настроения». Потом нашли, что в «Новом пути» эта культура оказалась на положении Золушки, и председатель, то есть Костакел Фрунзе, получил выговор за «антикукурузные настроения». О новых виноградных плантациях как бы вовсе забыли. Особенно сердитые и частые упреки сыпались на голову «головы» за изреженность старых виноградников, под которыми была занята третья часть земельных угодий. Район требовал, чтобы их уплотнили молодыми саженцами и таким образом увеличили урожайность. Сажали. Отсылали сводки. А тем временем рядом с новыми кустами умирали естественной смертью старые: век виноградной лозы короток! Но и за гибель старых кустов ответ должен держать председатель. Спал теперь Костакел Фрунзе не более четырех часов в сутки. Вконец измаявшись, он отправился в район с решительной просьбой, чтобы его освободили от этой распроданной должности. Каплей, переполнившей чашу его в общем-то великого терпения, было следующее, может быть, не столь уж и значительное событие.

В колхозе «Новый путь» равнинной пахотной земли было что-то около шестисот гектаров. В районе Костакел Фрунзе строго-настрого приказали, чтобы на этот участок он ни в коем случае не пускал людей ни с косами, ни с жнейками.

— Скоро получим комбайны! — сказали ему не без торжественности.

— Поскорей бы. Не то пшеница начнет осыпаться!

— Завтра... Завтра же и вам направим один комбайн! Приготовьте для него массив!

Председатель летел в свое село, как на крыльях. По его указанию специально выделенные мужики сделали прокос вдоль акациевой посадки, чтобы ветви не мешали комбайну, и с великим нетерпением ждали появления чудо-машины. Они и прежде видели комбайны, но те были не самоходные, их тащили за собой старенькие колесные тракторы. А сейчас дол-



жен прийти совершенно новый, прямо с завода, и притом самоходный. Молотилка, которая сама будет двигаться по полю, носить и обмолачивать пшеницу, — ну, разве не чудо.

— Приделать бы к нему мельничные вальцы да печку, тогда бы выбрасывал позади себя горяченькие пироги! — размышлял кто-то вслух.

Но вместо горячих пирогов колхозники получили некое капризное механическое существо, которое ни за что не хотело двигаться по их пшеничному полю. Остановилось перед ним как вкопанное и больше ни с места. Механик из МТС что только с ним не делал — ничего не помогало. Под конец он пришел к выводу, что мотор у комбайна оказался недостаточно сильным, чтобы тащить на себе такую махину да еще и вращать все ее бесчисленные сочленения. Колхозники из «Нового пути» выслушали специалиста с уважением, согласились с ним, а пшеница тем временем стала вытекать из колосьев на землю.

Костак Фрунзе пришел в ярость: на его глазах погибал лучший хлеб — главная его надежда. Косари в два дня уложили бы весь массив в валки, а теперь момент был упущен. От малейшего прикосновения косы зерно сыпалось прямо-таки ручьями. Кто-то из стариков вспомнил о серпах — лишь этим древнейшим орудием сеятеля можно было спасти хлеб. Серпы отыскивались почти во всех дворах — торчали под крышами изб и на чердаках. Жатва проходила в основном ночью, когда от росы колос немного увлажнялся и не ронял зерно от прикосновения человеческих рук к стеблю пшеницы. Механик, спасая не хлеб, а свою репутацию, сообщил в район, что виноват не комбайн, а поле, которое по весне было вспахано так плохо, что по нему не мог двигаться его красавец. Кончилось тем, что Костак Фрунзе получил хорошенькую головомойку за недооценку современной техники и за то, что не создал надлежащих условий для работы нового комбайна.

Председатель принял очередную выволочку с крестьянским смирением. Но когда от него потребовали, чтобы он уплатил МТС за простой дорогостоящей машины, взбунтовался. Ворвавшись в один из руководящих кабинетов в районе и бросив на стол заявление, закричал:

— Снимайте меня с председателей! Я не хочу быть посмешищем в глазах моих односельчан!.. Они своими руками убрали пшеницу, а вы хотите, чтобы я заплатил вам за несделанную работу!..

Слова эти предназначались одновременно и председателю райисполкома и находящемуся в его кабинете директору МТС.

В самом незавидном положении оказался, однако, предрика. Ему хотелось бы взять сторону председателя колхоза, но он не мог этого

сделать, поскольку его собственная жена была начальником политотдела МТС.

Шум поднялся невообразимый. Костак Фрунзе терять было нечего: он решил, чего бы это ему ни стоило, уйти с должности председателя. Шум этот докатился до райкома партии. «Спорящие стороны» были приглашены в кабинет Шеремета; тот, выслушав всех, спокойно сказал:

— Что же вы на него кричите?.. Не может же человек платить за работу, какой не было?!

— Он обязан был немедленно отправить комбайн в другое хозяйство! — горячился директор МТС.

— А я его... что?.. За хвост держал? — резонно заметил Костак.

— Подумайте только! Две недели комбайн простоял на их поле! — возмущался директор.

— А вы чего же хотели?.. Чтобы я на волах оттащил вам его?!

— Вы больше не получите ни комбайнов, ни тракторов!

— Ну и слава богу! — с непритворной радостью воскликнул Костак Фрунзе.

Но радость эта была минутной. Кто-то, а председатель-то знал, что без техники его колхозу не обойтись. Однако вздох облегчения, вырвавшийся у председателя, можно все-таки понять: все коллективные хозяйства в ту пору были в полной, безоговорочной зависимости от МТС. При таких-то обстоятельствах поневоле будешь из всех сил поддерживать хорошие отношения с директором. Даже богатые колхозы, имеющие достаточное количество грузовых автомобилей, весной и осенью вынуждены то и дело просить в МТС трактора, чтобы вывезти из грязи застрявшие машины. Директор, хоть и со скрипом, но выручал колхозы в подобных случаях, а потом сам получал превеликий нагоняй от руководителей района за то, что не сберег к посевной трактора, покалечил их прежде времени на разбитых дорогах. Тяжкое положение с техникой усугублялось тем, что ее негде было хранить: ни гаражей, ни крытых повеей. Молотилки, сеялки, жнейки, трактора и даже комбайны часто оставались ржаветь под дождем и снегом на правленческом дворе или прямо на поле. Ко всему этому надо прибавить вечную, хроническую недостачу запасных частей, которая вполне дорисует безрадную картину, картину того, как проходило становление первых колхозов в советской Молдавии в первые послевоенные годы.

— Ну, теперь-то, думаю, ты порвешь свое заявление?

— Нет, Алексей Иосифович! Не гоюсь я в председатели!

— Я, кажется, ясно сказал: разговаривать на эту тему не будем!.. Худо, хорошо ли, но с комбайном мы вроде бы разобрались. Чего

еще тебе?! Садись-ка вот сюда, на этот диван. И ты тоже, директор!.. Хочу кое-что вам прочитывать. Кое-какой материалец...

3

Костаке Фрунзе понял, что ему придется надолго задержаться в кабинете секретаря райкома, а потому и сказал:

— Пойду. Нужно завести лошадей куда-нибудь в холодок.

— Ну-ну, давай... — пробурчал хозяин кабинета, погружаясь глазами в какие-то бумаги. Он не поднял глаз и тогда, когда Костаке вернулся.

На диване, обитом черным дерматином, председателя колхоза ждала газета «Молдова социалиста» в развернутом виде.

Такие диваны стояли почти во всех кабинетах. Их появление тоже диктовалось временем: в ту пору руководящие работники райкома, райисполкома и других учреждений по необходимости часто оставались на службе и ночью и, чтобы хоть десяток минут передохнуть, заваливались на эти самые диваны. Немудреная, в общем-то очень неуклюжая мебель породила под стать себе множество анекдотов, таких же грубо сколоченных и по большей части непристойных. Но когда ты, районный работник, уже не в состоянии разомкнуть слипающихся век, когда ни крепкий чай, ни ледяная вода не помогали, когда голова наотрез отказывалась работать, когда ты со всего размаху плюхался лицом вниз на этот пахнущий резиной и человеческим потом диван, блаженно вытягивал на нем отекавшие ноги и мгновенно засыпал на те десяток или два десятка минут, тогда тебе наплевать на все, что говорилось в расхожих анекдотах о твоём ночном дерматиновом друге! Он, этот молчаливый и верный друг, подставив себя на самый малый срок под уставшую голову хозяина кабинета, помогал последнему выдерживать невероятнейшие для простого смертного нагрузки. Впрочем, а кто вам назовет предел человеческих возможностей?! Неспроста же родилась поговорка: не дай-то бог, чтобы человек выдержал столько, сколько он может выдержать!

Люди в упомянутых кабинетах выдерживали это. Правда, они старели раньше времени, прежде других начинали глотать таблётки валидола. Глотали и выдерживали нечеловеческие нагрузки. Не выдерживали кабинетные диваны — изнашивались прежде своих хозяев. Сначала обдиралась обшивка, в порванных местах выпирали наружу скрипучие, ржавые пружины. Летом, в жаркую пору, такой диван начинал распространять по всему кабинету удушающий запах растопленного гудрона. В такое время лучше на него не садиться — не то все его

старческие недуги отпечатываются на твоих брюках в самых неподходящих местах.

По этой причине прежде, чем сесть, Костаке Фрунзе ощупал диван руками. Он приехал в район в белом костюме, сшитом из домашнего полотна. Впрочем, тут-то председатель мог бы и не остерегаться: диван купили и внесли в кабинет Шеремета недавно. Обнаружив это, Костаке удобно уселся и принялся читать газету.

«Гм... «Рос бы виноградник на печке...»

Сначала Костаке не понравился заголовок статьи. Он знал, что эти слова взяты из народной песни, которую почему-то особенно любил напевать пьяненький мош Ион Мустяцэ-Нани из их Кукоары. Получалось, что газетчик сразу же настраивал на иронический, насмешливый лад. Тотчас вспомнился весь куплет, адресованный всем ленивцам:

Хорошо вино, нравится мне оно.  
Рос бы виноградник на печке,  
Трижды подвязал бы его.  
Был бы виноградник за хатой,  
Подвязал бы его своим халатом!  
Был бы виноградник на лежанке,  
А не там, на моей делянке...

Прежде, когда эта песенка никоим образом его не касалась, она представлялась Костаке Фрунзе совсем безобидной. Но, услышав ее однажды на колхозной плантации, он насторожился. Слова, раньше, лишь забавлявшие его и вызывавшие легкую улыбку, теперь больно резанули по сердцу. «Рос бы виноградник на печке...» Не хотят ли колхозники сказать, что он, председатель, распустил их, сделал лодырями?! А сейчас вот и этот журналистик о том же!..

С чтением статьи явно не ладилось. Мелкий шрифт, словно сквозь сито, сыпался на бумагу, не выстраиваясь в ровные строчки. Нет, так не пойдет! Шеремет скоро спросит... Нужно будет сказать ему свое мнение о статье...

Костаке судорожно, прямо-таки по-детски, вздохнул, проглотил слюну и вновь начал читать.

Секретарь райкома тем временем листал свою знаменитую записную книжку. В последнее время в больших селениях стали создаваться и партийные организации. На странице, открывающейся буквой «К», рядом с Кукоарой в блокнот были вписаны села: Старые и Новые Кицканы, Клишова, Кодру-Ноу, Коробчены, Красношены, Казенешты... С образованием колхозов каждое из этих селений как бы получало свое второе, новое имя, которое одновременно было и началом новой его истории. «Новый путь» — это же новая история Кукоары. И надо было хорошенько разобраться в ней, надо было понять, отчего так трудны первые шаги на этом пути. Поняв, по возможности по-



мочь. Положение, действительно, прямо-таки тяжкое. Пахотной земли в этом «Новом пути» кот наплакал. Кругом одни леса. Никудышные дороги. Склоны, рытвины, бвраги. Перед одними названиями многих участков остановится в испуге любой трактор, любой комбайн: Вершина Холмулуй, Гора Хыршенилор, Макушка Хоштянкулуй, Рытвины Хыртопул, Горб Попа... Если в других селах люди только по привычке говорили: «иду в гору» или «спускаюсь с горы», то в Кукоаре эти слова наполнялись их действительным смыслом. Взойти на гору, спуститься с горы одному человеку хоть и нелегко, но все-таки можно. Но гору эту надобно было еще распахать и засеять, а это ох как трудно! Тут даже порода лошадей и волов выведена еще далекими предками совершенно иной. Лошади были завезены с монгольских степей, коротконогие, выносливые, неприхотливые к кормам. Быки тоже были какой-то особой стати, выносливые сверх всякой меры.

Проблемы... Как же их было много!

Своею кажущейся неразрешимостью они могут до смерти испугать слабовольного, но сильного духом человека лишь еще больше укрепить. Сильный и мудрый знает, что какой бы сложной ни была задача, в конце задачника она имеет свой ответ, а это значит, что ее можно решить. Нужно только взять себя в руки, вооружиться терпением, подумать хорошенько, не отдать себя во власть нервам...

Крестьянскому-то терпению, казалось, не было конца. Колхозники обрабатывали землю с мыслью о том, что через один год, ну, через два-три года плоды их труда на полях почувствуются наконец и в их домах, и в их печах и погребах, на их дворах. Но годы шли, один за другим сменялись председатели, колхозы то укрупнялись, то разукрупнялись, сеяли то одну лишь пшеницу, то одну только кукурузу, то горячо брались за создание многоотраслевого хозяйства... Экспериментировали, экспериментировали... В некоторых колхозах пытались даже высаживать лимонные деревья, но зимой они начисто вымерзали. В иных районах принимались за рис, хлопок, сою, кок-сагыз и многое другое. Дорого же обходились колхозникам эти отчаянные эксперименты! Иного результата и не могло быть, когда исследования производились не в отдельных научных учреждениях, а чуть ли не по всей стране одновременно, сразу. Неудивительно, что многие самые ярые экспериментаторы остались с порванными, латаными-перелатаными штанами и двумястами граммами хлеба на трудодень!

Прошел через все это и район, руководимый Алексеем Иосифовичем Шереметом. Правда, ему как-то удалось увернуться от возделывания риса и хлопка, но «лимонная» эпопея не обошла его своей немилостью. Не миновала и соя. Кок-сагыз тоже без малейшего на-

мека на успех прошелся по полям района. Пока сообразили, что ничего путного из этих культур не выйдет, пришли чуть ли не в полное запустение виноградники в лесных зонах. Колхозы быстро и неотвратимо погружались в банковские долги.

Эксперименты экспериментами, но Шермет-то знал, что не в них одних следует искать причины колхозных неурядиц. С давних времен, с самого начала коллективизации по всему Союзу, утвердилось положение, при котором сельскохозяйственная техника находилась в одних руках, а земля и рабочая сила — в других. И эти руки постоянно противоборствовали, вместо того чтобы соединиться и делать одно великое дело — кормить страну. МТС всячески усиливались, чтобы отдавать технику, прежде всего трактора и комбайны, равнинным хозяйствам, где пахотных угодий было больше и где, стало быть, можно получить и большую выгоду. Колхозы лесных и горных районов зачастую находились у работников МТС на положении бедных родственников. Но ежели МТС смирится и даст такому колхозу два-три стареньких колесных трактора, то сдерет с бедняги потом три шкуры. Такие тракторы в основном будут стоять с расплавленными подшипниками, а МТС на это наплевать: плати, коли согласился взять технику! Видя такое дело и почесывая затылки, колхозники говорили с горькою усмешкой:

— Пашут, сеют волю и лошади, а хлебцев весь пожирают тракторы!

«Да-а, этого Костак Фрунзе понять можно. Несладко ему живется!» — думал Шермет, листая свою записную книжку. Он отрывался от нее и вскидывал голову только тогда, когда слышал, как вскрикивает председатель, вертевший в руках газету. Вот точно так же вскрикивал он и охал, когда с него «снимали стружку» за одно самоуправство.

Несколько лет назад, видя, что его колхоз все глубже оседает в долговую трясиину, Костак Фрунзе решил вытащить его одним хитрым и энергичным рывком. Раздобыв где-то семена малая — метелочного проса, он засеял ими несколько затерявшихся в лесу клочков земли. Никакому трактору эти семь-восемь гектаров были недоступны. Думалось председателю, что недоступны они и глазу районного начальства. Урожай вышел вполне сносный, на что, собственно, и рассчитывал Костак. Семян хватило на то, чтобы прокормить колхозных кур в течение трех месяцев, а из стеблей кукоаровские старики-умельцы понаделали множество великолепных метел и веников, которые были быстро реализованы на базаре. Выручка оказалась довольно внушительной. Малые клочки земли, забытые, кажется, не только людьми, но и богом, положили на счет колхоза «Новый путь» почти столько же денег, сколько получа-

лось со ста гектаров садов и виноградников. Кто-то в районе пронюхал, откуда пришла эта прибыль, и Костак Фрунзе был немедленно привлечен к партийной ответственности. В свое оправдание он приводил множество самых убедительных с его точки зрения, доводов: ссылался и на то, что хотел лишь погасить долги, что земельные участки, взятые им под маляй, ни на что другое и не годились, что, наконец, нужно же кому-то сеять и эту культуру, иначе она исчезнет вовсе и дворники в городе останутся без метел и веников...

О вениках председатель сказал, пожалуй, зря, потому что за эти веники сейчас же ухватились районные начальники и отхлестали его ими на совесть. К счастью, этим они и ограничились. До выговора дело почему-то не дошло тогда. Лишь фельетонист, помещавший свои ядовитые заметки в газете под рубрикой «Аричул»<sup>1</sup>, дал полную волю своему сатирическому перу. Резвясь и явно любясь собственным остроумием, он, видно, вовсе забыл про то, что сам купил на рынке сразу пять веников, изготовленных в колхозе «Новый путь» из злополучного маляя. Заметку свою он озаглавил: «Комбинатор из Кукоары».

После председатели других колхозов долго посмеивались над несчастным «комбинатором». Однако это им не мешало просить последнего, чтобы он и им ссудил десяток-другой веников и метел...

Честно говоря, Костак Фрунзе толком так и не уразумел, за что же, собственно, отстегали его и на бюро райкома, и в газете. Ведь чем богаты, тем и рады. Например, в Кицканах, Чоколтенах, Клишове, Казанештах и в других селениях имеются прекрасные огороды, и колхозы там получают немалые прибыли от овощей; районная заготконтора снабжается исключительно из этих колхозов. Почему же их председателей не привлекают к ответственности, не вызывают на бюро?

После фельетона Костак шархался от газетчиков, как черт от ладана. Да и к самим газетам испытывал далеко не лучшие чувства. Он лишь перелистывал их, выискивая глазами, не помянут ли где-нибудь его колхоз. Помянуть могли только порицательно, поскольку хвалить не за что. И поминали. Почти в каждом номере. В основном за то, что запущены виноградники, все заросли бурьяном. Колхоз «Новый путь» собирает-де на своих плантациях два урожая в год: сперва сено, потом виноград. У этих журналистов язычок что твоя бритва!

Костак Фрунзе успел заметить, что количество ругательных слов прямо пропорционально количеству газетных строк. Чем больше статья, тем больше в ней брани по адресу кри-

тикуемого. Статья, в чтение которой углубился сейчас, была очень большой. Она не поместилась в одном «подвале», верстальщику номера пришлось перенести ее окончание на другую полосу, так что она почти уткнулась в подпись редактора.

— Ну, что скажешь, товарищ Фрунзе? — спросил наконец Шеремет.

— А что тут говорить? Журналист для того и существует, чтобы строчить свои заметки.

— Какой журналист?! — удивился Шеремет.

— То есть... как это какой?

— Да ты открой глаза пошире!

— В Кукоаре я не видал ни одного газетчика.

— Правильно, их там и не было. Погляди хорошенько на подпись.

Глянув, Костак так и застыл с разинутым ртом. Опомившись, заговорил:

— А я не понимал, отчего это вы, Алексей Иосифович, ухмыляетесь. Какого-то черта угрозило носить мою фамилию...

— А какую еще фамилию должен носить твой сын?

— Мне не до шуток, Алексей Иосифович.

— Признаться, мне тоже не до них. А стейку-то написал твой сын. Да, да!.. Тот самый. И зовут его, как ты знаешь, Тоадером.

— Не может того быть!

— Очень даже может быть, Константин Георгиевич!

— Так я ж его... Запорю, сукиного сына!.. Не посмотрю на его чины-звания!.. Подумаешь, секретарь райкома комсомола!.. Уполномоченный! Я вот сейчас пойду к нему и...

— Не ходи. Его ты сейчас не найдешь. Тоадера вызвали в Кишинев.

— Кишинев?!

— Да, отец. Хотят послать твоего сына на учебу в Москву.

— В Москву?! — ахнул Костак.

— В Москву, брат, в Москву. Ты что же, недоволен?

— Нет... я, что же... Да, недоволен! Надо бы посадить его, газетного пачкуна, хоть годика на два в председатели колхоза!.. Я бы поглядел, какую бы песню запел этот умник!.. Нашелся советчик!

— А что плохого в его советах?

— Он все поставил с ног на голову. Все искал!

— Неужели? А я что-то этого не заметил, Константин Георгиевич. По-моему, там все правильно.

— Правильно... Легко расписать, как мы косим траву в виноградниках. А вот почему мы это делаем? Где причина?..

— В самом деле, где она? Назовите мне ее! — попросил вдруг Шеремет.

<sup>1</sup> Аричул — еж.



— Она не одна, Алексей Иосифович. Их много, причин... На их перечисление потребовалась бы еще одна газетная страница.

— Плохая оплата труда? Долги?

— Хлеб надо беречь, когда мешок полон. А не тогда, когда его осталось там чуть-чуть на донышке...

— Что-то я тебя не понимаю.

— А тут и понимать нечего!.. Запутались мы все вконец, заморочили друг другу головы. Сегодня кричим: пшеница, пшеница, пшеница! Завтра: кукуруза, кукуруза, кукуруза!.. Потом — фермы, мясо, молоко, яйца!.. Требуете вы все это ото всех колхозов одинаково!.. А где я вам возьму ту пшеницу, если на моем поле не прокормиться даже суслику? В оврагах, в лесу, на косогорах ее не вырастишь!

— А виноградники? Мы потребуем от тебя отчета прежде всего за них!

— Знаю, что потребуете. Но сперва у меня требуют отчета колхозники. Люди то есть. Да еще как требуют! И не первый год!.. Сколько можно кормить их одними посулами да обещаниями!.. Иные работают весь год целыми семьями, а получают какую-то торбочку зерна! Не будь приусадебных участков и привязанности к родному селу, давно бы все разбежались по городам!.. «Рос бы виноградник на печи!» Черт его матери!.. Отыскался мудрец!.. Где он был, когда зарастали виноградники?! Все жали на другое, на что угодно, только не на виноградники!..

— Что теперь ахать и охать. Надо исправлять ошибки.

— Исправлять ошибки... Дорого они нам обойдутся.

— Дорого, конечно. Но другого выхода у нас нет, Константин Георгиевич.

— Надо же! — кипел Костак. — Уничтожили все старые виноградники, а о новых как следует не позаботились. Разве же так разумный человек поступает? Он ведь не выбросит старые штаны, пока не купит новые!.. А мы выбросили и теперь ходим с голыми задницами и не краснеем от стыда!..

— Старые штаны?.. Вы хотите сказать, надо было сохранить дедовские виноградники?

— Это самое я и хотел сказать... С садами ведь то же самое.

— Но вы, кажется, заложили новый сад?

— Какой там сад? Скоро придется выкорчевать его.

— Это еще почему? — удивился встревоженный Шеремет.

— Не те сорта, Алексей Иосифович! Нам их силой навязали. Скоро такие яблоки и груши никто покупать не будет. Людям подавай теперь «джонатан», «вагнер», «ранет», «семиренко»... Из прежних сортов нужно было сохранить разве что крымские яблоки — «синапку» и «грушу-лимонку»... Ну, может, еще два-

три сорта... Никак не больше! Остальные непригодны ни для хранения, ни для выжимки соков!..

— М-да-а-а, поторопились. Недешево обойдется нам эта спешка! — вздохнув, согласился секретарь райкома. — В Красношенах посадили хорошие сорта!..

— Они вовремя раздобыли где-то нужные саженцы.

— Попробую помочь и вам. Поговорю с товарищами из сельхозотдела. Участки у вас остались?

— Гектаров двенадцать еще наскребем.

— Маловато. Ну, что поделаешь!.. И вот что я тебе еще скажу, Константин Георгиевич... Если тебя еще будут одолевать разные советчики, посылайте их всех ко мне. Или... или ко всем чертям! Будьте хозяевами на своей земле! Понятно?

4

С некоторых пор Костак Фрунзе перестал брать с собой ездового, потому что от него получались одни неприятности. Пока председатель сидел на каком-то там заседании или активе, ездовой не терял времени даром: он напивался вдрызг. Потом, конечно же, решительно не соблюдал никаких правил уличного движения. Когда его задерживали, тарасил на постоного пьяные зенки, такие же нахальные, как и слова, которыми ездовой отвечал на справедливые замечания милиционера: «Ну и что с того, что не держался правой стороны?.. Велика беда! Что?.. Может, отберете у меня шоферские права?.. Берите на здоровье! Отдам их с удовольствием вместе со всеми моими трудностями!.. Берите!» — ораторствуя, протягивал постовому кнут и вожжи, осклабясь, добавлял: «Ага, вижу, что вам не хочется сесть на мое место!.. Не хотите брать в руки вожжи!.. А зря! У нас в колхозе не жизнь, а прямо-таки рай господний!.. Настоящий курорт!.. Лес, воздух, солнце!.. Горные источники!.. Такая в них водица, аж слышно, как она шипит и булькает в животе!..»

Кривляния и пьяные разглагольствования парня, естественно, собирали большую толпу праздных зевак. Толпа дружным хохотом подогревала доморощенного лицедея-комедианта. Не выдерживал — смеялся иной раз и Костак Фрунзе. Однако, быстро спохватившись, вырывал у возницы кнут, вожжи и мчался рысью от потешавшейся публики и от обескураженно-го блюстителя порядка.

Костак Фрунзе давно бы расстался с таким ездовым, если б не было у того парня качеств, вполне покрывавших его недостатки. Во-первых, этот шалопай очень любил лошадей, нередко ночевал с ними в колхозной конюшне. Поил из лучших колодцев, кормил (нередко урядкой от председателя) отборным овсом, каж-

дый день чистил скребницей, даже целовал в бархатные их губы, украшал конские гривы нарядными лентами. Это во-первых. Во-вторых, что имело немалое значение, с таким веселым шутником любая дорога не покажется тебе длинной — с ним действительно не соскучишься. Рассказывая о ком-нибудь из своих односельчан, парень так живо и похоже изображал его и голосом, и лицом, что ты забывал, что сидишь рядом с ездовым, а не с тем, кого он сейчас тебе представлял. Иногда Костак Фрунзе даже казалось, что в его телеге каким-то чудом поместилась вся Кукоара с ее немислимым разнообразием лиц и характеров. Твои односельчане сидят рядом с тобой, рассказывают друг другу были и небылицы, разыгрывают пресмешные комедии, и ты, слушая их, забываешь на время про все свои председательские заботы, беды и огорчения.

«Смех сквозь слезы, — размышлял грустно Костак Фрунзе, беря в руки вожжи. — Сейчас очень даже пригодился бы мне смех того парня!»

Но развеселого сынка мош Дорофтея не было рядом с председателем, и груз тяжелых мыслей целиком навалился на его сердце.

«Говорят и так, и этак. Каждый норовит дать тебе совет. Послушаешься, сделаешь, как посоветовали... Выгонишь какую-то беду из одних ворот, а она вернется к тебе через другие, приведя за собой новую, еще более горшую... Тринадцать пар лошадей и восемь пар быков, искалеченные повозки, неисправные плуги и бороны, ни единой коровы, овцы, ни единого поросенка — вот с какого приданого начал свою новую жизнь колхоз по имени «Новый путь»!.. К этому надобно прибавить заросшую сорняками землю, истощенный голодом народ и сразу же обрушившиеся на неокрепшее хозяйство прилипчивые, как недоля, долги... И разноречивые указания сверху, которые, в общем-то, понять тоже можно. «Сейте, сейте!.. Побольше сейте пшеницы!» — требовали директивы, а за этими словами слышалось: «Без этого не отменишь карточек на хлеб!» — «Сейте, сейте!.. Побольше сейте кукурузы!» — требовали следующие директивы, и за ними слышалось: «Без этого не отменишь карточек на мясные изделия!»... Колхоз брался то за одно, то за другое, и куда ни кинь — все клин!.. И за все в ответе председатель!.. Эх, жизнь ты наша житуха!.. Но погоди, что же это я разохался!.. Что бы там ни было, а теперь-то в колхозе двести голов дойных коров, одна тысяча свиней, из которых двести поставлены на откорм... Два стада овец. Новые телеги, бороны, плуги, сеялки, жнейки, трактора... Откуда все это взялось?.. С неба? А новенькие конюшни, фермы, ~~тона амбары?~~.. Может, они тоже упали с неба? Как та мамия?.. Почему не спросит себя об этом бойкий писанин из той газеты?.. Много

лет подряд журналисты и районные руководители на все лады расхваливали председателя колхоза «Прогресс». Он, мол, выдает по два килограмма зерна на трудодень!.. Верно, по два. Но как он это делает?.. Заведомо срезает колхозникам выработанные ими трудодни. Человеку полагалось бы десять трудодней, а ему в бухгалтерии начисляют один. Так-то можно и по пять килограммов выдавать, не то что по два!.. Хвалили и председателя, и бригадиров, и главбуха, а кончилось тем, что всех исключили из партии. Вслед за тем районному прокурору пришлось взяться за этих хитрецов из «Прогресса». Вот тебе и герон!»

Костак Фрунзе знал, что с садами ему будет малость полегче. Один гектар саженцев не потребует столько прививок, сколько их нужно на такое количество земли для виноградарства. Он завтра же сам отправится к Мэнашку, выпросит у него веточки более благородных сортов. Одно время Костак решил, что не увидит своего товарища в живых. Фрунзе слышал, что в сорок первом году Мэнашку (в то время председателя сельсовета) схватили фашисты и расстреляли вместе со всей его семьей, женою и детьми. Их в числе сорока двух сельских активистов загнали в подвал под зданием сельсовета и там расстреляли. И вдруг, много лет спустя, Костак встретил Мэнашку живым и вроде бы даже невредимым. При встрече обнялись, растерянно и удивленно разглядывая друг друга. Тогда-то товарищ и рассказал, что из сорока двух уцелел только он один. Окровавленный, он выбрался из-под груды тел. Голодный, долго скитался по лесам, а ночами пробирался на северо-восток. Шел неделями, месяцами, пока не оказался среди своих. А теперь вот — опять в родном селе.

«Ты ли это, Мэнашку?..»

Жители Красношен, прежде чем принять мужика, ощупывали его со всех сторон руками, старались удостовериться, что перед ними он, а не кто-нибудь другой. Да, это был он, Мэнашку. Все тот же Мэнашку, чуть-чуть охрипший, с немного искривленной шеей, так что голова склонялась к одному плечу, словно бы намеревалась маленько прикорннуть. Поседел, постарел. Не изменился, однако, в главном: был, как прежде, энергичным, неугомонным и неутомимым, как муравей.

Его назначили бригадиром колхоза «Борец». Не исключено, что он сам напросился туда, чтобы быть подальше от того страшного подвала, от пруда в Валя Бахулуй, куда были сброшены трупы жены, детей и всех остальных его товарищей. Может быть, он надеялся поправить свою навеки больную, израненную душу в богатых садах. Может, ему думалось, что будет выращивать там молодые деревца как собственных детей, которых лишился?



«Мэнашку выручит, этот не откажет мне!» — думал с надеждою Костак Фрунзе.

С человеком, который прошел такие адские муки, легче договориться. Такой не оставит товарища в беде.

Так думал председатель Костак Фрунзе. Он и теперь, после разговора с Шереметом, был бы не против уйти со своей должности. Сам-то он, сказав правду, никогда и не стремился занять председательское кресло и не держался судорожно за него. Были моменты, когда он готов был закричать на весь белый свет: «Я не подхожу!.. Я плохой председатель!.. Разве вы это не видите!»

К его уходу с поста председателя готовилась с тайною радостью и жена. С утра до поздней ночи она не видела его дома. Затемно уходит и за полночь возвращается. Соломинки не подымет во дворе. За это Катинка точила его, как ржа железо. Особенно за то, что у мужа не хватало времени заняться своим младшим сыном. Никэ прямо-таки отбивался от рук. Да и у самого Костак сердце разрывалось от жалости, когда он видел свою жену в ватной курточке без рукавов, по-старушечьи горбившуюся от забот, от преследующих ее денно и ночно ревнивых подозрений. Никэ... Парень с горем пополам сдал вступительные экзамены в университет, а через два месяца ему что-то не понравилось в этом самом главном в Молдавии учебном заведении. Он покинул его, не сказав родителям ни слова, не посоветовавшись с ними. Ушел теперь разнорабочим на железную дорогу. Кто только, какой мудрец придумал это словечко — «разнорабочий»?! Должно быть, родилось оно в мучительной попытке найти замену действительно обидному слову «чернорабочий»...

В дом Фрунзе эта новость пришла во время зимних каникул. Воспользовавшись тем, что в эту пору в колхозе было немножечко поменьше работы, Костак отправился в Кишинев, чтобы узнать об очередной выходке младшего сына поподробнее. С немалым трудом отыскал его за вокзалом, в общежитии. Первое, что бросилось в глаза отцу, это преогромный синяк под правым глазом Никэ. Еще при подходе к общежитию Костак узнал от старого железнодорожника, что сын его подрался из-за какой-то девчонки.

— Вот где ты проходишь свой университет? — с трудом сдерживая себя, сказал отец.

— А что мне делать, если я не хочу быть учителем? — отвечал сын, несколько не смущаясь знаком отличия под глазом.

— А кем же ты хочешь стать? Скажи отцу, если не секрет?

— Сначала — вот простым рабочим... А потом сдать экзамены в киевский институт!

— Какой же, позволю узнать?

— Железнодорожный.

— Как же ты сдашь экзамены, когда у тебя нет времени для подготовки к ним?

— Это уж не ваша забота, — резко сказал сын и вдруг добавил почти враждебно: — Может, тебе не нравится рабочий класс?

После этих слов они расстались, странно чужие друг другу.

На сердце Костак лег еще один камень. Катинка же измаялась душой еще больше. На нее накатила бессонница. Целыми ночами лежала она с широко открытыми глазами. Младший сын добавил седины на их головы, сделал еще более сутулыми их спины. Горько и обидно им было особенно тогда, когда они узнали, что Никэ приезжал в село и не зашел под родительскую крышу.

Но свою печаль отец и мать носили в своем сердце молча. Не молчал лишь дед.

— Я пойду к воинскому начальнику! — бушевал мош Тоадер. — Попрошу, чтобы в армию поскорее забрали этого негодяя!.. Пускай погоняют его по плацу, может, вытрясут из него всю дурь!.. Коровья башка!

— Поможет ли армия, отец?! Паршивого теленка бей хоть всеми хворостинами, какие только есть в лесу, — не исправил!..

— Его, паршивца, не берут в солдаты, думая, что он учится в университете!.. А он шляется по улицам, как бездомный пес!

К концу лета этот «бездомный пес» снова прибил к родному очагу. Худой, вытянувшийся, он казался значительно выше, чем был до этого. Родители, будто оторвав вовсе его от сердца, ничего ему не сказали. Ни худого, ни хорошего. Приехал? Ну ладно, приехал. Хочешь есть? Садись, ешь. Не хочешь — никто тебя упрасивать не будет.

— Что вы так смотрите на меня? — не вытерпев этой молчаливой «холодной войны», спросил Никэ, побледнев.

— А как мы смотрим?

— Как на чужого!..

— У нас и без тебя много забот.

— А почему вы не верите мне?

— А во что мы должны верить?

— Вот, пожалуйста... смотрите! — Никэ вытащил из кармана бумажку, в которой сообщалось, что он принят в сельскохозяйственный институт, что он выдержал конкурсный экзамен с двумя пятерками и двумя четверками.

— Но ты, кажется, собирался в железнодорожный? — хмуро заметил отец.

— Собирался, а потом передумал.

— Может, ты и сейчас передумаешь?

— Нет, не передумаю.

— Ну, поглядим.

— Поглядим! — в голосе Никэ прозвучало упрямство.

...Кто-то сказал, что человек хорошо чувствует себя только в дороге. Может, оно и так, если голова твоя не разламывается на части от

переполнивших ее забот. Вот его, Костак Фрунзе, дорога почему-то не успокаивает. Не стало ему легче и тогда, когда подъехал к своему дому. Не смогло развеселить его даже такое зрелище: положив старую голову на корыто, поставленное на попá, а ноги вытянув на подушку, мош Тоадер Лефтер что-то рассказывал младшему внуку. Тот записывал дедушкины слова в блокнот и ржал, как молодой жеребенок. Никэ остановил свои занятия только тогда, когда услышал голос отца, приказывавшего ему открыть ворота.

— Записываю со слов дедушки деревенский фольклор, — сообщил он.

— Что же ты собираешься делать с этим фольклором?

— Студенты университета каждое лето его собирают!

— Ты, вроде, готовишься стать агрономом?

— Ну... и это не помешает... Меня просил один парень из университета.

— А может, девушка?

Никэ покраснел и, не отвечая отцу, начал выпрягать лошадей. Сделав это, он развел лошадей в разные углы двора, задал им корму и только уж потом вернулся к отцу.

— Что-то голова разболелась, — сказал тот совсем миролюбиво. — От жары, наверное.

— А ты знаешь, отец... в село вернулись мош Пэтраке и Ирина Негарэ с младшей дочерью...

— Когда вернулись?!

— Нынче, на рассвете!.. Мош Пэтраке расхаживает по селу в шинели без хлястика... Точь-в-точь, как пленный фриц, какого я видал в кино!.. Ха-ха-ха!..

— В шинели, в такую жару?! Он что, с ума спятил?..

5

Разморенный летним зноем и терзаемый заботами, Костак Фрунзе нуждался в передышке. Пускай самой малой, минутной, но передышке. Без этого он не мог даже сесть за стол: не было аппетита, во рту пересохло, клейкая слюна не могла смочить его. Надо сейчас же пойти в глубь сада к бочке с водой, отвернуть до отказа кран и подставить голову под освежающую струю. В поле, перед обедом, люди либо плескаются у степных колодцев, либо, полуодетые, бросаются в ближайший пруд, потом, повеселевшие, рассаживаются где-нибудь под кустом, в тени, едят, отдыхают, а одежда высыхает на ветерке. Таким образом земледелец накапливает силы на вторую половину бесконечно долгого, изнурительного летнего дня.

Случалось, что и Костаке сестрица

свою таратайку у какого-нибудь колодца посреди полей, поил лошадей из замшелого корыта, пил и сам студеную родниковую воду, окунал в нее потное лицо, плескал пригоршни на грудь. Нередко принимал душ на фермах, обедал тут же или у трактористов, у будки, на полевом стане. Еда казалась намного вкуснее, чем дома. Но засиживаться долго председатель не мог ни на фермах, ни у тракторной будки. За день он должен был побывать всюду: на виноградниках, в садах, на огородах, обойти все бригады, заглянуть к строителям, механизаторам; он мчался то в одно, то в другое место, а его уже искали рассыльные: кто-то из районного начальства вызывал к телефону. В такой суете Костаке нередко оставался вовсе без обеда, чаще же всего он не мог вспомнить, ел ли в этот день или нет.

Бочка в саду, приспособленная для душа, чистое, жесткое полотенце возле нее быстро возвращали ему бодрость, а вместе с нею и аппетит. Пообедав, он чувствовал, что может снова заняться делами, которых у председателя всегда было великое множество.

Сегодня же, узнав о возвращении семьи Негарэ, Костак Фрунзе и вовсе позабыл и про обед, и про усталость: ему не терпелось увидеть людей в минуту их великой радости.

Паломничество в Москву, бесконечные другие хлопоты, предпринятые главою этой семьи, не пропали даром. Семья возвратилась из ссылки, дом и все надворные постройки были вновь отданы Негарэ, а сам Георг с женою и дочерью опять приняты в колхоз.

Ну, а Пэтраке?.. Найдутся, конечно, в селе люди, которые посмеются над причудами этого добровольного изгнанника. Пускай их смеются! Важно, что и он, мош Пэтраке, вернулся. От такой неожиданной и радостной новости Костак Фрунзе позабыл о всех своих тревожениях. Забыл и про цирковые номера младшего сына, забыл про то, что Никэ за одну осень и за одну зиму умудрился «закончить» два факультета: медицинский, языка и литературы, а теперь судорожно ухватился за хвост агрономического в сельхозинституте. Будь что будет, рассудил Костак, сам черт не поймет этого парня и не отгадает, что из него в конце концов получится. Если б не Катинка, которая все еще не теряла надежду вывести своего «младшенького» в люди, он, Костак, по совету тестя в самом деле пошел бы в военкомат и упросил работающих там товарищей поскорее призвать Никэ в армию. Теперь вот надумал, дьяволенок, собирать какой-то фольклор, донимает старика какими-то глупыми вопросами.

— Эй, Никэ! — сердито окликнул его отец.

— Слышу!..

— Присмотри тут за лошадьми!..

— Присмотрю. Ты не беспокойся о них.



— На тебя надежда, как на липовый гвоздь! — с этими словами Костаке вышел за ворота.

Он не думал долго задерживаться у Негарэ. Только поздравит с возвращением, перебросится словом-другим с Георге, Ириной, мош Пэтраке и вернется домой. Другой раз придет к ним не так, не с пустыми руками, — придет, посидит подольше и обо всем расспросит. А нынче у него еще много недоделанных дел. Нужно в первую голову посмотреть, как готовятся траншеи для силоса. Силос — это нечто новое в их хозяйстве, тут нужен глаз да глаз. В прошлом году он сгнил целиком, потому что не был как следует утрамбован в ямах. Как бы не случилось такое и в этом году. Это было бы особенно обидно, потому что нынче в траншеи укладывается зеленая кукурузная масса вместе с початками, достигшими молочно-восковой спелости, то есть золото, а не корм! Уминалась, утрамбовывалась эта масса теперь гусеничным трактором, но все равно нужно было проследить, чтобы все делалось по науке, по инструкции...

В летнее время никто не удивляется тому, что на улицах и во дворах пусто. Скорее удивятся тому, что увидели взрослого человека дома. Тогда люди спрашивают себя: «А не случилось ли что в его семье, не заболел, не умер ли кто?» Но давно замечено, что в летнюю страду люди почему-то и болеют редко, а умирают еще реже. Теперь, при Советской власти, избавились и от малярии, не видно на завалинках закутанных в шубы людей, страдающих от этой прилипчивой хвори. Пустынно и тихо было на дворах и улицах Кукоары. И все-таки тишина, которая встретила Костаке Фрунзе на подворье Негарэ, была неожиданной: не могли же они всей семьей сразу же по возвращении пойти на работу!

На завалинке, засучив штаны до колен, сидел и грел на солнце ноги баде Василе. От него веяло горячими бензиновыми парами — баде Василе так лечил свой ревматизм. Прежде недуг этот посещал его лишь зимою, а теперь, когда баде Василе стал почтальоном, болезнь лепилась к нему и в летнюю пору.

— Нашел я управу на этот проклятый ревматизм, — похвастался почтальон.

— Какую же? — любопытствовал Костаке.

— Я смазываю ноги и поясницу соленым бензином и греюсь на солнце до тех пор, пока не затрепещат все суставы!..

— И это помогает?.. Тебе легче?

— Чутко легче, чем после керосина.

— А что?.. Может, и мне попробовать?

— Две горсти соли на один литр бензина... И все — как рукой сымет!..

— Ну что, баде, говорят, вернулись наши ссыльные?

— Вернуться-то вернулись, да радости-то мало...

— Почему так?..

— Во-о-льшие неприятности!..

— Их что-то не видать во дворе. Может, отдыхают?

— Како там! Говорю — неприятности...

— Да что же случилось?! — вскричал встревоженный Костаке.

— А вот что: уехали в Сибирь втроем, а вернулись вчетвером. Младшая дочь принесла им в подоле...

— Ну, это не самая большая беда. Важно, что вернулись.

— Не скажи, Костаке. А что скажут люди? Стыдно, чай.

— Стыд — не дым, глаза не ест. Мне бы повидаться с ними.

— Э-э, тебе это не удастся. Сам Георге заперся в большом доме и никого видеть не хочет. Так-то, мош Костя!..

— Да ты что?.. Не хлебнул ли того бензина с солью?

— Вот те крест!.. Спит там в обнимку с топором. Сперва на радостях обнимал, целовал всех, а когда увидел на руках у дочери байстрючонка, расплакался навзрыд. Плакал и ругался так, что не приведи господи!..

— От кого ребенок?

— А кто знает?.. Была на рубке леса, и какой-то тракторист, говорят, присоседился, умаслил глупую. Дело-то больно нехитрое!.. Работали рядом, кругом лес, цветочки... Ну, и... Чего прощел!..

— Может, тракторист тот неплохой человек.

— Может, и неплохой. Если б приехал вместе с ними сюда, то все бы получилось по-иному. Не было б этого скандала... Я просил Георге, чтобы он отдал ребенка мне. У кого есть четыре, тот вырастит и пятого. Четыре рта или пять — разница невелика!..

— Ну, а как твоя Аника?

— Аника согласилась. Но Негарэ и слышать об этом не хочет! Прогнал нас всех со двора и говорит, чтобы не показывались. Не то порубит всех тем топором!

— А я-то думал, что буду присутствовать при самой большой радости, какая только может быть в Кукоаре!.. При великом празднике! — Ничего, Костаке. Бог даст, и все обойдется. Помирятся. Пока поживут немного у мош Пэтраке...

— Да и я так думаю, баде Василе. А пока суд да дело, загляну-ка я в хижину этого отшельника мош Пэтраке. Может, помогу в чем.

— Сходи, сходи. А мне еще нужно разнести почту, — баде Василе раскатал штанины и проводил Костаке Фрунзе до калитки Негарэ. — Слышите, как он там бушует?

Из дома Георге Негарэ неслись страшные ругательства, глухие, утробные стоны, стук топора.

— Он порубил все иконы, — пояснил баде Василе, — превратил их в щепки!.. Сейчас при- нялся еще за что-то другое!.. А войти к нему невозможно!..

— Сейчас рубит, кромсает, а назавтра сам же и будет чинить. Так всегда у нас. Глупая голова даст лишнюю работу и ногам, и ру- кам!..

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 1

Тоадер Фрунзе часто бывал в Кишиневе.

До упразднения уездов приезжал в столицу Молдавии реже, потому что большая часть кон- ференций, активов, совещаний проводилась не- посредственно в уезде, там же решалось мно- жество разных комсомольских вопросов. В те времена он мог попасть в Кишинев для утверждения решений о назначении либо о сня- тии того или иного комсомольского работника, изредка — в качестве делегата съезда и рес- публиканской комсомольской конференции. Выезжал он в столицу и с коллективами худо- жественной самодеятельности на олимпиады.

В ту пору город представлял собой печаль- ное зрелище. От многих домов отдавало гарью недавней войны. Целые кварталы напоминали челюсти поверженного великана — щерились обломками порушенных, черных от копоти стен и жутко вздымающихся над грудями по- битого кирпича и щебня труб. Там и сям, на стенах и на заборах, мелькали надписи: «Мин нет». А чуть ниже оставлял свой автограф тот, кто брал на себя полную ответственность за эти два слова.

Все знали, что в столице республики оста- лось не больше пятнадцати процентов жилого фонда. Но где они находились, эти пятнадцать процентов? В центре уцелело лишь здание Госбанка, да и там каменные львы, сторожив- шие это сверхважное учреждение, были обез- главлены осколками бомб и снарядов. Значит, помянутый выше фонд составляли мазанки и лачуги, вытянувшиеся по берегам реки Бычка, да жалкие домишки неподалеку от вокзала. Сам вокзал спешно возводился теми, кто его порушил, — то есть немецкими военноплен- ными.

Людям, которые вызывались в столицу по разным делам, ночевать приходилось где попа- ло. Например, Тоадер Фрунзе несколько ночей провел в клубе пожарников, по Садовой улице. Вместе с другими районными и уездными сек- ретарями сдвигал несколько скамеек, уклады-

вал под голову свернутую шинель и ложился спать, мысленно сказав себе: «Спокойной но- чи, товарищ комсомольский активист!» Спо- койной же ночь быть при всем желании не могла: допоздна в клубе толошилась молодежь, гремела музыка, и от множества ног подыма- лась такая пылица, что ты, активист, то и де- ло просыпался и начинал долго чихать.

Нередко приходилось устраиваться на ночь прямо в здании Центрального Комитета комсо- мола. Там, если удавалось захватить старень- кий диван, ты мог считать себя счастливейшим человеком во всем белом свете. Правда, до по- луночи отовсюду будут слышны телефонные звонки и шум из подвального помещения, где горячо спорили, обсуждая свои беспокойные дела, сотрудики комсомольской газеты «Мо- лодежь Молдавии», — но это не в счет. Важно, что тебя не пронимает холод и пыль не заби- вает твой комсомольский нос, а за полночь на- ступает такая тишина, словно бы кто-то все- могущий поднял предохраняюще руку и дал знак: «т-с-с-с!»

Подыматься приходилось рано, поскольку появлялись уборщицы и начинали наводить по- рядок по всем кабинетам. Багрово-красное и еще не греющее солнце улыбалось Тоадеру со двора, где уже всю хозяйничал его шофер Борис. Курчавый, общительный этот парень охотно вступал в разговоры с районными секре- тарями, соблюдая ту невидимую грань, за ко- торой начиналось несносное амигошество или панибратство. Борис, если свободен, охотно «подбросит» любого из них к вокзалу или в какое-нибудь учреждение, а то и в аэропорт на Рышкановской горе. Машин в городе было ма- ло, а скромных, незанудливых шоферов — и того меньше.

По упразднении уездов поездки в Кишинев участились. Тоадер Фрунзе не успел даже за- метить, как на многих домах появились новень- кие крыши, вчера еще обгорелые коробки при- няли подобающий зданиям вид. Как-то, прохо- дя по улице Пушкина, неподалеку от проспек- та Ленина, Фрунзе ахнул от удивления: на стене нового белокаменного дома прочитал имя своего односельчанина — «Миша Сардарь». Полдня затратил Тоадер, чтобы отыскать этого Мишу, и все напрасно. Два-три года тому на- зад это не составляло бы никакого труда: тог- да в городе строилось всего лишь несколько зданий и земляк-строитель отыскался бы в ка- кие-то пять — десять минут. Сейчас город, чуть ли не весь был покрыт строительными лесами. Два ряда строящихся высоких домов тянулись по обе стороны проспекта Ленина, просторного, широкого, как и полагалось главной артерии столицы. Миша Сардарь, не обремененный из- лишней скромностью, вырезал свое имя на сте- не универсального магазина и тут же исчез в многотысячной армии строителей. Теперь най-



ти его ничуть не легче, чем ту самую иголку, которая затерялась в стое сена.

Ну, Миша — это одно дело. То, что он не отыщется, — полбеды. А как быть с Ниной? Ее-то нужно было отыскать непременно, чего бы это ни стоило Тоадеру. Будь сейчас сентябрь, он знал бы, куда направить свои стопы: конечно же, в пединститут. Но до начала занятий оставалась целая неделя, к тому же — надо случиться такому! — Фрунзе начисто забыл фамилию молодой учительницы, знал лишь, как ее зовут: Нина Андреевна. Но хватит ли этих скудных сведений для того, чтобы в директорской институте согласились отыскать ему эту девушку?

Терзаясь сомнениями, Тоадер Фрунзе почти бесцельно бродил по городу и нечаянно подошел к месту, где некогда стоял клуб пожарников. Теперь этого клуба не было. Пожарники переделали его в большой гараж, в котором стояли в полной боевой готовности красные машины, опутанные толстыми гофрированными шлангами. Остановившись возле раскрытых ворот, Тоадер Фрунзе невольно залюбовался чудом-машиной. Приняв его за деревенского простака, один из пожарных сказал под дружный хохот своих товарищей:

— Эй, деревня!.. Может, купишь одну такую, а?

Фрунзе не удостоил шутника ответом. Повернувшись, он пошагал прочь от веселых ребят. Должно быть, ноги лучше головы знали, что нужно их хозяину. Во всяком случае, они сами собой привели его прямо к дверям педагогического института. Из полуподвального помещения в эту минуту выходил отряд музыкантов. Впереди шли кларнетисты и флейтисты, за ними важно выступали басы со своими тромбонами. Среди этих, последних, Тоадер увидел Яцку. Он был по-прежнему тощий, стриженный, но в новенькой кожаной кепке.

— Яцку! — радостно закричал Фрунзе.

— Ага!.. Это ты, Тоадер?!.. Вот как!.. Не хотел ехать вместе со мной!..

Яцку неуклюже топтался на ступеньках с тромбоном в руках, не зная, что сейчас делать. Парни и девчата, подымавшиеся следом, считали своим долгом задевать и подталкивать парня, поворачивать его вокруг оси, не обращая внимания на ругань, которая сыпалась на них за их же проделки.

— Ну... ты... как же ты? — просовывался со своим голосом Фрунзе сквозь молодой беззаботный хохот студентов.

— Будущим летом заканчиваю!.. А ты не захотел поехать вместе... Теперь бы и ты!.. — кричал в ответ Яцка.

— В жизни, Яцку, не всегда получается так, как тебе захочется, — ответил Фрунзе уже более внятно.

— Тебя, что же, не отпустили?

— Вот именно!

— Ну, это другое дело!.. Кто-то говорил, что ты на медицинском...

— Какая, к черту, медицина, когда у меня десять лет педагогического стажа!..

— Видишься с Ниной Андреевной?

— Вот как раз ее я и ищу. Вчера и сегодня обегал весь город, обшарил все общежития, — напрасно.

— Да она и не живет в общежитии.

— А где же?.. Может, знаешь? — горячо, с надеждою спросил Тоадер.

— Адреса не знаю. Говорила мне, что тут у нее живет где-то дядя. Так вот она у него и квартирует. Помнится, вроде неподалеку от аэродрома.

— На Рышкановке?

— Будто бы там... Ты вот что, Тоадер... Приходи сюда вечером. У нас сегодня танцы. А она не пропустит такого «мероприятия». Это уж точно!..

— Да брось ты этот тромбон, Яцку! — посоветовал наконец Фрунзе. — Мы ж с тобой не виделись сто лет!..

— Не могу, Тоадер. Репетиция. Встретимся после танцев.

## 2

Немного узнал Фрунзе от Яцку. Но это немного вселяло надежду. Не зная, куда себя деть до вечера, Тоадер исколесил весь город и чувствовал, что ноги его гудят, будто телеграфный столб, когда приложишься к нему ухом. Усталость, однако, как рукой сняло, когда в определенный для танцев час он пришел в пединститут и встретил там Нину. Счастливый, он в короткие минуты передышки, слыша где-то рядом горячее, взволнованное дыхание девушки, глядел со смешанным чувством жалости и уважения на Яцку. Прикованный к эстраде, тот дул и дул в свою трубу, дул с таким усердием, что глаза его, и без того выпуклые, огромные на маленьком лице, готовы были уже совсем выплутиться из орбит... Не легче было и самому Фрунзе. К полуночи он уж с великим трудом подымался со скамейки, чтобы еще и еще потанцевать с Ниной. Видел, что она сияет от счастья и не чувствует под собой ног, порхает, как невесомая бабочка, вертя вместе с собою и его, изнемогающего, потерявшего последние силы.

Избавление пришло от электрических лампочек. Где-то далеко за полночь они начали все чаще и чаще подмигивать, давая знать студентам, чтобы те заканчивали свое веселье. Как и бывает в подобных случаях, отовсюду стали раздаваться возгласы возмущения. Но лампочки были неумолимы. Минув еще два-три, они погасли совсем. В наступившей

темноте студенты начали шумно отыскивать друг друга. Нина Андреевна крепко держала своего кавалера под руку, как бы боясь вновь потерять его. Шептала ему на ухо:

— Что с тобой?.. Сегодня ты истоптал мне все ноги... Устал, что ли?..

— А ты как думала, девонька?.. Два дня искал тебя по всему городу!..

— Беденький мой!.. Ну ладно, не развалишься, поди!.. Расскажи-ка лучше, как выдержал экзамены?

— Выдержал. Не сказать, чтобы блестяще, но выдержал. Одну троечку все-таки заработал...

— Подумаешь, только одну!.. Велика беда!..

Они шли через соборный парк, и Нина то и дело повисала у него на шее, целуя и приговаривая:

— Вот... вот!.. Получай мое поздравление!

Ночью в городе было прохладно. На улицах редко можно увидеть машину. Лишь у подвалов и погребов фруктовых и овощных магазинов стояли крытые грузовики, из которых молчаливые люди выгружали ящики с яблоками, грушами, сливами, красными помидорами, мешки с капустой, корзины с луком, морковью, картошкой, петрушкой и сельдереем. Изредка проносилась машина с цистерной, поливая улицу, тротуары и деревья на них.

Фрунзе и его подруга подымались в гору, к аэропорту. Новые высокие дома молчаливой стеной стояли вокруг. Была такая тишина, будто стоял тут покинутый людьми, необитаемый город.

— Вот мы и пришли... Здесь живет мой дядя.

— В новом доме?.. На каком же этаже?

— На первом. Не захотел подыматься выше.

— Почему?

— Дядюшка любит выращивать цветы и ухаживать за деревьями.

Фрунзе внимательно осмотрел двор. Повсюду видны были вишневые деревца, как-то еще кусты, цветники. Тоадер расхрабрился и полез было к девушке со своими поцелуями, но она неожиданно резко отстранила его, сказав строго:

— Не люблю целоваться на улице!

Она прошла дальше. Не зная, чем все это кончится, он покорно проследовал за ней.

— Скоро должен прийти дядя, — сказала Нина, присаживаясь на скамейке напротив входа в дом.

— Так поздно? — удивился Фрунзе.

— Ага.

— Где же он работает?

— На обувной фабрике.

— С этой горы я взлетал на самолете... Первый раз в своей жизни, — сообщил вдруг Тоадер.

Она затаилась, ожидая, что скажет он вслед за этими, в общем-то, ничего не значащими для них обоих словами.

Помолчали, чувствуя напряжение, которое должно было вот-вот разрядиться.

Дрожащим от волнения голосом он сказал наконец:

— Мне хотелось бы поговорить с твоим дядей.

— О чем же? — тихо спросила она.

— Знаю, о чем... — начал было Фрунзе, но тут же осекся.

Из-за вишневых деревьев появился человек с небольшим чемоданчиком в руках. Видно, он еще издали по голосу узнал свою племянницу и теперь, присаживаясь рядом с ней на той же скамейке, сказал, смеясь:

— Когда такая парочка сидит в такой поздний час на улице, то она либо ссорится, либо целуется.

— А вот и не угадали. Мы не ссоримся и не целуемся, а ждем вас.

— Мы хотим пожениться! — вдруг выпалил Тоадер, сам удивляясь собственной решимости.

— Вот как?! Что-то уж очень быстро вы это порешили!

— Мы давно знаем друг друга.

— Вполне возможно. Но о таких серьезных вещах, молодой человек, лучше говорить дома. Пожалуйста-ка в мою квартиру!

Пожилой рабочий поднялся со скамейки и пошел к подъезду дома. Его племянница и Тоадер Фрунзе молча двинулись за ним.

Через несколько минут молодому человеку вновь пришлось представляться, на этот раз — хозяйке квартиры. В ней-то он и нашел для себя хорошего союзника. Когда речь заходит о свадьбе, решающий голос принадлежит женщине. Она в таких делах разбирается лучше. Это уж известно.

— У вас есть родители? — спросила она перво-наперво.

— Да. Отец и мать живы и здоровы.

— А вы с ними-то советовались? — подал свой голос и сапожный мастер. Он мыл руки и прислушивался к разговору жены с ночным гостем.

— Утром я поеду в свое село. Захватчу там зимнюю одежду, потом вернусь сюда...

— Как тебе это нравится, мать! — горячо, в сердцах, заговорил пожилой рабочий, беря из рук жены полотенце. — Видала этого шустряка!.. В несколько дней он сдал экзамены, теперь поедет домой за зимними вещами, вернется сюда, женится и укатит в Москву, а она...

— Нина, чего же ты молчишь? — взорвался Фрунзе.

— Мне кажется, что дядя прав.

— В самом деле, сынок. Подумайте хорошенько, — сказала хозяйка, ставя перед гостем



и племянницей тарелки с горячим супом. — Подумайте... Сами говорите, что долго не виделись...

— Ну и что с того?! — горячился Тоадер.

— Не на поезд же вы опаздываете! — подхватил старый рабочий. — Почему вы не подумали о том, что вам и ей нужно еще учиться? И что это у вас будет за супружеская жизнь: она тут, а вы там, в Москве? И так целые годы?! Кто вас подгоняет? Куда вы торопитесь?!

Разъяренный Фрунзе не дослушал до конца этой сентенции, хлопнул дверью и выскочил на улицу. Не хватало того, чтобы его учили, как малого, неоперившегося птенца!.. Вгорячах побежал не в ту сторону и оказался на аэродромном выгоне, покрытом пожухлой, опаленной горячими выхлопными газами травой. Новые дома, ряд за рядом, надвигались на этот выгон, на него, Тоадера Фрунзе, запутавшегося в тесных кварталах, равно как и в своих беспорядочных мыслях. Нужно было хоть немного успокоиться и разобраться во всем. Вот бы сейчас взобраться в «кукурузничек» и махнуть домой, как тогда, когда он впервые поднялся в воздух. Но в аэропорту давно не было «кукурузников». Другие, более мощные, воздушные корабли пришли им на смену, и называли их не по-нашему, солидно и пугающе: «лайнеры». А как славно летел он тогда! Пилот сидел впереди, а позади, за его спиной, примостились они, Тоадер Фрунзе и его дружок Георг Сеница. Тоадеру было стыдно признаться, что он летит впервые. Счастливый страх переполнял его сердце, когда он видел проплывающие под ними леса, вилюжины речушек и дорог, массивы кукурузных полей...

Где теперь Сеница?.. Куда улетел?..

Светало. Но в Рышкановской долине стало еще темнее. Лишь на краю горы зарумянились верхушки деревьев.

Тоадер Фрунзе спустился в долину и вышел на Оргеевское шоссе. Ждать пришлось недолго: в Оргеев, в Бельцы, в Черновцы и в другие города республики направлялось много машин. Одна из них вскоре подобрала его вместе с легким грузом смятенных его дум.

3

При дневном свете явственнее обозначилась и его оплошность.

«Ну ж ты и глупец, Тоадер! — отчитывал он себя. — Какого черта ты вспылел?.. Остался бы ночевать. Разве ты забыл, что утро вечера мудренее?.. Выспался бы хорошенько, захватил бы Нину с собой и привез в Кукоару. Теперь тебе придется все начинать сначала!..»

Осенний какой-то решительной мыслью, хон почти на полном ходу выскочил из грузовика и бегом вернулся на вершину холма, к

зданию аэровокзала. Тут он дожидется того часа, когда все проснутся в квартире сапожника, и на этот раз доведет дело до конца, не уедет домой без Нины Андреевны, этой глупенькой гордячки. Коротая время, направился в буфет. В такую раннюю пору народу у буфетной стойки было немного. За небольшим столиком сидели двое мужчин. Один говорил другому:

— Если не нравится коньяк, я закажу тебе водку. Выпей хотя бы одну рюмку!.. Ты не смейся!.. Я как-то летел в Москву с женой, предлагал ей выпить, а она отказалась... И что же? Отравилась рыбными консервами... А я закусывал теми же консервами — и мне хоть бы что!.. Так что выпей! Это лучшая дезинфекция для организма!.. Убивает все микробы!..

Фрунзе заказал себе гуляш. Съел его, не прибегая к целебному средству, о котором с таким жаром говорил своему товарищу незнакомый мужчина. Тот посмотрел на молодого человека с сожалением и вылил в себя целый стакан коньяку, оглушительно крикнув. Выпил и философски заключил:

— Утренняя чарка, что твоя молодая жена. Горячит кровушку! Эх вы, несмышленики!..

К буфетной стойке подошли два крестьянина в ватниках. Они держали в руках по неполному стакану коньяка и по толстому ломтю черного хлеба, покрытого таким же толстым ломтем белого свиного сала.

— Кажется, денек будет что надо! — сказал один из них.

— Может, нам посчастливится нынче. Глядишь, улетим!

Мужики переговаривались, а в окна уже просовывалось солнце. Вместе с солнцем за окном подымались обычные аэродромные звуки. Усиливалось гуденье моторов. Одни лайнеры подымались в воздух, другие приземлялись, третьи прогревали двигатели, готовились к взлету. В аэропорту, если даже ты никуда не улетаешь, все равно испытываешь легкое, немножко тревожное волнение путешественника, проникаешься волнением тех, кого пришел провожать, беспокойством за них. Чтобы как-то развеяться, Тоадер Фрунзе вышел из буфета на привокзальную площадку. Здесь у водонапорной колонки он умылся, оставил нарочно капли воды на лице, чтобы подольше ощущать освежающую прохладу.

Небольшие домики, похожие на крестьянские, малость только поприбраннее, весело сбегали вниз по склону холма врассыпную, будто кто-то вытряхнул их туда наудачу. В прилегающих к избам палисадниках виднелись виноградники, старые ореховые деревья, вышки голубятен, будочки сторожевых псов. Снизу, навстречу этим домикам, словно преграждая им путь и беря их в полон, подымались ровными рядами громады новых зданий из белого камня-ракушечника. Они тянулись до самой табач-

ной фабрики, маячившей поблизости от железнодорожной линии. Перед многоэтажными домами стояли, словно на часах, высокие и стройные пирамидальные тополя.

Тоадер Фрунзе искал глазами дом с тремя деревянными скамейками перед центральным подъездом и с зарослями вишен во дворе. Ночью ему казалось, что он хорошо приметил и эти скамейки, и эти вишневые деревья, и тот подъезд, так что может прийти туда во второй раз с закрытыми глазами. Но сейчас он явно растерялся: все дома были поразительно одинаковы, вроде близнецов. Окна, балконы, подъезды, количество этажей — у всех одно и то же. Вишня, скамейки — все будто скопировано с одной и той же картинки. В каком-то из этих домов находится сейчас Нина. Но в каком именно? Ночью их как-то еще можно было различить. В одном светилось одно окошко, в другом — два, в третьем не светилось вовсе; одни окна были с темными занавесками, другие со светлыми, ажурными; в одних висели лампочки под абажуром, в других — без, в третьих — большие люстры, похожие на церковные паникадила. Сейчас все это стерлось дневным освещением, и дома предстали перед взором озадаченного Тоадера, как огромных размеров спичечные коробки. У несчастного жениха оставалась одна лишь, весьма ненадежная зацепка: он все-таки помнил, что дом обувного мастера находился не с краю, а где-то посередине. Оставалось только ходить по всем первым этажам и стучаться в каждую дверь. Дело усложнялось еще и тем, что он не знал ни имени, ни фамилии обувщика. Ломись теперь в каждую квартиру и осматривай сонные физиономии их хозяев!.. Чего доброго, нарвешься еще на такого, кто примет тебя за грабителя, подымет шум или огреет чем попадет... От одной этой мысли наш влюбленный окинулся пботом. В конце концов он приблизился к одному из домов, присел на скамейку и сделал вид, что устал и теперь отдыхает. В действительности для него это был наблюдательный пункт, откуда Тоадер зорко следил за всеми подъездами, стараясь не пропустить ни единого человека, кто появлялся в них.

Первыми из домов выходили молодые матери — они торопились отвести детишек в садики; затем выскакивали точно ошалелые школьники и пулею неслись к автобусным остановкам, на ходу толкаясь и награждая друг дружку подзатыльниками; чуть позже, все еще охорашиваясь, поправляя грациозными жестами прическу на висках и затылке, легко выносили себя на своих стройных, пружинистых ножках девушки (сколько же красавиц в Кишиневе! — отметил про себя Тоадер), эти были одеты с иголочки, они не шли, а как бы отбивали чечетку острыми и высокими каблучками

своих туфель: цок, цок, цок! Дикие козочки, а не девчата!

Вот сейчас, наверное, процокает и его Нина Андреевна, модница, которой могли бы позавидовать даже парижанки. Из самой дешевенькой материи, из одного мотка шерстяных ниток она могла соорудить себе такое, что все молодые учительницы, ее сверстницы, прямо-таки умирали от зависти. Выросшая в сиротстве, она научилась все делать для себя сама: прясть, вязать, шить кофточки и платица, и при всем этом не пропускала ни одной вечеринки, ни одного школьного бала!.. Когда-то она просила его, директора, не словами, а глазами, всей своей порывистой, легкой фигуркой прямо-таки умоляла: «Сделай, сделай меня королевой бала!..» Не внял, жестокий, ее мольбам, назначил королевой Вику Негарэ. Не потому, что хотел позлить Нину, — просто она для него тогда не существовала. Для него Нина была словно бы травой или снегом, по которым идешь и во все не думаешь, что делаешь им больно...

Проведенная без сна ночь давала о себе знать. Тоадер начинал все чаще поклеивать носом, отяжелевшие веки сами собой смыкались. В такую минуту в затуманенном сознании рождалось одно и то же видение: тысячи, сотни тысяч старух катили куда-то в колясках своих внучат. Разноцветные коляски и разноряженные детишки... Фрунзе силился разомкнуть веки, отпугнуть эти видения — и не мог. Он даже стонал во сне. Старухи с детскими колясками куда-то отодвинулись, и перед Тоадером стоял уже Алексей Иосифович Шеремет. Стоял и строго спрашивал:

«Как ты допустил, чтобы тебя избрали секретарем парторганизации редакции?»

«Так я же женюсь, Алексей Иосифович... Женюсь и перевожусь на работу в город!»

«На ком ты женишься?»

«На Нине!»

«На какой Нине?»

«На учительнице из Кукоары».

«Но где же она? Где эта учительница?»

«Сейчас должна прийти... Я жду, когда она выйдет из дому».

«Хорошо. Ты женишься, но какое это имеет отношение к партийной дисциплине?»

«Не понимаю. О чем вы, Алексей Иосифович?»

«Не успели напечатать твою статью, а ты уже к ним на работу!.. И с учета не снялся у нас!»

«Мы ему дадим машину, и он сегодня же съездит к вам и снимется с учета».

Это уже говорил корреспондент газеты, неизвестно откуда появившийся. Тот самый корреспондент, который помогал Тоадеру Фрунзе писать статью о положении с виноградниками в районе Кодр.



«Вы тоже хороши! Переманиваете у меня работников!» — последние слова Шеремет произнес гневно и тут же исчез. Его машина оставила после себя длинный шлейф пыли, в которой сгинул и корреспондент. А на хвосте этого шлейфа, в каком-то фонтане из цветов, появилась Нина... Его Нина!

И странное дело: Тоадер был уверен, что это не сон. Он видел ее так явственно, что ни о каком сновидении не могло быть и речи. В белом платье, усыпанном черными крапинками, она бежала к нему с хрустальным графином в руке, таким прозрачным и невесомым, что он растворялся в воздухе. Линии его были так тонки, будто вычерчены кончиком иголки, — сущие паутинки. Но Нина почему-то пролетает мимо него, устремив глаза на деревянную будочку, где стояли два человека и чокались бокалами с красным вином. Два бокала на высоких ножках, они словно бы сошли с открытки, полученной когда-то Тоадером от Нины.

В два прыжка Фрунзе настиг ее. Теперь она не вырвется!

«Погоди, голубушка, ни за что не отпущу!»

Он не мог бы утверждать, что произнес эти слова вслух. Но то, что они готовы сорваться с уст, он был убежден совершенно. Так или иначе, но произнесенный или непроизнесенный вскрик этот вернул его к действительности. Тоадер вскочил на ноги, проморгался и даже сейчас еще не верил, что все это виделось ему во сне. И, поняв наконец, тотчас же увял, страшная усталость и тоска навалились на сердце.

Солнце подымалось к зениту. Люди прятались в домах от жары. Спрятались куда-то и те две реальные старушечки с детскими колясками.

Последние дни августа были особенно жаркими. Созревал виноград. Налились красным соком арбузы. Сухо, почти жестко шелестели кукурузные листья. Ночи же были прохладными. Днем люди задыхались от зноя. Дожди давно прекратились. К полудню земля накалялась так, что, казалось, плесни на нее стакан воды, и она зашипит, как сковорода на плите.

Тоадер Фрунзе нудился. Оттого ли, что было очень жарко, или оттого, что потерял всякую надежду найти свою Нину. Город даже с его этими вот новыми кварталами домов вдруг поскуцел, сделался унылым, каким-то нерадостным. Все увяло и слиняло в глазах Фрунзе.

Он уж больше не мог ждать.

Быстро спустился в долину, к шоссе, и с первым же автобусом укатил из Кишинева.

К перекрестку у Ратуша добрался к вечеру. Отсюда до его райцентра оставалось около двенадцати километров. Если б не было этой

страшной усталости, он легко бы, за каких-нибудь два часа, преодолел такое расстояние. Но теперь не мог. Решил пойти к секретарю комсомольской организации в Ратуше и там переночевать. Если не застанет его дома, перейдет мост и заночует в Заиканах. Конечно, лучше бы остановиться в Ратуше, потому что в Заиканах секретарем работает девушка и Тоадеру неудобно было бы проситься к ней на ночлег.

Он шагал по обочине шоссе, проходящем через Ратуш, и удивлялся тому, как быстро разрасталось это село. Сообразил — почему. За мостом были Заиканы, примостившиеся на глинистом склоне. Каждую весну глина сползала в овраг вместе с домами, и жителям Заикан ничего не оставалось, как перебираться со всем своим скарбом на равнину, то есть в Ратуш, и таким образом пополнять его население.

Мимо Тоадера проносились машины. Но они мчались лишь в одном направлении — в сторону Бельц, ни одной не было, которая бы направлялась к его городку.

«Несчастный день! — грустно подумалось Фрунзе. — Если тебе не повезло с утра, то не жди, что повезет к вечеру».

Тоадер шел медленно, шатаясь от усталости. Перекресток остался далеко позади. Вечерние сумерки сгущались. Грузовики, такси, автобусы мчались по шоссе уже с зажженными фарами. Асфальт поблескивал и казался быстро текущей рекой. Машины неслись, как сумасшедшие. А Тоадер еле передвигал ноги, и те, что за рулем, конечно же, не знали, что это он, Тоадер Фрунзе, со своими комсомольцами продолжил именно вот этот участок «дороги с твердым покрытием», как именуется она в казенных, официальных бумагах.

В строительстве дороги принимали участие почти все организации и хозяйства района. Часть, выпавшая на долю районной комсомольской организации, располагалась от перекрестка до колодца на самом краю Ратуша. Она занимала что-то около двух километров. Для шоссе — это очень много. Сперва нужно было сделать высокую насыпь, затем навозить песок и щебенки, — все это с помощью, в общем-то, небогатого сельского транспорта. Теперь, когда эта автомагистраль стала главной республиканской артерией, просто не верилось, что совсем недавно тут мыкали горе-горькое шоферы, в жуткой грязище калечили машины в рытвинах и колдобинах, сутками торчали в кюветах и по обочинам, пока их не вытаскивал трактор куда-нибудь на гору.

Однако времена меняются.

Фрунзе шагал сейчас по дороге, которую сам же и построил, и никому до этого дела нет. Ну и пускай! Важно, что по новому шоссе во весь дух несутся автомобили. Это самое главное!..

— Черта с два заставишь их сейчас топить печки соломой. Им подавай уголь!..

Тоадер Фрунзе вздрогнул. За поворотом забора, рядом с шоссе, Филя, райкомовский шофер, наливал в радиатор «газика» воду. А неподалеку Алексей Иосифович Шеремет вел какую-то беседу с председателем местного колхоза. Говорили они так громко, будто ссорились.

— Уголь!.. Во всем виноват уголь! — кричал Шеремет. — Пользай-ка в мою машину, поедем, посмотрим вместе!..

Филя выплеснул из ведра оставшуюся воду, вытер руки тряпкой и только тогда подал их Тоадеру. В следующую минуту и Шеремет заметил своего воспитанника.

— Поздравляю!.. Мне звонили из Кишинева... Садись в машину, будущий москвич!.. Студент!..

Машина — не ноги. В один миг выносит их за околицу села, в долину Реута. На горизонте уже хорошо были видны огни Ореева. Море огней. Великое множество электрических лампочек перемигивались, сигналили о чем-то друг дружке, будто затеяли меж собой какую-то веселую, непонятную людям игру. Сказочными и призрачными казались костры и движущиеся огоньки тракторных фар в поле. На землях Ратушского колхоза горели десятки куч соломы. В их отблесках поднятая зябь лоснилась, как разлитая нефть. Красиво! И Тоадеру непонятно, почему гневается Шеремет. Ведь солома мешала трактористам, вот они и подожгли ее — чего ж тут плохого?! Не кто иной, как Шеремет, просил комсомольцев, чтобы они собирали золу по селам и вывозили ее в поля вместе с куриным пометом, — зачем же сейчас-то он ругает председателя?!

— Во всем районе два таких умника отыскалось — вы да из Вережен! Что?.. Может, вместе «поработали» этот план — сжигать солому из-под комбайна прямо на поле?

— Нет, Алексей Иосифович, я с ним не советовался.

— Отчего же? Вы ведь соседи!

Ратушанский председатель совсем смутился. Возле одного трактора он выскочил из «газика», поговорил о чем-то с трактористом, с прицепщиком, а затем подошел еще к двум тракторам. Чтобы слышал Шеремет, спросил, обратившись к вышедшим из кабин механизаторам:

— Вы хлеб, испеченный в печке, которую протапливают соломой, когда-нибудь ели?

— Ели. Но это было давно.

Слышавший все это Шеремет любопытствовал:

— А теперь, похоже, выпекаете хлебец на донбасском угольке? Так, что ли?

— А мы сами его не выпекаем вовсе. Покупаем в магазине.

— Если вам не нужна солома, отдайте ее колхозникам.

— На топку? — спросил на всякий случай один из трактористов.

— На топку или на корм — все одно...

— На корм — куда ни шло, товарищ секретарь райкома. А топить соломой у нас уже никто не хочет. Да и недосуг нам возиться тут с этими копнами — запаздываем с зяблевой вспашкой, а она, солома, путается под ногами!..

— Мешает!.. Ишь ты, герой! — в голосе Шеремета зазвенели сердитые нотки. — Кабанчика своего небось смолишь паяльной лампой, а солому сжигаешь на поле!..

Трактористы один за другим останавливали свои машины и принимались гасить костры.

— В один час управимся, Алексей Иосифович, — говорил виновато председатель, видя, что на помощь трактористам из села приближается несколько фур с людьми. Потирая руки, он вдруг предложил: — А не перекусить ли нам, дорогие товарищи районные руководители? А? Не знаю, как у вас, но у меня с самого утра не было крошки во рту!..

— Вот как скажет «комсомольский бог», — улыбнулся Шеремет, указывая на Фрунзе.

— Боги, они, чай, святым духом питаются. А нам, грешным, подавай чего-нибудь погуще! — сказал осмелевший и явно взбодрившийся председатель, чувствуя, что гнев Шеремета резко пошел на убыль.

— Нет, а все-таки... как ты на это смотришь, Тоадер?

— Разве комсомольца об этом спрашивают, Алексей Иосифович? — на вопрос ответил вопросом Фрунзе. — Наш брат, комсомолец, всегда голоден... Вы начните, а за комсомолом дело не станет. Он ведь для партии первый помощник!.. Вы, Алексей Иосифович, мне даже приснились сегодня. И во сне вас вижу! — и Тоадер во всех подробностях рассказал о том, что ему привиделось во сне сегодняшним утром.

Между тем машина выкатилась на берег Реута и остановилась под старой ивой, названной в какие-то незапамятные еще времена плакучей. Прямо от этого дерева, вытянувшись вдоль реки, начинались навесы для просушки табака. Под крышей одного такого сарая табак не было, зато стоял длинный стол с такими же длинными скамейками по обоим бокам. Судя по всему, тут трапезничали табакотводы.

Круглолицый и весь какой-то кругленький, необычайно проворный старичок-повар первым долгом притащил большой кусок брынзы, нарезал ее крупными ломтями, затем шустрим коlobком покотился к землянке и сейчас же вернулся с корзинами, из которых торчали зелеными хвостиками кверху пучки молодого ядреного лука. Вино уж появилось на столе по магическому знаку председателя. Оно было таким холодным, что зубы ломило. Выпив, все принялись за еду и ели так усердно и сосредото-



точно, что какое-то время под навесом не раздавалось ни единого слова. Первым оторвался от тарелки Шеремет.

— А где ж обещанная уха, мош Трочин? — спросил он.

Ухи не было. Зато перед каждым своим гостем и перед хозяином пузатенький старичок положил по куриной ножке, словно бы в колхозе вывели породу кур специально для гостей: с одними лишь ногами... Чувствовалось, что эти облитые сметаной и затем поджаренные, слегка подрумяненные ножки были заглавным козырем в руках мош Трочина, потому как, положив это блюдо перед Шереметом, он не торопился уходить от стола, но задержался, ожидая, какое впечатление произведет его кушанье на первого секретаря. Ответил на вопрос лишь тогда, когда гость, отведав курятины, замычал и замотал головой от великого удовольствия:

— С рыбкой у нас теперь плоховато, товарищ районный секретарь партии. Прежде-то в Реуте и линя, и карася, и щуки, и окуня была пропасть, а теперь вон ребятишки не могут выудить и плотвицы!..

— Ты, мош Трочин, хочешь сказать, что всю рыбу потравили сахарные заводы? — спросил Шеремет, гася улыбку.

— Откуда мне знать! Может, и они, заводы...

— Н-да, — вздохнул тяжело Алексей Иосифович, подымаясь из-за стола. — Поехали, товарищи!

По дороге он подремывал в машине. Отдохнув малость, встряхнулся, спросил у председателя:

— С рыбой плохо. Ну, а как с молоком?

— Получше. Но не намного, Алексей Иосифович.

— Отчего же?

— Сочных кормов не хватает.

— А люцерна?

— Она у нас пока еще растет. Будем косить недельки через две.

— А концентраты получили?

— Получили, но очень мало. Каких-то 다섯 тонн.

Разговор этот входил неотъемлемой, составной частью «районных буден», ставших уже нарицательными, классическими для первых секретарей. Алексей Иосифович Шеремет совершенно серьезно уверял, что и сны ему снятся сезонные. Весною — подвязка и прополка виноградников, парниковая рассада для табачных плантаций, посевы яровых, культивация. Летом — прополка, уборка зеленого горошка, сбор табачных листьев, сенокос, чуть позже — хлебная страда. Зимой — скотоводческие фермы, бесконечные планы — по мясу, молоку, яйцам, и такие же бесконечные поездки на бюро, на активы, пленумы и совещания. Впрочем, молоко снится секретарю райкома партии круг-

лый год, поскольку молочные реки сродни рекам обыкновенным: они должны течь безостановочно зимою и летом, ночью и днем, чтобы росли здоровыми и румяными маленькие граждане огромной страны, раскинувшейся на одну шестую часть планеты...

— Одного я понять не могу, Алексей Иосифович! — гневался председатель из Ратуша. — Вчера нам говорили, что нужно сжигать стерню после уборки хлебов, огонь-де уничтожает семена сорняков вместе с вредными для злаков насекомыми. А сегодня те же ученые мужи утверждают совсем иное. Без стерни, говорят они нам, разрушается структура почвы, начинается ее выветривание... Где же истина? Теперь вот с этой соломой из-под комбайнов морока. Что с нею делать? Кормов у нас и без нее предостаточно!..

— Говорил же, отдавайте колхозникам. Те знают, что с нею делать.

Когда расстались с председателем, Шеремет сказал Тоадеру Фрунзе:

— Хороший хозяин. Но сейчас хитрит. Делает вид, что согласен со мной, а у самого другое на уме. Он как-то пожаловался веревженскому председателю, своему дружку: «Хуже нет, работать руководителем в хозяйстве, которое расположено на главном шоссе. Какой бы начальник ни проезжал тут, обязательно заедет в правление и расцепит тебя за какую-нибудь промашку!..» Отчасти он прав: не всякий из нас отважится по бездорожью поехать в какой-нибудь отдаленный колхоз...

Видя, что его спутник не склонен был подерживать этот разговор, Шеремет спросил:

— А ты что молчишь, Фрунзе? Разве тебя все эти вопросы не волнуют?.. Что пригорюнился? Может, не желаешь ехать в Москву?.. «Не хочу учиться — хочу жениться!..» Может, это у тебя на уме?..

Помолчали. Тоадеру захотелось вдруг вернуться к начальной теме их разговора:

— А мне нравятся эти ночные костры, Алексей Иосифович! Как-то веселят они душу. Раньше в такую пору степь выглядела мертвой и пустынной, покинутой всеми. А сейчас она и ночью живет, перемигивается огоньками...

— Ну, это романтика. Это по вашей, комсомольской, части!.. О твоих веселых кострах продолжим нашу беседу в моем доме. Сегодня ты останешься ночевать у меня!

— Мне бы лучше домой. Я спешу.

— Все мы куда-то спешим. И все-таки тебе придется провести ночь в моей квартире. Никуда я тебя не отпущу... Готов даже простить тебе эти костры и не вспоминать о них. Будем просто отдыхать — сидеть за столом и пить чай!.. Вот так! И поставим на этом точку!

В новеньком райкомовском «газике» Тоадер Фрунзе ехал во второй раз, а порог квартиры Алексея Иосифовича переступал впервые.

Прежде всего бросилась в глаза ее чистота. И сразу же подумалось: нелегко поддерживать такой порядок в доме, где, кроме родителей, обитает четверо детишек — этих самых озорных и беспокойных существ. Еще больше поразила Фрунзе тишина, царившая в комнатах. Планировка квартиры была несколько странно-вата. Самая большая комната, очевидно, гостиная или столовая, вытянулась во всю длину стены и была похожа скорее на коридор, чем на комнату. В противоположной стене прорублены три двери, из которых сейчас же и всего лишь на одну минуту выглянуло несколько детских головок.

— Мы не голодные. А вот стаканчик вина не помешал бы с дороги! — сказал Шеремет жене.

Жена секретаря райкома, знавшая в течение многих лет одну только дорогу — от дома к школе и обратно, вела себя очень сдержанно и несмело, будто сама была тут в гостях. Она покраснела, когда муж назвал ее «моя старуха», обняв при этом за плечи. Сама не села за стол. Поставила на него два прибора, в непостижимо малый срок приготовила глазунью, принесла ее вместе с графином вина. Не ограничившись этим, подала еще бутылочку с какой-то светлой жидкостью. Сделав все это, удалилась. Фрунзе успел заметить, что «старуха» эта была совсем еще молода и так легко порхала по комнате, будто не касалась пола ногами.

Алексей Иосифович на донышко своего стакана плеснул светлой жидкости из маленькой бутылки, а бокал гостя наполнил вином. При этом заключил:

— Каждому свое. Но, может быть, и ты выпьешь немного спирта?

— Нет! Что вы, Алексей Иосифович! — всполохнулся Фрунзе.

— Ну, тебе видней. Я-то употребляю его по нужде. Всего несколько граммов.

Тоадер знал про то. Ему случалось видеть, как Шеремет на том или ином застолье решительно отказывался от вина: что-то неладное творилось в его желудке, оттого, зная, он такой и худющий.

Перед сном они умылись холодной водой. Провожая гостя в его угол, Шеремет нес с собою и графин воды.

— Это на случай, если тебя будет мучить жажда, — сказал он.

— Я по ночам не пью воду.

— Ну, а если вина?

— Нет, нет, что вы! — замахал руками Тоадер, не решаясь раздеваться при своем начальнике.

— Ну, спокойной ночи! — сказал тот, заметив смущение гостя. — Спи, студент!

— Спокойной ночи, Алексей Иосифович!

— Утром Филя подбросит нас до Кукоары. Мне туда тоже нужно.

— Спасибо! — растроганно вымолвил Фрунзе.

4

— На фермы! — скомандовал водителю Шеремет.

«Газик» свернул к Чулуку.

Тоадер Фрунзе знал, что новые фермы по ту сторону Чулука составляют предмет и особой гордости первого секретаря райкома и особых забот. Двенадцать колхозов лесной зоны объединились, выстроили эти фермы и теперь привозили сюда для откорма поросят. В прошлом году тут было выращено шесть тысяч голов и каждый колхоз-пайщик получил в три раза больший доход против того, который получался, когда разводили свиней в своем хозяйстве. Нельзя сказать, что новое это дело сразу же пошло без сучка и задоринки. Начать с того, что объединенные хозяйства в первый год не успели выстроить складские помещения для хранения кормов и после сильных дождей вынуждены были вывозить кукурузные початки на шоссе и сушить их там. Несколько километров асфальта были оттяпаны от дороги для этой цели; пришлось выстроить там будку и поставить сторожа. Сторож делал сразу два дела: караулил кукурузу и указывал водителям автомашин путь, по которому можно было обойти занятый участок. Грузовикам и легковушкам приходилось по разбитым проселкам делать немалый крюк: автодорожное управление подымало такой шум, что Шеремету все время нужно было отчаянно отбиваться от яростных наскоков начальника этого управления и объясняться с другими «вышестоящими» организациями.

Однако откормочное предприятие жило и действовало. Оно приносило доход, хотя не имело еще своего постоянного названия. Одни именовали его «фабрикой мяса», другие «животноводческим комплексом», третьи тужились окрестить еще как-нибудь.

— Ну, Фрунзе, что говорят твои кодряне? — спросил Шеремет.

Теперь перед ними открывалась вся панорама ферм. Длинные приземистые помещения под белыми шиферными крышами выстроились в ровный ряд почти на целый километр, в стороне возводились склады, другие подсобные сооружения, двор уже был асфальтирован. Все это, вместе взятое, действительно напоминало фабрику или даже завод.

— Ну так как, нравится им это? — переспросил Шеремет.

— Кое-кто ворчит.

— Почему? — удивился секретарь райкома.



— Некоторые хотели бы вообще избавиться от свиней. С поросятами ведь тоже морока.

Говоря так, Тоадер вспоминал прежде всего ворчанье своего отца, Костасе Фрунзе. Тот совсем недавно жаловался сыну:

— Вы думаете, легко сохранить этих поросят?.. Они то простужаются, то начинают поносить... Возле каждого столько хлопот! С ними как с малыми детьми. Одному соску в рот, другому грелку к животу... И когда ты их сберег, выходил, только бы им идти в рост, у тебя их забирают на эту самую... на этот самый ком... комплекс, черт бы его побрал совсем! Берет готовенькое на откорм!

Чутко смягчая, Тоадер передал эти отцовские слова Алексею Иосифовичу. Тот хмыкнул, но ничего не сказал.

В административном здании Шеремету доложили, как идут работы.

— До дождей управитесь со складами?

— Должны бы, Алексей Иосифович.

— Смотрите. Шоссе нам сейчас никто не разрешит занять.

— Может, соберем бригадиров на летучку? — предложил кто-то Шеремету.

— Собирайте. И побыстрее!

Начальник строительства положил перед секретарем райкома журнал, страницы которого были испещрены колонками каких-то цифр, и, дождавшись, когда бригады собрались в конторе, начал докладывать уже более детально, как обстоит дело с выполнением графика. Время от времени Шеремет резко обрывал его:

— Вы же знали, что это нереально!.. За чем записывали в эту бумагу?.. Это ж филькина грамота, а не график!.. Может быть, мне самому подрядиться к вам в прорабы?!

Потев и переминаясь с ноги на ногу, почесывая в затылках, начальник и бригады пытались оправдаться, обещали выправить положение, наверстать упущенное, то есть говорили то, что обычно говорят в таких случаях все провинившиеся.

— Ну, так и быть. Железобетонными конструкциями займусь я сам, — наконец сказал Шеремет. — Остальное будет зависеть только от вас. Не постройте в срок — пеняйте на себя, дорогие товарищи!

Услышав это, Тоадер Фрунзе легко представил себе, что будет через какой-нибудь час. Во всех кабинетах райкома партии и райисполкома станут непрерывно трещать телефоны, отовсюду будут слышны голоса — просящие, требующие, заклинающие. Все дефицитные строительные материалы — железобетон, шифер, цемент и прочее приходилось выколачивать силой, пускать в ход все средства, вплоть до угрозы покинуть свои посты. Тут без помощи районных организаций одни председатели

колхозов не справятся, для этого у них, прямо скажем, кишка тонка, не тот авторитет!

К концу летучки строители малость повеселели, уже перебрасывались шутками. Подобрел и Алексей Иосифович.

— К первому октября... слышите?.. к первому октября чтобы на этом вот столе были не ваши фуражки, а жареная поросятина! — сказал он.

— Будет сделано, Алексей Иосифович! — за всех ответил начальник строительных бригад.

— И бочонок вина! — смеялись бригадиры. Расставшись с ними, уже за фермами, Шеремет сказал Тоадеру:

— Я привез тебя сюда, полагая, что увижу тут твоего отца. Вчера он был здесь вместе с другими председателями.

На вершине холма им повстречалась группа ребят, обучающихся езде на велосипеде.

— Видишь, Фрунзе, теперь — это пока еще редкость. А скоро почти в каждом доме будет велосипед, — сказал Шеремет.

Тоадер вспомнил, что не в такие уж дальние времена во всем районе было всего лишь три велосипеда. Один — у учителя физики из Цынцарена. Старенькую эту машину уступил ему Прикопие Иванович, муж Вики. Учитель отремонтировал ее в Оргееве и потом уж не расставался с нею, кажется, ни на минуту; на занятия в школу, на все совещания и собрания выезжал только на велосипеде. Учителя смеялись, уверяя, что и в класс цынцаренский учитель въезжает на своем самокате. Его можно было видеть на велосипеде и с кочаном капусты, и со связкою перца, и с двумя буханками хлеба, и с другой разной поклажей. Брюки учителя внизу были всегда прихвачены бельевыми прищепками.

— А ты, Фрунзе, умеешь ездить на этой штуке? — спросил Шеремет.

— Нет, не умею, Алексей Иосифович.

— И я не умею, — сказал Шеремет с явным огорчением.

Филия, не ожидая приказаний, направил «газик» к велосипедистам.

— А это еще зачем? — крикнул Шеремет.

— Вы ж сами велели, — спокойно объявил Филия.

— Ну, ты у меня и гусь! — притворно осерчал секретарь райкома, но, не выдержав игры, признался: — Я ведь действительно хотел завернуть к этим молодым начинающим велосипедистам. Ты у меня, оказывается, еще и психолог, Филия!

— Мысли начальства надо угадывать, — важно сказал шофер.

— Сам-то ты умеешь кататься на велосипеде? Или это тебе ни к чему? — спросил Шеремет.

— Умел немного. В Германии... на фронте... в последние дни войны поломал две трофейных самокаты... Эти вот тоже скоро оста-

вят от своего учебного велосипеда рожки да ножки. Это уж точно! — заключил убежденно Фля.

Что угодно мог ожидать тут Тоадер Фрунзе, но только не то, что увидел. На тренировочной площадке оказался весь его комсомольский штаб во главе с секретарем райкома Флорей, тем самым Флорей, которого Шеремет прочил в инструкторы райкома партии и которому Фрунзе на время передал свои обязанности. Тут были и все их инструктора, заведующие отделами, в том числе и те две девушки, что ведали работой пионерских организаций и комсомольским учетом. Какой уж там высокою целью руководствовался Флоря, мы не знаем, но вывел он своих сотрудников на этот странный плац, на этот ипподром ни свет ни заря. Фрунзе украдкой взглядывал на Шеремета, стараясь понять, не осуждает ли он эти странные занятия Флори (сам-то он, Тоадер, решительно осуждал их, считал мальчишеством, непросительным для секретаря райкома комсомола). Между тем Флоря, гордый и торжественный, уже докладывал Алексею Иосифовичу:

— Нами получен наконец транспорт, товарищ Шеремет!.. Решили сегодня же научиться вождению!..

— Когда вы его получили?

— Вчера. Нас премировали велосипедом. Теперь это наша коллективная собственность!

— А лошадей куда денете? — улыбаясь, спросил Шеремет.

— Сдадим в какой-нибудь колхоз либо дворникам! — отпартовал Флоря.

— Ну конечно... Я вас понимаю. Лошадей-то надо кормить!

— А вы не смейтесь, Алексей Иосифович!

— Я и не смеюсь. Лошадей действительно надо кормить.

Шеремет подошел к ребятам поближе, взялся за рукоятку руля. Велосипед был новенький, какой-то приземистый, тяжеловатый и устойчивый, как монгольская лошадка. Стоявший рядом Фля авторитетно объявил:

— Беру свои слова обратно. Такую машину не сразу поломаешь!

— Ну вот, а ты...

— Я думал, что это трофейный велосипед.

На раме было указано, где произведена эта диковинка: «Харьков».

Кто-то, силясь приподнять ее, заметил под общий хохот:

— Должно, велосипед этот сошел с одного конвейера с харьковским трактором!

— Ну что ж, комсомольцы! Теперь, надеюсь, вы не станете жаловаться мне, что вам не на чем выехать в села? — спросил Шеремет.

Флоря на всякий случай помалкивал, стараясь понять, нет ли в этих словах первого секретаря райкома партии какого-либо подво-

ха, какой-нибудь ловко поставленной ловушки, и мысленно корил себя за то, что вывел своих работников на это открытое место не в выходной день, — можно было бы отыскать уголок и поукромнее.

— Вы это неплохо придумали. Скоро у каждого молодого человека, у юноши и девушки, будет собственный велосипед. Кому как не вам первыми оседлать этого резвого коня?! — поощрительно сказал Шеремет к величайшей радости Флори и всех его юных сотрудников.

На следующий день рано утром Тоадер Фрунзе увидел своего восприемника в Кукоаре, возле своего же дома. Флоря, еще не остывший от непривычной езды, несказанно счастливый, торжественно сообщил:

— Не поверишь... Ни разу не упал!

Пока Тоадер умывался, затем завтракал на скорую руку, Флоря оказался в обществе не в меру любопытного мош Тоадера. Старик, бормоча что-то себе под нос, несколько раз обошел вокруг велосипеда, пощупал руками все его сочленения, позвонил в колокольчик, подытожив свои наблюдения следующими словами с явным уважением к машине:

— Гм!.. Коровья башка!.. Из дерева такого не смастеришь!

В это время из дому вышли его внуки, только что получившие нагоняй от матери за то, что не оставались дома хотя бы на воскресенье. Отчитывала она их просто так, по привычке, без всякой надежды на успех: в душе-то Катинка знала, что ее сыновья поступят так, как запланировали сами. «Вот наказание! — сокрушалась она. — Хотя одну б девчонку бог послал. Та не убежала б от матери, сидела бы дома!» При чужих людях Катинка, однако, никогда не бранила Тоадера и Никэ. Только выйдя вслед за ними на крыльцо, провозжала их печальным взглядом и тяжело вздыхала: «Ох, какие вы еще глупые!»

Деду было не до внуков. Он сейчас весь был во власти велосипеда. Флоря уже отъезжал на нем от их ворот, за ним вприпрыжку скакали Тоадер и Никэ.

— Вот, вот!.. Коровья башка!.. Ткнешься носом в забор!.. Куда ты?

— К пруду, дедушка! — на ходу ответил Флоря. — Давай за мной!

— Вот коровья образина!.. Разве я поспею — задохнусь вовсе!..

— Ну прямо малые дети! — вымолвила под конец Катинка и скрылась в доме.

У ветряных мельниц Флоря выбрал дорожку поровнее и, преподав немного теории, первым посадил на велосипед Никэ, самого младшего из семейства Фрунзе и, пожалуй, самого отчаянного.

Дорога тут шла под уклон. Позади оставались последние избы села.

Ежели и случится какой-то конфуз с Никэ,



ежели и полетит он кубарем с велосипеда, то немногие из его односельчан смогут это увидеть. Эта мысль, очевидно, и подбодрила Никэ, когда он попросил поддерживавшего его сзади Флорю:

— Отпусти меня. Я сам!..

Флоря исполнил его просьбу — отпустил.

Никэ пулей помчался вниз, мимо животноводческих ферм, и только внизу не смог укротить машину — на полном ходу вымахнул на пахоту. Но даже здесь Никэ не упал. Подведя велосипед к старшему брату, напутствовал:

— Теперь давай ты!.. Не гляди только себе под ноги, смотри вперед, на дорогу!

— На ровном месте труднее научиться, — пояснил Флоря с видом инструктора.

Чтобы в это уверовал и Тоадер, Никэ несколько раз спустился с горы. В гору он вбежал с велосипедом что есть духу, поскольку боялся, как бы у него не отобрали эту забавную игрушку. Через каких-нибудь полчаса он управлял велосипедом так свободно и непринужденно, будто ездил на нем уже много лет.

Вскоре они вышли к виноградникам, за которыми виднелись пруды.

Тоадер и Флоря зашли на плантации, чтобы полакомиться виноградом, — тут у колхоза были лучшие сорта.

Когда Тоадер и Флоря вышли из виноградника, Никэ с велосипедом куда-то исчез. Зато по той же дороге, где только что упражнялся в езде младший из Фрунзэ, медленно и торжественно двигался Иосуб Вырлан со своим осликом. А на спине ишачка, на двух связанных между собою полах, точно в седле, восседал мош Тоадер Лефтер.

Вырлан «огоревал», то есть купил, эту длинноухую скотинку у одного болгарина, когда правление колхоза порешило определить его в сторожа. Как и следовало ожидать, Иосуб недолго продержался на этой связанной с немалыми соблазнами должности. Нечистый на руку, новый хозяин быстро вовлек в свои малопохвальные операции и безропотного, послушного ему во всем осла. Караулить кукурузное поле Вырлан выезжал на ишаке, а к вечеру возвращался в село пешком. Свидание с верным другом — осликом — у него происходило попозже, когда совсем стемнеет, у своего двора. Подойдя к воротам, осел останавливался и терпеливо ждал, отпугивая комаров мочалкою длинного хвоста. Если хозяин почему-либо не выходил к нему очень уж долго, ишак оглашал улицу своим ослиным, не слишком мелодичным для человеческого уха голосом: «и-их-ха, и-их-ха!». Кричал так громко и настойчиво, что старухи в соседних домах начинали испуганно осенять себя крестным знаменем. Но для Иосуба утробный рев животного звучал райской музыкой, ибо означал, что его осел притащил на своей спине перекидные мешки с по-

чатками кукурузы. В зависимости от сезона в тех мешках могли оказаться и пшеница, и овес, и просо, и подсолнечные семечки с токов, которые столь легкомысленно были отданы правлением колхоза под охрану весьма ненадежного сторожа, — это все равно что пустить козла в огород или волка в овчарню. К счастью, Вырлан был очень скоро пойман с поличным и решительным образом отстранен от охраны важных колхозных объектов. Прямо скажем, изгнан Иосуб был с превеликим для него позором. После этого думалось, что он продаст своего осла за полной ненадобностью. От прудов, куда он был поставлен караульщиком, ничего вроде бы не умыкнешь. Так думалось кукоаровцам.

— Ты еще не научил своего ишачка удить рыбу? — смеясь, спрашивали они Иосуба, видя, что его осел целыми днями стоит по брюхо в воде.

Вырлан помалкивал. Но, видать, он все-таки что-то затевал. Неспроста усадил сейчас верхом на своего ишачка старого Лефтера — не за тем же, чтобы дать тому прокатиться и доставить удовольствие?! Мош Тоадер сидел основательно, как всегда чрезвычайно серьезный и важный. Осел, если б и пожелал, то сбросить седока на землю не смог бы: длинные ноги старца почти чертили по дороге. К тому же осел вопреки укоренившемуся и совершенно несправедливому мнению о нем, был очень умной скотинкой, может быть, гораздо умнее тех людей, которые прозвали его ослом.

— Черт его знает, чего придумает этот Вырлан! — терялись в догадках односельчане. — От него всего можно ожидать! А мош Тоадер, знать, совсем уж впал в детство. Нашел с кем водить компанию!..

Встревожился за своего деда и Тоадер Фрунзэ. Он быстро вышел на дорогу и громко крикнул:

— Мош Иосуб!.. А ну-ка, остановись! Хочу сказать тебе кое-что!

Вырлан остановил осла.

— Куда это вы направились?.. Оба такие серьезные!..

— Я еду к прудам, к месту службы, ну а он...

— Ну, а я в Иерусалим! — закончил за Вырлана мош Тоадер. — Как Иисус Христос!..

— Только на осле тебя и не видели! — сказал деду Фрунзэ.

— Не видели, так увидят, коровьи образины!..

— Он сам упросил меня! — оправдывался Иосуб.

— Вы тут, коровьи башки, на лисапеде разъезжаете, а мне уж и на осле нельзя?.. Где ваш лисапед?!

— Может, ты, дедушка, и на нем хочешь покататься?

Вырлан расхохотался, при этом одно его ухо стало дергаться, как у ишака.

— Мош Тоадер сказал мне, что едет чистить колодец. Просил подвезти, — пояснил он.

— Кому ты даешь отчет?! — сейчас же набросился на Иосуба старый Лефтер. — Был ты, Вырлан, дураком, дураком и помрешь!.. Что бы тебе положить на твоего осла мешок соломой, а не эти бревна, коровья башка!..

— Ну вот, ты ему делаешь добро, и он же тебя ругает! Слазь, старик, ежели тебе не нравятся!

Слезать мош Тоадеру не нужно было. Он вытянул ноги, и осел сам вышел из-под него. Вырлан подпрыгнул и угнезвился на ишаке, свесив обе ноги в одну сторону. Завидя внизу пруд, ослик надал ходу, часто-часто перебирая маленькими и острыми копытцами. В предвкушении скорого купания он радостно ихкал. Вместе с седоком вбежал прямо в пруд и остановился только тогда, когда вода дошла до его брюха.

— Чертова скотинка! Были бы у него уши покороче, я б налил ему в них пригоршню воды. Он бы у меня тогда не так запел!

Мужики, чистившие неподалеку колодец, прекратили работу и ждали, что будет дальше, смотрели, как Иосуб Вырлан станет выбираться на сушу.

— Эй, Вырлан! — окликали они его. — Как тебя угораздило залететь в эту Иордань?.. Небось для мош Тоадера приготовил ее, да угодил ненароком сам. Бог шельму метит! Осел-то, видать, весь в хозяина — такой же непутевый!..

Иосуб намочил штаны до самых карманов и, страшно матерясь, колотил ишака ногами в его выпуклый живот, стараясь подогнать его поближе к берегу. Но осел на этот раз оказался упрямее своего хозяина. Удары по брюху он принимал с удивительным безразличием, словно бы они сыпались не на него, а на кого-то другого. Удовольствие, которое он получал от прохладной воды, вполне компенсировало это. Обмакнув в пруду кончик хвоста, помахиывая им, он окроплял брызгами и себя, и своего беспокойного наездника, решительно не понимая, чего еще можно требовать от жизни.

— Эй, Иосуб, прыгай в воду! — кричал кто-то с берега. — Прыгай, не то промочишь все деньги. У тебя, говорят, их полон карман, сторублевок!..

Забыв про ведра, которыми вытаскивали из колодца ил, мужики потешались над Иосубом. А тот, не обращая внимания на их подшучивания, выезжал уже на своем осле на берег: ишак, похоже, знал, когда это надо было делать. И все-таки уже на суше получил от своего хозяина хорошенького пинка. Попадись Иосубу под руку палка, он измочил бы ослиную шкуру!

— Оставь ты его в покое и свари нам уху! — попросили мужики.

Они знали, что Вырлан занимается у этих прудов рыбным промыслом. Для приманки рыбы он приносит с птицефермы комбикорм, разбрасывает его у дамбы, где поглубже, и ставит сети. Сейчас Иосуб даже не удостоил мужиков своим ответом. Прошел мимо них прямо в свой шалаш. Снял там мокрые штаны и развесил их для просушки перед входом.

— Поймай курицу, Иосуб, и свари ее вместе с рыбой. Вкуснее ничего не бывает! — не унимались рабочие.

— Не забудь бросить в котел несколько спелых помидоров!

— И ракиовых листьев для запаха!

Но Иосуб сам был похож сейчас на рыбу: он молчал. Отойти от шалаша подальше не решился — боялся, что его, голого, увидят женщины, работающие на птицеферме.

Притопавший к колодцу мош Тоадер терпел-терпел и обрушился на зевак с бурной бранью:

— Вы что глаза пялите на этого дурака, коровьи образины?! Поразевали рты!.. Вы что же, думаете, колодец сам себя вычистит?!

Тем временем его младший внук успел всполошить велосипедом ферму. Куры белым облаком разлетались перед ним во все стороны. Рад-радехонек от того, что старший его брат не хочет учиться езде на велосипеде на виду у народа, Никэ носился по всем дорогам, точно демон; от большой скорости рубаха за его спиной надувалась парусом, врывавшийся под нее ветерок приятно охлаждал тело. Оказавшись на бахче, он снял эту рубаху вовсе, завязал рукава, сорвал несколько арбузов, уложил их, как в торбу, в рубаху и приторочил этот импровизированный мешок за своей спиной на велосипеде. Вернувшись к прудам, предложил брату и Флоре:

— Натэ, ешьте! Могу еще раз прокатиться на бахчу!

— Хватит и этих. Ты бы лучше выкупался! Весь в пыли!

— Нет, нет! — Никэ весь трепетал, будто в его руках оказалось именно то, чего только и нужно было этой неумной, мятущейся и порывистой натуре, будто эта двухколесная немудреная машина могла унести его в грезившиеся ему постоянно таинственные, загадочные дали. — Ну нет же! — повторял он. — Я мигом!.. Вы только разрешите!

— Не могу, Никэ. Сейчас в Кукоару приедет Шеремет. Мне нужно собрать всех ваших коdryн. А ты же знаешь, какие они увальни!.. — говорил Флоря, хотя ему было очень трудно отказывать парню. Да и покидать товарищей не хотелось: у пруда было сейчас очень хорошо. Флоря выкупался, взбодрился и с удовольствием повертелся бы у колодца, где люди вытаскивали последние ведра наносной земли.



На чистый, спрессованный, грунтовый песок вот-вот должна была ударить из подземной жилы родниковая вода. Мош Тоадер, оттолкнувшись от сруба младшего внука, уже нетерпеливо заглядывал в глубь колодезя, ожидая торжественного момента наполнения источника новой, ничем не замутненной водой. Тоадера Фрунзе и Флорю дед почему-то не прогонял, уступив им место рядом с собой.

Старый колодезный ведун сбросил с себя кацавейку и молитвенно опустился на колени, положив подбородок на верхний венец сруба. Он глядел вниз и покрикивал:

— Эй ты, обормот?.. Ты в самом деле нащупал дно?.. Добрался до него?..

— Добрался, мош Тоадер! — гулко несло из глубины.

— Не подгнили ли нижние венцы сруба? — спросил старик.

— Нет, нет, мош Тоадер! Дубовые пластины как железо!

— Может, сменить тебя?.. Замерз?

— Нет, не надо!

Крутить подъемное колесо колхозникам помогали и Фрунзе с Флорей.

Наконец наверх был поднят и тот, кто исполнял не только самую тяжелую, но и самую опасную работу (ведро с тяжелой грязью могло ведь и сорваться); — это Федуща, один из сыновей мош Саша-китайца. При подъеме он обеими руками держался за цепь, а ногами перебирал по срубу, помогая таким образом тем, кто его вытаскивал. Там, в преисподней, в непрерывной работе, он не чувствовал холода, а теперь, оказавшись на солнце, весь трясся, как в лихорадке, зуб на зуб не попадал. Сперва Федуща хлопал в ладоши, встряхивал плечами, подпрыгивал на месте, потом принялся бегать вокруг колодца, весело приговаривая:

Красно солнышко, свети!  
Я ребятам накажу,  
Чтоб орехи принесли,  
Ладны лапки сплели.  
Красно солнышко, свети!

— Оставь ты свои лапки! — не вытерпел, как и следовало ожидать, мош Тоадер. — Иди, я тебя согрею лучше твоего солнышка!

Старик отошел от колодца, поднял свою кацавейку, ощупал ее так, как ощупывают курицу-несушку, стараясь определить, есть ли в ней яйцо. Нашупав что-то, весь как-то сразу просиял. Из внутреннего кармана извлек «мерзавчика» — шкалик водки и знаменитый хвост ржавой селедки.

— Вот оно, солнышко!.. Иди-ка сюда, дурачок!.. Я тебя сразу исцелю!

Над кодрянами посмеиваются, говорят, что они ходят не иначе как с топором за поясом, потому что живут среди лесов. Среди лесов — это правда. Но едва ли во всей Кукоаре нашлось бы два-три плотничьих топора. Они водились разве что у столяров и бондарей, а таких мастеров, как известно, в любом селе очень немного. Топоры для колки дров, маленькие, почти игрушечные топоры, которыми вытесывали пробки для бочек, в общем-то, были в каждом дворе, но таскать их постоянно за поясом не было никакой нужды. Если уж говорить о том, с чем кодрянин никогда не расставался, — так это о теплой одежде. Она была у него под рукою даже летом, ибо и в такое время года в лесу бывает прохладно, особенно ночью. Как только смеркнется, холодок, точно голодный волк, выползает из Кодр, крадется к селу и в какой-то час овладевает им полностью. Тут уж не выйдешь во двор, не накинув на плечи тулупчика или колушка-безрукавки, прозванного в народе душегрейкой.

В этих душегрейках кукоаровцы приходили и на колхозные собрания. Попришивали к этой одежке большие карманы, чтобы было где прятать фляжки с вином: собрания проводились прямо на улице, перед правлением, и продолжались очень долго, так что колхозник, слушающий ораторов, должен был найти для себя еще какое-нибудь более приятное занятие.

Обычно сельский этот сход собирался по воскресеньям, в послеобеденное время, когда люди, возвратившись с базара, успевали переделать домашние дела, прибрать скотину и приготовить себя к длительному сидению или стоянию на колхозной площади, то есть приобщить себя к делам коллективным.

На крыльце правленческого дома, превращенного по такому случаю в сцену, устанавливался длинный, покрытый красной материей стол, за столом — стулья или же длинная, под стать столу, скамейка, а на столе — самые веские «аргументы». Если речь шла о жатве, Костак Фрунзе, председатель колхоза, клал перед собой снопок созревшей пшеницы либо ячменя. То, что лежало перед президиумом, и было повесткой дня. Коли приспела пора уборки табака, то на столе колхозник видел пучок табачных листьев; зеленый горошек напоминал о себе ровным рядом стручков, свесившихся по краю стола; еще громче возглашала об уборочной поре кукуруза — стебли ее вместе с полуобнажившимися золотистыми початками занимали весь стол, так что секретарю собрания нечего было беспокоиться за свои бумаги: ветер не мог сорвать их и унести, поскольку тяжеленные початки плотно прижимали бумажное хозяйство.

В одной из кодряньских пословиц сказано: «Бабка свалилась с чердака — и все равно присела отдохнуть». Многие кукоаровцы шли на свое колхозное собрание тоже в надежде отдохнуть от суетной жизни. А почему бы и нет? Войдя в ограду широкого правленческого двора, они выбирали для себя местечко, расстилали на нем тулупчик или ту же самую душегрейку (у кого не было ни того, ни другого, тот кидал на землю ватник) — словом, устраивались елико возможно удобнее. Земля и кормит людей, но она же может и забрать их раньше срока, если не знать хорошенько ее привычек. Поначалу она может показаться очень даже теплой, а потом, незаметно, проймет тебя своим глубинным, могильным холодом так, что ты уж никогда не сможешь встать с постели и пройти по ней, по земле, своими веселыми, беспечными ногами.

— Неужели и это собрание затянется до утра?

— Не думаю. Нынче же не меняют председателя.

— А зачем нас позвали?

— Аль не видишь?.. Кукуруза поспела.

— А-а! Понятно!

Перебрасывались такими словами просто так, чтоб не молчать. Все знали, что собрание это не отчетно-выборное, тут не будет ни драматических сцен, ни бурных речей, ни яростных перепалок между ораторами.

— Говорят, сам Шеремет приехал.

— Шеремет?

— Он. Говорят, покамест заглянул к Негарэ.

— Может, хотят поставить Георге вместо нашего Костакэ?

— Негарэ — и председателем?!

— А тебе разве не все равно?

На крыльцо вышли секретарь райкома, члены правления и расселись за столом президиума. Алексей Иосифович сел рядом с Костакэ Фрунзе, который — про то знали колхозники — в таких случаях нуждался в поддержке: он был весьма не речист. Сейчас кроме секретаря райкома партии у него были еще очень надежные помощники — это спелые кукурузные початки. Костакэ выбрал, который покрупнее, и высоко, точно гранату-лимонку, поднял над головой.

— Вот она... видите?! Кто за то, чтобы завтра же приступить к уборке, подымите руки!

Внизу, над всем просторным двором, поднялся частокор рук.

— Так... единогласно! — констатировал председатель. — Ну, а как насчет сроков?.. К двадцатому сентября мы должны убрать весь табак и всю кукурузу... Кто — за?..

— Погоди, Костакэ, не погоняй нас! — крикнул кто-то из колхозников. — Куда ты так торопишься?.. Кукуруза может и подождать манень-

ко!.. — По голосу можно было заключить, что колхозничек уже успел отвесть молодого винца.

«Сорвет, проклятый, собрание! — встревожился Костакэ. — Ведь каждый прячет в одежке по фляжке. Это-то я знаю!»

— За нами дело не станет, председатель!.. Ты лучше скажи, сколько собираешься выдать той кукурузы на трудодень?

Это выкрикнул уже мош Ион Нани. Он хотел было подняться на ноги, полупривстал, но сейчас же опять сел на свою тужурку: сам ли спохватился, усадил ли кто его силой, дернув за рубаху: сиди, мол!

— Получите и кукурузу, — ответил Костакэ.

— Получить-то получим, но по сколько? — не унимался мош Ион.

— А там видно будет.

— Урожай-то вон какой богатый. Чего ж ты осторожничаешь, Костакэ? — выступил еще кто-то на поддержку Иона Нани.

Видя, что Костакэ Фрунзе растерялся, бонтся сказать что-либо определенное, Шеремет поднялся за столом президиума сам.

— Вы хотели бы знать, какое количество кукурузы получите на трудодень?.. Этого, дорогие товарищи, вам, пожалуй, сейчас никто не скажет. В других колхозах давно уж перешли на денежную оплату...

— Нужно создать и у нас совхоз... как в Сэсенах! — подал наконец свой голос и Георге Негарэ.

— Совхоз! Совхоз! — закричали и другие.

— Пускай будет совхоз... как в Сэсенах! — опять крикнул Георге Негарэ. Его поддержал мош Ион Нани.

— Я не был в Сэсенах, — сказал Шеремет. — Но я знаю линию нашей партии в сельском хозяйстве. Специализация и индустриализация — вот генеральное направление!

— Завод! Завод! — неслось со двора.

— Завод-совхоз! — уточняли другие.

В первые годы после коллективизации колхозники на подобных собраниях обычно отмалчивались. Крестьянин вообще любит больше слушать, чем говорить. Но с годами языки поразвязались, постепенно выделились постоянные ораторы, которых хлебом не корми, а дай только трибуну. И в критиках не было уж недостатка. В каждом колхозе они развелись, пожалуй, даже в изилишестве. Эти, как правило, и подливали масла в огонь, чаще всего и довольно искусно направляя его на председателя, с которым почти у каждого члена артели находились свои счёты.

Ничего такого, однако, не произошло на этом собрании.

После горячего, но в общем-то мирного обсуждения предложение Георге Негарэ о создании на землях Кукоары виноградарского совхоза было поставлено на голосование и при-



нято единогласно. Некоторые мужички подняли руку вместе с флягою.

В доме Фрунзе ждали окончания собрания. Катинка давно уж накрыла стол в каса маре. Теперь ворчала:

— Не могут без гулянки. Где их нечистый носит!..

Сердилась она неспроста: к ним приехала наконец невеста ее старшего сына, и Катинке не терпелось поговорить с ней. Но, обезумев от радости, Тодерика подхватил Нину, ее двоюродного брата и всю первую половину дня таскал их по селу.

А Катинка сидела дома. Сидела как на иголках. То выскакивала во двор, то бежала к плите, на которой стояли горшки и сковородки, то возвращалась в горницу и вновь пересчитывала приборы на столе, попутно браня младшего сына за то, что не так все расставил...

— Да где ж они запропастились? — в который уж раз восклицала она.

— Да что ты суетишься, мам? Придут, куда они денутся! Успеешь — налюбуетесь!..

— Беги и пригони их поскорее!

— Кажется, ты малость опоздала со своим приказом, мама! Вон они идут!..

Но шли не «они». Покамест во двор вслед за Костаке Фрунзе ввалилась целая толпа мужиков, тех, что были на колхозном собрании. На пороге они здоровались за руку с хозяй-

кой, и та готова была провалиться сквозь землю, потому что руки свои она должна была вытирать о фартук. Да еще, как ей казалось, не все было приготовлено и на столе. Нужно отправить Никэ в клуб за молодыми, принести от соседей еще несколько стульев...

Чтобы одним разом пресечь ее беготню, мош Ион Нани загородил ей путь к двери, сел во главе стола и торжественно возгласил:

— Ну, Катинка!.. Пускай нам всегда будет так же бедно и плохо, как сейчас за этим твоим столом!.. Пускай наша жизнь будет такой же полной, как вот этот мой стакан!..

— Да ты, я вижу, уж малость того... успел где-то угоститься! — сдержанно улыбалась хозяйка. — Гляди не вылей себе в ухо!..

Мош Тоадер Лефтер вошел в каса маре с собственным кувшином. Когда в доме зятя были важные гости, старик угощал их только своим вином, которому, как он считал, не было равного во всей Кукоаре. Лин долгожителя сиял довольством, был величественно-торжественным. Старик вертел кувшин прямо перед носом Шеремета и, путаясь языком от несвойственного ему волнения, бормотал невнятное:

— А вы... вы... вот!.. это самое... испробуйте!.. Всякую хворь... всё как есть сымет!.. Вот!.. Вот!.. Коровы вы... — поперхнулся, натужно прокашлялся и закончил уже вполне отчетливо: — Выпейте!.. Уважьте!.. На здоровье. Вот, вот!..

## САГА О КУКОАРЕ

Невысокие, с мягкими склонами холмы Молдавии. Овражки и степи. Волны колеблемых ветром метелок кукурузы. Зеленые сады и виноградники. Овечьи стада. Овеянные легендами Кодры. Протяжная мелодия старинной дойны, плывущая куда-то в сумеречной тишине. Вечерние посиделки с долгими рассказами о бесстрашных народных заступниках — гайдуках. Запахи круто сваренной мамалыги, вкусно одобренной солоноватой брынзой...

Все эти картины с удивительной ясностью возникли в памяти, когда я прочитал роман молдавского писателя Иона Чобану «Кукоара».

Начав свою литературную деятельность в 1951 году, Ион Чобану стал широко известен после опубликования в 1958 году романа «Кодры» — эпического повествования о жизни молдавского народа почти за полвека.

Тему исторических преобразований на молдавской земле после Великой Отечественной войны писатель продолжил в романе «Мосты» (1968).

В своем новом романе неторопливо, с нарочитой обстоятельностью разворачивает И. Чобану повествование о затерянном в глуши молдавском селении Кукоара, тщательно выписывает портреты старых и молодых его жителей — хлебопашцев, виноградарей, пастухов. Автор зачастую касается не только сегодняшней жизни той или иной семьи, но и приоткрывает страницы ее истории. Вчитываясь в отдельные главы романа, невольно вспоминаешь древние ирландские и особенно исландские родовые саги, посвященные семейным кланам. В этих написанных прозой сагах та же эпическая медлительность в разворачивании сюжета, то же пристальное внимание к незначительным на первый взгляд деталям, которые в своей совокупности достаточно полно рисуют характеры героев.

Ион Чобану не страшится, что временами течение его повествования о Кукоаре настолько замедляется, что кажется, оно вот-вот замерет или боковыми тропами уведет читателя далеко в сторону от основного сюжета. Подобный метод имеет право на существование и художественно оправдан, ибо перед нами не столько хроника одного села, сколько отлично написанная и собранная воедино портретная галерея его жителей, с их историями, характерами, горем и радостью, с их сложными отношениями, враждой и дружбой, различными жизненными устремлениями и надеждами.

Пожалуй, едва ли не самым ярким и своеобразным персонажем является переживший всех своих земляков-долгожителей старейшина селения Кукоара дед Тоадер Лефтер, горячий, острый на язык обличитель лодырей, дураков, сплетников, въедливый и озорной, впадающий подчас в состояние неукротимого гнева, не признающий никакого начальства, старый ворчун, не случайно прозванный «беш-майором». Непревзойденный мастер по очистке семенного зерна, мудрый садовод Тоадер Лефтер воплощает в себе то традиционно отстоявшееся, доброе, чистое, что свойственно трудолюбивому народу Молдавии и передается от поколения к поколению. За показной его грубоватостью, ворчливостью и упрямством угадывается человечность, уважительное отношение к земле и труду, неподкупная честность и требовательность к себе и людям.

Такова же и дочь старого Лефтера, немногословная Катинка, воплощение женщины-матери, хранительницы домашнего очага.

Один за другим проходят перед читателем непохожие друг на друга жители Кукоары: бывший батрак-пастух Василе Суфляцелу, страстный любитель книг, который тайком от жены тратит на них последние гроши; не раз битый за беспочвенные выдумки фантазер Иосуб



Вырлан; злусный эксплуататор Андронаке Харцук; окулачившийся Профир Коркодуш и его сын Федуща; переселенец Ион Нани; члены семьи Саши Кинеза, которых почему-то прозвали «китайцами»; неправильно раскулаченный и выселенный из Кукоары Георг Негазэ, умный, рачительный хозяин, отец красавицы Вики; многие мужчины и женщины, старики и подростки, чья жизнь переплелась со сложными историческими событиями.

Время действия романа ограничено всего несколькими годами после окончательного освобождения Молдавии от иза гитлеровских оккупантов и фашиствующих сатрапов Антонеску. Еще впереди организация колхозов за Днестром, еще скрывается в Кодрат, хоронясь от Советской власти, кровавый головорез Гицэ Могылдя. С крестьянской неторопливостью ожидают начало новых форм хозяйствования на земле жители Кукоары.

В центр своего обширного повествования И. Чобану ставит юношу комсомольца Тоадера Фрунзэ и его идейного руководителя — секретаря райкома партии Алексея Шеремета. Ведь именно они, юный романтик из Кукоары, родной внук и тезка неугомонного ворчуна «беш-майора» Лефтера, и его опытный наставник Шеремет, вместе с тысячами коммунистов-единомышленников, призваны повести народ Молдавии по новому пути.

Писатель не скрывает трудностей, иногда, казалось бы, непреодолимых, что вставали в те памятные годы перед коммунистами: ночные нападения вооруженных немецкими автоматами бандитов, разрушенные опустошительной войной села и города, долгие месяцы голода и голодное дыхание смерти над молдавскими хатами, необходимость раскулачивания эксплуататоров-собственников. Все это преодолели коммунисты-реорганизаторы, не щадя сил и жизни, выполнившие начертанную партией программу возрождения молдавской земли.

Автор пишет об этом времени: «Страна вся напружинилась, борясь с бесконечными трудностями, оставленными для нее страшной войной, не была отменена пока и карточная система. Трудности эти были повсюду; большие и малые. Решения райкомов писались на старых газетах. На одной стороне такой газеты были портреты генералов и маршалов, великих полководцев, повергших ниц колоссальную военную машину гитлеровской Германии, на другой стороне, поперек типографских строчек, химическими чернилами, изготовленными из карандашных сердечников, писались директивы райкомов и райисполкомов. Обыкновенная школьная тетрадка, добытая к тому же с величайшим трудом, составляла целое состояние...»

Читаешь страницу за страницей это сказание о безвестном селении Кукоара, всматриваешься в лица его жителей, и тебя вначале незаметно, а потом все больше и больше охватывает чувство уважения к труженикам земли. И ты невольно разделяешь ту сыновнюю очарованность, которую испытывает влюбленный в Кукоару автор. Подкупает при этом и самый стиль повествования, тонко объединивший правдивое, реалистическое описание жизни и быта кукоарцев, незлобивую иронию и мягкий юмор, лирическую песенность в изображении природы и превосходное знание исконных черт, свойственных молдавскому народу, его привязанность к земле и высокую нравственную чистоту.

Нельзя не заметить того, что И. Чобану повезло: за перевод «Кукоары» на русский язык взялся Михаил Алексеев, большой художник, великолепный знаток деревенской жизни, сумевший с исключительным тактом и точностью передать все, что было задумано и выполнено Чобану на родном языке.

В итоге достоянием русского читателя стал талантливо написанный роман о земле и людях прекрасной Молдавии.

ВИТАЛИЙ ЗАКРУТКИН

**Ион Чобану**  
**(Иван Константинович Чебан)**

КУКОЛАРА

Роман

(Окончание)

Редактор В. МАЛЮГИН

---

Художественный редактор *С. Гераскевич*. Технический редактор *Т. Таржанова*.  
Корректоры: *А. Влазнева* и *Е. Терехова*  
Фото на первой полосе обложки *Н. Кочнева*

Сдано в набор 15.03.79. Подписано в печать 11.05.79. А11642. Бумага газетная. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
10,08 усл. печ. л. 12,267 уч.-изд. л. Тираж 2 495 000 экз. (2-ой завод: 995 001—2 495 000 экз.)  
Заказ 539. Цена 58 коп.

Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

---

Набрано и сматрировано в ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградском производственно-техническом объединении «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская, 26  
Отпечатано на Чеховском полиграфкомбинате «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Чехов, Моск. обл.

---

Присланные в редакцию литературные материалы не возвращаются.  
Рукописи ранее не опубликованных произведений не рассматриваются.



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Г. М. ГУСЕВ

---

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Г. П. БЕРДНИКОВ

Ю. В. БОНДАРЕВ

А. Т. ГОНЧАР

Д. А. ГРАНИН

С. П. ЗАЛЫГИН

Ф. Ф. КУЗНЕЦОВ

Л. М. ЛЕОНОВ

В. В. НОВИКОВ

Е. И. НОСОВ

Г. Б. ПАЦИЕНКО

(зам. главного редактора)

П. Л. ПРОСКУРИН

В. Г. РАСПУТИН

А. А. РЖЕШЕВСКИЙ

(ответственный секретарь)

С. В. САРТАКОВ

А. Н. САХАРОВ

Кор 4

